



Валерий Есенков

РЫЦАРЬ



или легенда
о Михаиле Булгакове

Валерий Есенков

**Рыцарь, или Легенда
о Михаиле Булгакове**

«Автор»

Есенков В. Н.

Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове / В. Н. Есенков —
«Автор»,

ISBN 5-89073-007-X

«Мой читатель, никогда не верьте никаким предсказаниям и никаким предсказателям! Ребенку, который появился на свет в городе Киеве в 1891 году, была по душе сосредоточенная, тихая, может быть, совершенно скромная, однако свободная от нестерпимых страданий, далекая от нечеловеческих зверств и жестоких катаклизмов истории, вполне счастливая жизнь. Лично я ни за что не поверю, чтобы по воле судьбы или по причине не совсем удачного расположения звезд всё перевернулось вверх дном и он слишком много страдал, был беспрестанно гоним, таинственно одинок и обрел наконец один только смертный покой. В это уродство, в это извращение поверить нельзя! Никакая, даже самая злая судьба не имела бы духу заранее приготовить ему тех нестерпимых, тех унижительных испытаний, какие обрушились на него, как никакая, даже самая злая судьба не имела бы духу заблаговременно приготовить тех нестерпимых, тех унижительных испытаний нескольким поколениям русских интеллигентов только за то, что они были и остаются интеллигентами. Это вздор! Типичный и злонамеренный вздор!..»

ISBN 5-89073-007-X

© Есенков В. Н.

© Автор

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	12
Глава четвертая	15
Глава пятая	23
Глава шестая	28
Глава седьмая	33
Глава восьмая	40
Глава девятая	53
Глава десятая	66
Глава одиннадцатая	75
Глава двенадцатая	82
Глава тринадцатая	90
Глава четырнадцатая	98
Глава пятнадцатая	106
Глава шестнадцатая	114
Глава семнадцатая	119
Глава восемнадцатая	127
Глава девятнадцатая	137
Глава двадцатая	144
Глава двадцать первая	147
Конец ознакомительного фрагмента.	149

Валерий Есенков

Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове

Часть первая

Глава первая

Занавес поднимается

Мой читатель, никогда не верьте никаким предсказаниям и никаким предсказателям! Ребенку, который появился на свет в городе Киеве в 1891 году, была по душе сосредоточенная, тихая, может быть, совершенно скромная, однако свободная от нестерпимых страданий, далекая от нечеловеческих зверств и жестоких катаклизмов истории, вполне счастливая жизнь. Лично я ни за что не поверю, чтобы по воле судьбы или по причине не совсем удачного расположения звезд всё перевернулось вверх дном и он слишком много страдал, был беспрестанно гоним, таинственно одинок и обрел наконец один только смертный покой. В это уродство, в это извращение поверить нельзя! Никакая, даже самая злая судьба не имела бы духу заранее приготовить ему тех нестерпимых, тех унижительных испытаний, какие обрушились на него, как никакая, даже самая злая судьба не имела бы духу заблаговременно приготовить тех нестерпимых, тех унижительных испытаний нескольким поколениям русских интеллигентов только за то, что они были и остаются интеллигентами. Это вздор! Типичный и злонамеренный вздор!

На самом деле в тот год над городом Киевом, прекраснейшим в мире, светит, смеется и плещется ласковый май. Своим особенным цветом зацветают каштаны. Сирень готовит тяжелые кисти, чтобы вот-вот расцвести и разлить по всем улицам и переулкам необыкновенно-тонкий свой аромат.

Его первый стремительный выход на подмостки существования, а вместе с тем и на подмостки русской истории, происходит третьего, а по-нынешнему пятнадцатого числа месяца мая, на Воздвиженской улице, в доме под номером двадцать восемь, где квартирует молодой, подающий большие надежды доцент Афанасий Иванович и его супруга Варвара Михайловна. Восемнадцатого мая, здесь же, поблизости, в церкви Воздвижения Черного Креста, происходит крещение. Восприемником со стороны отца присутствует ординарный профессор духовной академии Николай Иванович Петров, восприемницей со стороны матери присутствует супруга священника города Орла Сергиевской кладбищенской церкви Олимпиада Ферапонтовна Булгакова. Во время обряда крещения мальчику дают прекрасное имя в честь хранителя города Киева архангела Михаила.

В жизни нет ничего замечательней детства, и всё же я не могу не сказать, что во всей литературе, русской и даже всемирной, едва ли отыщется детство более замечательной, чем детство этого мальчика, даже если благосклонный читатель припомнит колыбельное детство Николая Васильевича или немецкого писателя Гете.

Улица Воздвиженская, как и все близлежащие улицы, покрыта ровным булыжником, по которому летом шумно и весело проносятся потоки дождя, а зимой, когда они покрываются снегом и льдом, по ним ещё веселей с замирающим духом мчатся на санках как можно быстрее и всё дальше, всё дальше, до самого низа, румяные от мороза мальцы. Тротуары, напротив, выложены особенным, киевским, желтоватым, поставленным на ребро кирпичом и то и дело прерываются несколькими ступенями, чтобы удобней спускаться вниз и ещё удобней подниматься наверх.

Дом стоит высоко, чуть не на вершине крутейшей горы. Панорама, не сравнимая ни с какой другой во всем мире, открывается с этой горы. То там, то здесь мелькают строения, возвышаются белоснежные стены русских церквей, купола и кресты, однако все они, точно в море, утопают в громадном саду, который тянется без конца и без края. Сад уходит, точно живой, всё далее и далее вниз, темнеет узкими прорезями аллей, чернеет в изломах оврагов, широко раскидывает ветви каштанов, кленов и лип, сплошь покрывает прекрасные горы, которые мощной громадой своей наступают на Днепр, отвесные стены которых обрываются от террасы к террасе, ломают землю, но не в силах преградить путь всемогуществу Царского сада. Всё одолевает этот непостижимый, этот единственный сад. Великолепнейшие деревья этого сада возвышаются всюду, где находят хотя бы самую шаткую, однако всё же точку опоры. Они словно падают на Террасы. Они словно переливаются в береговые беспечные рощи. Они подступают к самой кромке шоссе, которое бежит вдоль реки. Во всем своем несравненном величии отражаются они в скользящей воде, оттого вода становится темной, и сам Днепр стремится освободиться от них, убегая течением вниз, за пороги, где Запорожская сечь, Херсонес и загадочное, вечно манящее море. На это могущество и величие жизни можно глазеть без конца, не в силах отойти от окна, можно фантазировать без конца, можно мечтать.

Ещё заманчивей, ещё загадочней в доме, сперва на Воздвиженской, а через несколько лет по Кудрявскому переулку, под номером девять, принадлежащем Вере Николаевне Петровой, дочери профессора духовной академии, крестного. Дети идут в семье один за другим, красивые девочки, крепкие мальчики, все непоседы, и в конце концов их однажды становится семеро. Отец Афанасий Иванович непременно уходит с утра, так же непременно приходит к обеду, снова уходит, возвращается к вечернему чаю, а после вечернего чая долго сидит в своем кабинете. Всё детство, и отрочество, и много поздней мальчик чаще видит отца со спины: отец что-то пишет за широким столом, часто обмакивая в чернила перо, а на столе приятнейшим рассеянным светом светит обыкновенная лампа под спокойным, полезным для глаз абажуром зеленого цвета. И так это зрелище важно, так значительно, так хорошо, что бумага, перо, просторный письменный стол и зеленая лампа вызывают горячую, ничем другим не утолимую зависть ребенка, становятся вечной мечтой и вечным символом необыкновенного счастья, как вечным символом женщины становится мама, светлая королева, царившая в доме весь день.

Начать хотя бы с того, что между ними обнаруживается, и очень рано, поразительное сходство во всем: то ли она походила на сына, то ли сын походил на неё. Оба они белокурые, глаза у них светлые, она располневшая, он тоже пока ещё пухлый. Оба живые, подвижные, так что обоим не сидится на месте, ему бы всё прыгать, скакать, ей бы всё что-нибудь делать в небольшом, но сложном хозяйстве растущей семьи. И хотя она занимается этим хозяйством весь день, то и дело рождает детей и несет все обязанности по их воспитанию, у неё ещё остается довольно энергии, чтобы в теннис сыграть гейм-другой. Она к тому же доброжелательна, с мягкой улыбкой, какая часто играет и у него на губах, и с сильным, даже несколько властным характером, какой с течением времени начинает обнаруживаться и у него. Она и воспитывает его, а следом за ним и всех младших детей согласно деятельному характеру и полученному образованию: каждому приискивает и находит занятие, чтобы без дела, упаси Бог, никто не сидел, так что её старший сын, уже юношей, начинающим понемногу освобождаться от доброжелательно-строгой опеки родителей, сочиняет по поводу её бесконечных распоряжений шуточные стишки: «Ты иди песок сыпь в яму, ты из ям песок таскай». Стишки, как видите, до крайности слабые, скорей говорящие о самостоятельном и насмешливом складе ума, чем о сверкающем даре поэта.

Главное же заключается в том, что бесконечное трудолюбие и, как обязательный его результат, довольно скромные, но всё же достаточные доходы отца вместе с веселыми легкими хлопотами очаровательной мамы создают в доме особенную атмосферу безмятежности, устойчивости, благополучия и самого доброго мира везде и во всем.

В комнатах большую часть дня сохраняется невозмутимая тишина: все заняты каким-нибудь делом, в кабинете сосредоточенно что-то пишет отец. Тишина любовная, ласковая, сладкая, в какой только и вырастают здоровые дети. Везде стоит обитая красным бархатом мебель, пестреют ковры с завитками, ласкает зрение лампа, бросая мягкий рассеянный свет, манят шкафы, плотно уставленные разнообразными книгами, разумеется, лучшими в мире.

Вдруг в соседней столовой башенным боем бьют большие часы. Ещё они не успевают умолкнуть, как в таинственной маминной спальне, куда вход категорически воспрещен, другие часы уютно и сладко играют гавот. Эти великолепные звуки, повторяясь множество раз в течение множества лет, становятся живой частью отчего дома, частью семьи, и уже совершенно представить нельзя, что когда-нибудь какая-то посторонняя сила заставит эти милые звуки замолчать навсегда.

О, нет! Эти благодатные звуки были всегда и пребудут всегда, та слышится в добром сердце ребенка, оттого что дают его чистой, невозмущенной душе покой обыкновенного счастья. Такого именно счастья, которое естественно для детей. Тогда дело, придуманное мамой для его воспитания, забывается само собой, выпадает из рук, и уже на невидимых крыльях отовсюду слетаются золотые мечты и заносят Бог весть куда, где стеклянные замки, стеклянные рыцари и вечный перезвон хрустала.

А уже темно за окном, и в дальний угол переносят высокую лампу, и мама, светлая королева, обравши волосы и сбросивши фартук, поднимает черную крышку рояля. Наступает самый сладостный миг! Исподтишка, нередко в щель двери из детской, маленький мальчик жадно следит за каждым движением, страхась пропустить, хотя уже знает всё, что мгновенье спустя произойдет перед ним, потому что и это тоже происходит всегда: белокурая, приятно округлая, подвижная, очень живая весь день, она в этот торжественный миг затихает, долго сидит, точно пристально слушает что-то, чуть подкрашенными ресницами прикрыв светлые, почти стального цвета глаза, или медлительно перекладывает подержанные листы любимейших нот.

Он замирает и ждет.

Наконец она слабо трогает черно-белые клавиши, и тотчас вслед за движением её лаковых рук в уютную притемненную комнату входит печальный и мужественный Шопен, наполняя самый воздух гостиной пронзительной грустью. На эти, точно призывные, звуки из кабинета вскоре выходит отец, из потертого футляра извлекает свою старую скрипку, прижимает её ложе подбородком к плечу, ожидая, и вот уже, отвечая смычку, жалобно отзываются верные струны. Или красивейшим басом что-то поет. И часто, как часто она отчего-то играет из «Фауста»

Его веселят, зачаровывают то сильные, то зловещие звуки. Эти звуки куда-то влекут. Но куда же, куда?! Он только слышит распахнутой настезью душой, что они влекут к чему-то громадному, которое непременно ждет его впереди.

Только черствые, только деревянные души, только застегнутые умы не в силах понять, что единственно впечатления этого рода облагораживают податливо-мягкую душу ребенка и остаются в ней навсегда, навсегда, так что уже никогда такая душа не сможет вместить жестокое, грубое, дикое, пошлое, не испытав отворачивания, не отворачившись, не попытавшись бежать, чтобы возвратиться обратно в свой естественный мир поэзии, любви, тишины.

Чему ж удивляться, читатель, что ребенку привольно и весело жить, что желание действия его непрестанно томит, что энергия нарастает в во всем его существе не по месяцам и годам, а по дням и часам, что настает вскоре время, когда эту энергию становится невозможно сдержать. Мальчик уже часами не стоит у окна, не придается слишком сладким, но туманным мечтаниям. В доме становится шумно. Что-то падает, грохочет и бьется. Сооружения из стульев появляются в разных углах. Под водительством смелого рыцаря на штурм крепости лезут младшие братья и сестры, ряды которых с каждым годом растут. Его замысловатые выдумки

заражают и их, и все они любят его беззаветно, да и как же друг друга им всем не любить? И кто может им помешать? Кто осмелится запретить эти безвинные, хотя и слишком шумные игры?

Уверяю вас, что никто.

Глава вторая

Размышление о корнях

Правда, глава семьи сдержан, суров, но и добр, как подобает христианину, интеллигенту и всякому благородному человеку. Это крайне требовательный к себе, неутомимый работник. Он в совершенстве владеет древними языками, которыми нельзя не владеть и при самых малых способностях, если учишься в семинарии, так хорошо там поставлено дело по части именно языков, тем более нельзя не владеть, если окончил духовную академию, некоторое время преподавал греческий в духовном училище и возвратился преподавателем в духовную академию, в которой учился. Таким образом, это естественно и едва ли является очень заметной заслугой. Но что действительно оказывается немалой заслугой, так это владение новыми языками, немецким, французским, английским, которых в семинарии не преподают и даже не считают нужным преподавать, дабы излишним познанием не развращать молодые умы. А владение новыми, притом основными европейскими языками является громадным преимуществом в те времена, поскольку предоставляют единственную возможность следить за всеми достижениями научной и эстетической мысли Европы, как только эти достижения являются в свет, что и служит залогом действительного и глубокого просвещения. В связи с этим едва ли случайно то обстоятельство, что Афанасий Иванович владеет живым, правильным, достаточно выразительным слогом, а также много и с удовольствием пишет, главным образом в сфере избранной им специальности.

А его специальностью, причем близкой сердцу, надо заметить, становится, ещё со студенческих лет, англиканство, к которому православное духовенство относится с определенной терпимостью, поскольку англиканство, подобно православию, противопоставляет себя католицизму и ужасно, прямо-таки до зубовного скрежета не любит римского папу. Благодаря такой официальной позиции церковных властей открывается возможность изучать свой любимый предмет добросовестно и объективно, не приспособляясь, не лгать, что свойственно лишь ограниченным и низким умам, но искать, исследовать истину, как свойственно сильным и благородным умам. И доказательство непредвзятости налицо: одну из его специальных работ переводят для английской печати, и Афанасий Иванович откровенно и заслуженно этим гордится.

Само собой разумеется, что такого рода спокойные, уравновешенные, добросовестные умы не падают с неба. Такие умы вырабатываются долговременными традициями семьи и неукоснительной твердостью нравственных принципов. Едва ли возможно считать совершенно случайным, тем более маловажным то обстоятельство, что Иван Авраамович, дед, многие годы служит сельским священником, наживает, как водится, мало добра, незапятнанное имя и большую семью и службу заканчивает скромным местом священника Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Этим положением Ивана Авраамовича неминуемо определяется будущее детей: для мальчиков – церковь, медицина, в меньшей степени юридический факультет, для девочек – супруга священника или учительница, однако последнее является уже исключением.

По этой причине не может вызывать удивления, что Афанасий Иванович заканчивает духовную семинарию, и если он заканчивает это учебное заведение блистательно и дирекцией заранее предназначается в духовную академию, то это неизбежное следствие и прочнейших семейных традиций, и прирожденных способностей, и склонности к тихому трудолюбию. Духовная академия также заканчивается блистательно, а уже через год защищается диссертация под названием «Очерки истории методизма», за которую в высших инстанциях присваивается ученая степень магистра богословских наук. Ещё через год молодому магистру предоставляется должность доцента в той же духовной академии, в которой служит, кстати сказать, его наставник и друг, ординарный профессор Петров.

Едва ли также случайно, что Афанасий Иванович женится на девушке из того же сословия, к которому сам принадлежит по рождению, а не только по службе, поскольку женится он, тридцати одного уже года, вполне зрелым мужчиной, человеком, всесторонне обдумавшим делом, способным прокормить себя и семью.

Таким образом, молодая семья оказывается в определенной духовной среде, по рождению и воспитанию родственной ей, с обширным и разнообразным родством.

Отец Варвары Михайловны, другой дед, Михаил Васильевич Покровский, служит протоиереем Казанской церкви в Карачеве той же Орловской губернии, широко образован, даже талантлив, дает своим детям светское образование вместо духовного. Его дочь Варвара Михайловна оканчивает гимназию, а также дополнительный педагогический класс и поступает на должность преподавательницы и надзирательницы в Карачевскую прогимназию, откуда Афанасий Иванович и берет её в жены. Её братья, Михаил Михайлович и Николай Михайлович, после окончания университета становятся известными докторами в Москве. Сергей Иванович, младший брат отца, женатый на Ирине Лукиничне, служит во второй гимназии города Киева учителем пения и регентом церковного хора.

Составляется тесный, сплоченный кружок, съединенный складом духовным, интересами общими, привычками мыслить и жить, обиходом повседневного быта. В этот тесный кружок входят сослуживцы, знакомые, лечащие врачи, соседи по даче. Выворачивается ещё один пласт той культурной почвы России, которая рождает всё лучшее в ней: подвижников мысли, пастырей, ученых, философов, литераторов, медиков, юристов, актеров, всех жаждущих истины, живущих прекрасным и потому внутренне, духовно свободных людей, несмотря ни на что. Педанты и обскуранты не попадают в этот сплоченный кружок. В нем сходятся люди живой мысли, творческих интересов и устремлений. Политика мало их занимает или не занимает совсем. Они монархисты и либералы, и одно нисколько не противоречит другому, поскольку в России всё лучшее, передовое неизменно движется сверху. Идея коммунизма их не пугает, поскольку они видят в ней воплощение тысячелетних евангельских истин и возрождение тех отношений, которые уже существовали когда-то давно, в общинах первых последователей Христа. Однако никому из них не взбредает в голову несуразная мысль, чтобы коммунизм мог в ближайшее время осуществиться в России, в стране, где масса населения элементарно неграмотна, чуть не дика в смысле крайней узости кругозора, где всё ещё процветает жестокость в быту, насилие, беззаконие, пьянство, где во время эпидемий холеры убивают врачей по подозрению в том, что это они нарочно отравляют несчастный и беззащитный народ. Какой тут может быть коммунизм!

Эти интеллигентные люди видят цель и смысл своей жизни именно в том, чтобы просветить эту неуклюжую большую страну, внести в её слабо затронутые дебри семена духовности, истины, знаний и с терпением ждать, когда эти семена прорастут, да кто ещё знает, какой из этого семени вызреет плод?

Всё это свободные, независимые умы, которым чужда ограниченность в чем бы то ни было. Стало быть, не приходится удивляться, что именно в этом тесном кружке глубоко просвещенных людей рождаются книги об украинской литературе, тогда как сами слова «Украина» и «украинство» официально запрещены. Не приходится удивляться также тому, что в этом тесном кружке глубоко просвещенных людей видят в Толстом «живой укор нашему христианскому быту», поскольку темные стороны этого быта знают много лучше других, и «будителя христианской совести», а в его учении слышат отголоски «великого церковного учения», возникшего в первые века христианства, тогда как именно за это учение великий Толстой подвергается жестоким гонениям церкви.

В этом кружке собирают ценнейшие книги, великолепную коллекцию фотографий с изображений Христа, слушают музыку, посещают театр, живут честно, не поддаются искушениям дьявола ни на скупость, ни на стяжание, изучают историю, проникаются мыслью о медли-

тельном, однако поступательном и неостановимом движении человечества, а заботятся только о том, чтобы прилично обеспечить семью.

В духовной академии Афанасий Иванович добросовестно читает свой курс, за что получает тысячу двести рублей, одно время преподает историю в институте благородных девиц, служит по иностранной цензуре, за что получает ещё тысячу двести рублей. Благодаря его скромным заработкам большая семья не ведаёт ни горьких лишений, ни погубительной роскоши, в особенности губительной для детей. Желать большего он почитает тяжким грехом. Настоящее не доставляет ему излишних хлопот, и он без надобности не вглядывается в него, а будущее, как всем известно, не в наших греховных руках, а в руках всемогущего Бога. И прекрасно! И незачем понапрасну себя волновать! Благодаря такому философскому взгляду на мир удастся выкраивать довольно много свободного времени, и Афанасий Иванович беспрепятственно погружается в древние книги, наслаждаясь и восхищаясь великим прошедшим. Его внимание большей частью останавливает Ветхий завет. Он без усталости разгадывает его глубочайшие символы, в которых алеет нетленная мудрость веков. Эта-то мудрость веков и насыщает его. Благодаря ей он спокоен, уравновешен, добропорядочен и не строг.

Глава третья

Далее следуют книги

Буйство в гостиной и в детской, которое становится необузданней день ото дня, то и дело отвлекает его ль углубленных занятий и всё чаще наводит на размышления о будущем старшего сына. Такая ничем не сдержанная энергия настораживает отца. Кем может стать сын, если ему не сидится на месте? Чрезмерная бойкость извечно приводит юное племя к порокам. Добродетель уравновешенна и спокойна, как мудрость.

Нельзя не согласиться с умным отцом, что во всякой чрезмерности таится опасность для каждого человека, для ребенка в особенности. И отец поступает разумно, решившись несколько утихомирить этот мечущийся из комнаты в комнату вихрь. Правда, этому решению несколько противоречит то обстоятельство, что Афанасий Иванович является принципиальным противником наказаний, как и всякого насилия вообще. А стремительно подрастающий сын обезоруживает всех окружающих звонким залиvistым смехом, мягкостью впечатлительно-тонкой натуры, наивностью добрых ласковых глаз и в особенности такой изобретательностью молодого ума, что уследить за его бесконечными выдумками никакой возможности нет, да и занят отец, очень занят, чтобы следить.

К счастью, на помощь отцу со своим вечным безмолвием приходит традиция. Наступает пора заниматься Священной историей, как первой ступенью и надежным фундаментом всей нашей нравственной жизни, и отец вместе с сыном, а позднее и с другими детьми, читает сначала Новый, а потом и Ветхий завет, справедливо считая, что вечные истины действуют сильнее и надежнее, чем гибкий березовый прут.

Как прозрачны, но таинственны реченья Завета! Как поэтично и кратко повествуют они о фантастическом мире, какого нет за окном, но вперить взоры в который стократ занимательней, чем глазеть часами на днепровские дали! Прямо у нас на глазах невероятное становится натуральной и непреложной вещью, каждый день с таким равнодушием окружающих нас! Давно знакомые стены, испещренные тончайшими трещинками, старая мебель, поцарапанная и побитая при переездах и во время строительства рыцарских замков, изразцовая печь бледнеют и уплывают куда-то рядом с прелестью библейских легенд. Словно на крылья подхватывает ребенка возвышенная фантазия кочевников-иудеев. С ненасытной жадностью он вникает красочным жизнеописанием праотцев. Завидует этим бесконечным странствиям по желтым пустыням. Участвует в завоевании Ханаана. Свершает подвиги библейских героев, которым всего на свете дороже благо народа. Жертвенность, мужество, неподкупность! Непреклонное служение истине! Непреклонное служение Богу! Ибо Бог – это истина, а истина – это Бог! Как не зародиться прекрасной мечте о геройстве, о титанической силе, о несгибаемой воле? И мечта зарождается, и грозная поступь судьбы вызывает трепет восторга и ужаса.

И слышит он:

Жил Иеффей, сын блудницы, человек своенравный и храбрый. Когда возмужали сыны Галаада, прогнали они Иеффея, и, оскорбленный, бежал Иеффей в землю Тов. Однако аммонитяне пошли войной на Израиль. Тут старейшины вспомнили Иеффея и отправились к нему. «Мы пришли, – сказали они, – чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И заключили они договор, что если Иеффей одержит победу, то навсегда сохранит власть над галаадитянами. Иеффей же дал обет перед Богом в случае победы принести в жертву Богу первого человека, которого встретит по возвращении с поля сражения. И пришел Иеффей в дом свой, и дочь его вышла навстречу ему с тимпанами и ликами. И была она у него только одна. Когда Иеффей увидел её, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, дочь моя, ты сразила меня... Я отверз уста мои перед Богом и не могу отречься». И она сказала отцу: «Отпусти меня на два месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу

детство мое с подругами моими». И отпустил он её на два месяца. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он свершил над ней свой обет, который дал перед Богом.

Ещё величественней, ещё печальней звучит сказание о жизни и смерти и воскресении Христа. Сердце сжимается, глаза наполняют сладкие слезы. И всё, что ни слышит он в этот миг от отца своего, становится непреложной, непререкаемой истиной. Золотые речения текут в самую душу его:

«Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупцами. Мудрость лучше мечей».

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым».

«Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Всё, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

И ещё слышит он:

«Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, чтти отца и мать твою, и благо будет тебе».

Не могу особенным образом не подчеркнуть, что Афанасий Иванович превосходно исполняет свой родительский долг перед сыном. И семена его приветливых наставлений, пронизанных светлой мудростью тысячелетий, глубоко западают в открытую, чуткую душу ребенка, медленно там набухают, ожидая, когда прорасти, чтобы укорениться в ней навсегда. Ласковая и нежная по природе своей, душа мальчика становится ещё ласковей и нежней. Весь мир, всё сущее на земле представляется его детскому разуму превосходным и мудрым. Истина и справедливость торжествуют повсюду. Как же иначе? Иначе никак.

Совершенно естественно, что ему на всю жизнь остается решительно чуждой мятежная поэзия Лермонтова. Мятеж? Смятение души? Ну, какие смятения, какие могут быть мятежи, когда в душе его прочно царит безмятежность! Движимый не смутной жаждой познания каких-то проклятых вопросов, которые у него не возникают и не могут возникнуть после чтений отца, а живительной жаждой прекрасного, поэтического и занимательного, он выучивается читать словно бы сам собой. Во всяком случае ни он сам, и никто другой не в состоянии точно припомнить, когда и при каких обстоятельствах происходит это в жизни интеллигентного мальчика обыкновеннейшее событие. Он умеет читать, словно с этим умением так и появился на свет.

И, знаете, вещь замечательная! Освободившись от придуманного изобретательной мамой тасканья в бездонную яму очередной кучи песка и вытаскивания из той же ямы того же песка, утомившись от беготни, он усаживается у жаром пышущей печки длиннейшим зимним вечером, когда зажигаются свечи, отец закрывается в своем кабинете, вечно неутомонная мама присаживается в кресло с романом и начинает казаться, что чтением занят весь дом. В его руках тоже раскрытая книга. Он пристраивает её на коленях, склоняет над ней свою светловолосую голову и забывает решительно всё, погрузившись в какое-то неземное блаженство.

Чтение! Мерцанье свечей! Тишина! Что бы ни говорили мне разгоряченные поклонники шумных забав, великолепней нет решительно ничего, нет ничего благотворней на свете, чем зажженные свечи, жар хорошо натопленной печки и книги, в страницах которой утопает душа!

И какое же счастье: почти с первого раза его душа погружается в «Саардамского плотника», сочиненного совершенно не известным писателем Фурманом в далеком 1849 году. Это небольшое сочинение в беллетристической форме о юном Петре, который прибыл учиться в голландский городок Саардам.

Мой ещё более юный герой так и впивается в каждое слово: «Все с особенным удовольствием глядели на статного, прекрасного молодого человека, в черных, огненных глазах кото-

рого блистали ум и благородная гордость. Сам Бландвик чуть не снял шапки, взглянув на величественную наружность своего младшего работника...»

Боже мой! Какой простой и в то же время какой возвышенный слог! И какой замечательный пример жизни для мальчугана, который ещё только приготавливает себя к настоящему вступлению в жизнь! Ах, отчего у него не черные, не огненные глаза?

По этой причине не может быть ничего удивительного, что мальчуган перечитывает «Саардамского плотника» бесчисленное множество раз, только что не выучивает его наизусть и почитает эту небольшую детскую книжицу совершенно бессмертной, посвятив ей, уже будучи взрослым, прочитавшим много куда более замечательных книг, несколько таких же простых, однако возвышенных и благодарственных слов.

Разумеется, чтение идет беспорядочно, без всякого вмешательства взрослых, как и должно в этом возрасте быть, чтобы как-нибудь ненароком не подавить, а естественно выявить истинную склонность души. Понятно само по себе, что залпом прочитываются романы Купера и Майн Рида, потому что без чтения этих романов нормального мальчика даже представить нельзя. Ах, как он ждал, когда в его руки попадет «Следопыт»! Кажется, уже никогда ни одной книги он с такой жадностью, с таким нетерпением и трепетом в своей жизни не ждал!

Все-таки примечательно то, что не эти хорошие книги становятся любимы и избранны. Что ни говори, проглотив «Следопыта», «Зверобоя» и «Последнего из могикан», он не прочь представить себя Кожаным чулком или этим самым последним из могикан, побродить по девственным американским лесам или поплавать в берестяном челноке по Великим озерам. Однако в этих романах последнее слово слишком часто остается за меткими ружьями, а ему так дорога тишина, что он не переносит пальбы даже в книгах, и один из его ранних героев, чрезвычайно близкий ему, не без раздражения произнесет: «Я с детства ненавижу Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки. У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии...»

Зато девяти всего лет он прочитывает «Мертвые души», прочитывает бессмертную поэму Николая Васильевича Гоголя-Яновского сперва как роман приключений и уже избирает её своей верной спутницей на всю дальнейшую жизнь. Замечательней, выше, прекрасней нет и не может быть ничего!

Глава четвертая

Первая гимназия

Тут, к сожалению, надвигается то печальное время, когда всякий ребенок, одаренный или вовсе бездарный, обязан получить систематическое образование, хотя бы начальное.

Интересно при этом отметить, что ни у Афанасия Ивановича, ни у Варвары Михайловны почему-то не возникает и мысли отдать старшего сына в духовную семинарию и посвятить его духовной карьере, что было бы в полнейшем согласии с семейной традицией. На это счет между ними складывается полнейшее единение мнений, как и во всех других случаях жизни. Оба они полагают необходимой светскую образованность: гимназия, университет. Далее, как благо разумные люди, они заглядывать не хотят.

И отдают Михаила сначала во Вторую гимназию, в подготовительный класс. Однако, насколько я знаю, ничего примечательного из подготовительного класса он не выносит, может быть, оттого, что нечего было из него выносить, скорей же всего оттого, что было бы странно вынести что-нибудь из подготовительного класса ребенку, восхищенному «Мертвыми душами».

Спустя ровно год, чтобы наконец по всем правилам образовать и крепить его ум, на него надевают специально заказанные по этому случаю форменную черную куртку, длинные брюки, шинель офицерского серого цвета сукна, за спину помещают рыженький ранец из оленьей, очень коротко стриженной шкурки, с пеналом, с тетрадами в цветных обложках, купленных в магазине Чернухи, с тоненькими учебниками, которые он давным-давно успел прочитать, накрывают белобрысую голову тяжелой фуражкой с сими негнушимся верхом, околыш которой украшен огромным фигурным из фальшивого золота гербом, и, взявши за руку, отводят в гимназию, на этот раз не во Вторую, а в Первую, которая в киевском просторечии именуется Александровской и которая выстроена и продолжает стоять на Бибикивском бульваре.

Уже в Николаевском сквере, сквозь густую сочную зелень листвы, слегка начинавшей желтеть, он видит редкое по величию желтое здание и видит так, точно видит впервые. Это здание замечательно тем, что выстроено громадным покоем, и уже одним своим видом поражает его. Сто восемьдесят окон! Четыре этажа!

Впрочем, едва ли не более поражает Василий, швейцар, бывший борец, с такой широкой выпуклой атлетической грудью, что страшно смотреть на неё. Василий стоит у дверей этого необыкновенного здания в синей ливрее, расшитой серебряным галуном, в треуголке и с булавой. Все эти невиданные одежды Василий надевает только по праздничным дням, а начало учебного года как же не праздничный день даже для старейшего швейцара Первой гимназии!

Миновав этого цербера с добрым лицом, он вступает под священные своды, проходит необозримым пространством двухскатного вестибюля, поднимается по чугунным ступеням, стертым до свинцового блеска сотнями тысяч мальчишеских ног, промчавшихся сломя голову здесь, проходит сквозь белый актовый зал с парадными портретами императоров, и с двухсаженного полотна, подняв на дыбы аргамака, в треуголке же, заломленной с поля, ему улыбается Александр, покровитель гимназии, и указывает острием палаша на полки, осененные клубочками взрывов, с плотно сомкнутыми рядами, ошетиленные черной тучей штыков, стяжавшие бессмертие в Бородинском бою. Далее следует бесконечно длинный коридор, заполненный яростным шумом. Открывается высокая белая дверь кабинета, и он замирает на месте.

Инспектор Бодянский в просторном, тоже форменном сюртуке опускает на его обнаженную головенку свою коротковатую пухлую руку, что непременно проделывает с головенкой каждого вновь поступившего новичка, и с мрачнейшим видом роняет, точно посвящая его в гимназисты:

– Учись хорошо, не то съем.

После такого решительного напутствия сторож Казимир, облаченный в старенький, но аккуратного вида сюртук, отводит чистого отрока в класс.

Чистый отрок ждет в этом классе слышать и видеть необычайное, чего нигде не бывает на свете. И точно: Александровская гимназия как раз в это время переживает свой краткий блистательный век. Только что, в феврале 1901 года, умирает от раны, нанесенной Карповичем, студентом города Киева, министр просвещения Н.П.Боголепов, с такой жестокостью подавлявший студенческие волнения, что незадолго до этой мрачной кончины его личным приказом сто восемьдесят три студента города Киева были отданы солдатами в армию. Должность министра народного просвещения занимает генерал П.С.Ванновский, человек, убежденный, что школе необходимо не что-нибудь, а сердечное попечение прежде всего. В чем выражается это сердечное попечение со стороны генерала, которому нельзя в данном случае отказать в рассудительности? Это сердечное попечение выражается в том, что Александровской гимназии, единственной в городе Киеве, дается важное право приглашать к себе профессоров университета и политехнического института.

Ответственный пост директора Александровской гимназии как раз занимает Евгений Адрианович Бессмертный, известный во всем городе Киеве математик, человек пожилых уже лет, несомненный красавец, с золотистой бородкой, всегда в превосходном, точно бы новехоньком форменном фраке, просвещенный и мягкий, не терпящий верхоглядства и кавардака, но с дипломатической ловкостью охраняющий педагогов и гимназистов от посягательства чрезвычайно любознательных местных властей, как бы охранял собственную семью и собственный дом от бандитов.

Так вот, Бессмертный без промедления использует право, данное генералом, ибо всей душой печется о процветании Первой гимназии. Он тотчас включает в программу своего учебного заведения естествознание, совершенно новый предмет, никогда не преподававшийся прежде, якобы для того, чтобы не осквернять чистоту латинизма, и преподавать этот новый предмет приглашает профессора политехнического института Добровлянского. Психологию и логику начинает преподавать профессор Челпанов, заведующий кафедрой психологии и логики в университете, позднее основавший Московский психологический институт. Впрочем, после 1906 года на смену ему из университета же приходит доцент Селиханович, в помятом, плохо вычищенном костюме, в брюках бутылками, взъерошенный и говорящий так шепеляво, что мало кому удастся понять, хорошо ли доцент освоил столь трудный и важный предмет.

Несомненно, приглашение профессоров и доцентов ещё выше поднимает уровень преподавания в Первой гимназии, и прежде довольно высокий. Почти все педагоги любят свое нелегкое дело и умеют делать его. Главное же достоинство педагогов заключается в том, что все они желают России добра и мечтают чуть не из каждого вихрастого сопляка с оттопыренными тяжелой фуражкой ушами приготовить прекрасного, то есть полезного родине гражданина. Уже в те времена такого рода мечта представляется исключением из общего правила общеобразовательной школы, а позднее из учебных заведений исчезает и вовсе, как высших, так начальных и средних, в которых начинают готовить черт знает кого, но только не граждан, полезных России, и можно было бы думать, что именно эти мечтатели способны удовлетворить высокие требования своего нового ученика.

Однако, приходится констатировать с сожалением, этого не происходит. Отчего? Скорее всего оттого, что добро и благо многострадальной России педагогами понимается так, что их слово не проникает в самое сердце ученика и не согревает души, а любовь к просвещению нередко выглядит даже смешной.

Задачу свою, так сказать, задачу задач, эти искренние ревнители просвещения видят единственно в том, чтобы наполнить пустующие головы своих невинных питомцев добротным и полновесным умственным багажом. Кумиром своим они избирают ученость, знание как тако-

вое, знание само по себе. Они полагают, что вполне образованный человек по этой причине не может не стать совершенным во всех отношениях, тем более не может не стать полезным и деятельным гражданином многострадальной России.

И все они большей частью превосходно владеют предметом, который им поручается преподавать, в старании и в добросовестности им тоже большей частью отказать невозможно, однако всем своим обликом, похожие на скоморохов и клоунов цирка, они опровергают жизненную силу собственной прекрасной идеи, будто одно образование делает нас совершенными.

Точно метеор, свалившийся с неба, влетает Субоч, преподаватель вечной латыни, этого фундаментального для человечества языка. Как рыбы хвосты развеваются длиннейшие фалды его сюртука, сверкают стекла пенсне. Классный журнал со свистом рушится на крышку стола. За окнами класса воробьи с испуганным писком срываются с тополей. Тем временем Субоч вырывает из оттопыренного кармана крохотную книжечку, подносит её к выпуклым подслеповатым глазам, подняв высоко карандаш, точно это карающий меч, и выкликает к доске свою жертву. И если обомлевшая от полного незнания жертва плачевно молчит, а подобное безобразие приключается чаще всего, оскорбленный преступнейшим небрежением Субоч взрывается яростным монологом из одних восклицательных слов: Латинский язык! Язык Горация и Овидия! Тита Ливия и Лукреция! Цезаря и Марка Аврелия! Перед латинским языком благоговели Пушкин и Данте, Гете, Шекспир! Они знали латынь! Они знали латынь лучше, чем вы! Золотая латынь! Она вся литая! А вы! Вы над ней издеваетесь! Ваши головы начинены дешевыми мыслями! Мусором! Анекдотами! Футболом! Бильярдом! Курением! Зубоскальством! Кинематографом! Всякой белибердой! Стыдитесь! Стыдитесь! Стыдитесь!

И так часто повторяет одуревшим от его крика питомцам то, что, видимо, больше всех смертных грехов пугает его: «Не пейте! Не пейте!», что обнаглевшие с годами питомцы, посмеиваясь над ним, потихоньку поют ему вслед: «Владимир Фаддеевич! Выпьемте! Выпьемте!»

Следом за Субочем в класс прокрадывается Шульгин, кроткий старик, с белой бородкой, с синими старческими глазами, всей своей внешностью походивший на благообразного библейского патриарха. И что же? В изложении Шульгина российская словесность выглядит плоской, точно доска, примитивной и словно бы розовой, поскольку все без исключения российские литераторы оказываются прекрасны, блистательны и выше всяких похвал. Несмотря на свое ни с чем не сравнимое понимание классического наследия и самого духа искусства, кроткий старик совершенно не выносит в устах своих питомцев бессмысленных слов. От бессмысленных слов этот кроткий старик то и дело приходит в неистовство, в ярость. Лицо старика багровеет, он хватает с парты учебник и у всех на глазах разрывает пособие на клочки. Он трясет венозными старческими руками перед своим искаженным болью лицом с такой нечеловеческой силой, что громко стучат картонки крахмальных манжет. Он выкрикивает, а в исключительных случаях даже вопит:

– Вас! Именно вас! Прошу! Вас! Вон! Старый Клячин, худой, в распахнутом сюртуке, непременно небритый неделю, ни больше, ни меньше, с большим кадыком, с невидящими глазами, хрипло и резко повествует об истории стран Европы в новое время. С шипением и со стуком друг на друга нагромождаются крамольные имена Дантона, Робеспьера, Марата, Бабефа, Наполеона и вполне безобидные имена Людовика-Филиппа, Гамбетты и многих, многих менее примечательных исторических деятелей, когда-то двигавших историю вперед и назад. Негодование, происхождение которого не понимает никто, так и клокочет у бедного Клячина в горле, точно кто-то его навсегда огорчил. Совершенно забыв, что находится в классе, он нервно закуривает толстую папиросу, но тотчас забывает о ней и оскорбленным движением гасит её о ближайшую парту у всех на глазах. Тут речь его возвышается до предела возможного пафоса, точно он, лично он, он сам возвещает с той самой трибуны Конвента, с которой непреклонный диктатор бросал своих соратников под нож гильотины.

Можно ли, спрашиваю я вас, удивляться тому, что все эти гордые носители европейского просвещения не в силах возжечь священный огонь в этих юных, всегда до крайности чутких сердцах, тем более в нежном и чувствительном сердце чистого отрока, привыкшего к тишине, бою часов и звукам гавота? Да, приходится со всей ответственностью признать, что в Первой гимназии, лучшей гимназии города Киева, в юных сердцах не возжигают никакого огня. Питомцы Первой гимназии, оставаясь вполне равнодушными к мудреному европейскому просвещению, большей частью ладят отлынивать от скучных занятий, вроде маминого тасканья в яму песка, для чего бессчетные поколения школьников изобретают такое же бессчетное множество надежнейших способов. Вам, читатель, они, должно быть, тоже известны со школьной скамьи. Неблагодарные гимназисты на задних партах поигрывают в железку во время особенно томительных или громокипящих уроков, всласть зачитываются похождениями знаменитого американского сыщика Картера, а кое-кто просто-напросто витает в беспредметных мечтах. Что делать, юность и педагогика, даже самая лучшая, чрезвычайно редко бывают в ладу, если вообще когда-нибудь способны поладить между собой. Так устроена жизнь, не станем понапрасну пенять на неё.

Как поступают в таких случаях педагоги? В таких случаях педагоги поступают однообразно во все времена. Прежде всего они выходят из себя при малейших признаках невнимания и непослушания. Затем сыплют в дневник единицы, как розги, поскольку розги уже негуманны. Ах, вам мало и единиц? Они негодуют по поводу каждой прорехи в ваших познаниях, обнаруженной во время пытки ответом у классной доски, поскольку ни в одной педагогической голове не укладывается, как это в столь славно возведенном храме святой и пресветлой премудрости, призванной ковать из этих болванов полезнейших граждан России, можно зевать, носиться по коридорам, так что сыплются искры из глаз, в железку играть и читать какого-то паршивого Картера.

Ах, вам и этого мало? В таком случае для экстренной помощи невольникам просвещения и выковывания из болванов того и сего приставляется толпа надзирателей, среди которых самым ненавистным оказывается чересчур исполнительный педель Максим, с железными, как клещи, руками, с волосами чернейшими и густейшими, как сапожная щетка, с военной медалью, размерами походившей на колесо.

Инспектор, он же историк, Бодянский самолично встречает юное племя каждое утро при входе, и упаси Господь представителя этого племени опоздать. Опоздавших птенцов инспектор, он же историк, ненавидит всем сердцем, презирует и обрушивает на них наказания. В особенности тяжело приходится от Бодянского приходится малышам, которые опаздывают много чаще других, имея безобразный обычай по дороге от дома к гимназии глазеть во все стороны и даже вставать столбом по всякому вздорному случаю, разинувши рот. Вот заартачилась лошадь ломового извозчика. Вот солдаты строем прошли. Вот прыгает воробей. Помилуйте, да как же тут не застыть, не воззриться и не опоздать! Этим уважительнейших в мире причин не способно понять только очень жестокое сердце, а доброе сердце Бодянского принадлежит, без сомнения, к самым жестоким. Опоздавших мальцов инспектор, он же историк, таскает за ухо и страшным голосом говорит:

– Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

В сущности, каждому школьнику, кроме, конечно, несчастных отличников, ежеминутно приходится думать о своей действительно несладкой судьбе. О нет, учеба не сахар! Сами судите: надзиратели, как натасканные ищейки, охотятся за гимназистами и малейшее отступление от писаных и неписаных правил доводят до сведения Бодянского, Бодянский же без промедления распределяет кары земные согласно заведенному распорядку. Кары такие, принимая порядок их возрастания. Оставление на час или два без обеда, что означает ни с чем не сравнимую скуку сиденья в пустом классе без права и на минуту покинуть его. Четверка по поведению. Вызов родителей. Временное исключение из гимназии. Исключение с правом

дальнейшего продолжения курса в прочих учебных заведениях обширной империи. Наконец исключение с волчьим билетом, то есть без права где бы то ни было закончить среднюю школу.

Омерзительная система! Невозможно воспитать полезного гражданина в ребенке, который каждую минуту оборачивается назад и трясется от страха четверки по поведению, вызовов быстрых на розги родителей и исключений. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что директор Бессмертный исключил с волчьим билетом, кажется, только одного гимназиста. Однако перспектива получить этот самый волчий билет постоянно витает над всеми, кто не умеет приклеиться к парте и просидеть истуканом целый урок.

Совершенно естественно, что педагоги и надзиратели не пользуются никаким уважением со стороны своих поднадзорных будущих граждан России, и задорная юность дает им нелестные прозвища, вроде Нюхательного табака или Дыни. Натурально, одними прозвищами дело отнюдь не кончается. Задорная юность ведет с притеснителями непрестанную и удивительно изобретательную войну. Свидетели, например, вспоминают такую историю. Однажды целый выпуск, будто бы в знак своей особой признательности, приглашает педеля Максима с железными руками на увеселительную прогулку, на самом же деле, естественно, для того, чтобы выкупать ненавистного ябедника вместе с его громадной медалью в весенних, очень ещё прохладных водах Днепра.

Эта забавная история имеет и другой вариант. Гимназистам всё запрещалось, запрещалось им и кататься на лодках, а хитрый Максим как-то особенно ловко выслеживал их. Кому это может понравиться? Понятно, что никому. И тогда старшекласники, чтобы отучить его от шпионства, выкупали Максима в Днепре, после чего слезку пришедший в разум Максим прекратил.

Как бы там ни было, эту занимательную историю решительно никто не собирается хранить в строгой тайне, и вот несколько поколений задиристых шалопаев, завидев Максима, громким шепотом поет ему вслед: «Максим-с, холодна ли вода в Днепре-с?»

Да, нельзя не признать, гимназисты Первой гимназии умеют шутить!

И что же старший сын Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны? Каково-то ему? А таково-то, что скверно ему! После безмятежности и покоя, которые он вкушал первые, нежнейшие, важнейшие в жизни девять лет, на него сваливается, как горный обвал, шум, беготня, всевозможные оплеухи и «груши», возмущенные крики наставников и вечный, возмутительно подлый страх наказания, в сущности, никогда не известно, за что?! Извольте в такой обстановке хорошо успевать! Сидя у печки, пышущей жаром, зачитывая до дыр своего изумительного «Саардамского плотника», слушая Ветхий и Новый завет, который читает ему спокойным добрым голосом умный отец, мечтает он о значительном, вечном, может быть, даже бессмертном. И что же? А то, что вместо значительного, бессмертного, вечного ему суют в нос вседневную дребедень о каких-то гамбеттах и сыплют единицы в дневник.

Конечно, он ещё не имеет ни малейшего представления о том, где и когда это значительное, бессмертное, вечное встретится ему на пути и даст себя совершить, однако он непоколебимо уверен в дерзкой душе, что всё это он встретит и совершит непременно, даже с избытком. По этой причине он очень скоро догадывается, что вся эта вавилонская башня мелких, мало-значительных сведений о гамбеттах если и сыграет в свершении подвига, то наверняка самую наипоследнюю роль, поскольку для подвигов необходимо нечто иное. Знать бы вот только, что?

В долгом гимназическом дне решительно всё выглядит для него нелепо и грустно. Ни золотая латынь, ни Кай Юлий Цезарь не занимают его. Звездное небо пока что остается ему неизвестным, поскольку вечера он предпочитает коротать с «Саардамским плотником» и «Мертвыми душами» на коленях, и бородатый учитель чуть ли не на первом уроке ошарашивает его единицей, чем вызывает вечную, неизлечимую ненависть к астрономии, и хорошо ещё, что не к звездам. Математика ему не дается совсем. По ночам ему снятся кошмары. Из каких-то проклятых бассейнов, как из маминых ям, выливается, отчего-то всегда по несколь-

ким трубам, вода. Дураки-пешеходы выходят из пункта А и из пункта Б навстречу друг другу, точно их об этом кто-то просил. Помпей где-то высаживает свои железные легионы. Затем, уже в другом месте, высаживается кто-то еще опять с легионами, и непременно с железными, и вихрем несется какая-то дребедень из кровавого месива, из тех, какими до краев переполнен школьный учебник всемирной истории. А кто-то основывает орден иезуитов. Уже мерещатся какие-то страшно бледные лица, искаженные пытками святой инквизиции, а Ленский чем-то до странности незначительным отличается от Онегина. Тут, к счастью, раздается нежная ария. И был безобразен Сократ.

Нет, что там ни говорите, а даже самая лучшая средняя школа чем-то удивительно походит на каторгу. К тому же в классе противно и душно от пота и пыли, пот и пыль почему-то неистребимы. Некоторое облегчение наступает только тогда, когда подходит прекрасное время экскурсий, которые в особенности из тайной страсти любит Бодянский. Инспектор, он же историк, готов целыми днями таскать гимназистов по городу, то к Аскольдовой могиле, то в Киево-Печерскую лавру, то в церковь Спаса на Берестове, а там Музей древностей, Золотые ворота и, что приятней всего, Царский сад, прекраснейший из всех садов на земле. Правда, Бодянский, инспектор, он же историк, во всё время этих экскурсий ужасно докучает всевозможными пояснениями, однако ведь можно не слушать его, отойти в сторону и задумчиво любоваться великолепнейшим городом, о котором нельзя не сказать: «Город прекрасный, город счастливый!», светлый образ которого нельзя не хранить в своем любящем сердце всю жизнь, и сколько раз впоследствии ни придется ему писать об этом чудеснейшем городе, от его описаний всегда будет веять поэзией и восторгом неподдельной любви:

«Весной зацвели белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море, уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру...»

Но что же экскурсии? Краткий миг в этой будничной канители однообразных уроков. Михаил украдкой выглядывает в окно. Тотчас под ним расстилается гимназический плац, окруженный каштанами. Стрела бульвара летит, полускрытая ими, и на той стороне университет возвышается громадой своих корпусов.

Вот он, вечный маяк! Именно там его ждет необыкновенное, славное! Он должен перетерпеть ближайшие восемь лет, и тогда, тогда, за теми высокими стенами, откроется самое, самое главное, ради чего стоит жить, стоит терпеть.

Вот только как претерпеть восемь-то лет?

Тут, под слишком сильным давлением на все его нежнейшие чувства, в душе его пробуждается самый замечательный, достойный восхищения талант: он становится безудержно остроумен, остер на язык, горазд на самые неожиданные клички и выдумки. Остроты его гимназических лет, к несчастью, до нас не дошли: потеря значительная. Кое-какие прозвания, которые он сыпал пригоршнями, сохранились. К примеру, он обнаруживает, что надзиратель Платон Григорьевич Кожич, единственный порядочный человек, регент церковного хора, не имеет желаний ставить кого-нибудь на часы, лет шестьдесят, голова как яйцо, тихий брюнет, выбиты два передних резца, не имеет достойного прозвища, кроме Платоши, что, конечно, не в счет. Как это так? Безобразие! И он нарекает его Жеребцом.

Другой надзиратель без промедления становится Шпонькой. Вот он Гоголь-то, Гоголь-то где! Не успевает в Первой гимназии появиться новый директор Немолодышев, человек довольно угрюмого свойства, широкоплечий, кривоногий, похожий на тоскующего медведя, и Михаил тотчас бросает на его счет: Волкодав. Что же говорить о товарищах по несчастью? О товарищах по несчастью нечего даже и говорить. Прозвания вспыхивают и загораются, точно огни, и всего замечательней то, что их справедливость и точность не вызывает сомнений, прозвания приживаются, точно прирастают к лицу, на котором он ставит свой знак.

Необыкновенные перемены у всех на глазах происходят с тихим подростком, который ощутил в себе этот ни с чем не сравнимый талант. В его внимательных серых глазах загорается язвительная усмешка и какое-то вечное изумление перед тем, как странно выглядят люди, как странно устроена жизнь, и уже какой-то червяк заводится в нем и начинает точить его душу, неизвестно зачем.

Да и как при таких обстоятельствах не заводиться червям? Талант остроумия требует сосредоточенной, созерцательной жизни, благоприятной для наблюдения над разнообразием таких курьезов и казусов, каких и нарочно придумать нельзя. Михаил прямо-таки создан природой и воспитанием для такой тихой, скромной и, надо признать, негероической, необременительной жизни. Он и наблюдает, изумленный людьми, и так, возможно, и прожил бы неприметно все восемь лет в стороне от гимназических мелких, скучных и пошлых страстей, если бы не язык, о котором недаром же говорится, что это наш подлейший, предательский враг, да ещё и какой!

Кому понравится, чтобы его честное имя заменяли какими-то отвратительными, едва ли не позорными кличками: Шпонька, Волкодав, Жеребец? Не понравится никому. Однако от надзирателей, педагогов, тем более от директора имя автора этих порочащих кличек обыкновенно держится в тайне, таков школьного братства вечный закон, и с этой стороны остроумие не приносит никаких зловердных плодов. Разве что, смеясь умными, тоже озорными глазами, инспектор, он же историк, Бодянский посокрушается, отводя его в сторону ото всех:

– Ядовитый имеете глаз и вредный язык. Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном семействе. Это же надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора Волкодавом! Неприличия какие! Срам!

Иное дело прозвания, данные товарищам по несчастью, неуживчивым и задиристым юношам, которые так и ищут, за что бы подрасть или, в крайности, хоть затеять скандал. Эти прозвания бросаются прямо в глаза, как перчатка, и оскорбленный собрат без промедления в слепой ярости кидается на обидчика, не желая сносить поношения, что необходимо признать абсолютно резонным и достойным даже похвал.

Однако и у обидчика есть своя честь. Обнаруживается, что Михаил в высшей степени благороден и чуток, а его понимание чести и вовсе не сравнимо ни с чем. Эти бои по поводу удачно брошенных слов он воспринимает как рыцарские турниры и почитает своим святым долгом всякий раз ударом отвечать на удар. Выясняется, кроме того, что он дерзок, бесстрашен, силен, может быть, мамино тасканье песка тут-то именно и на пользу пошло.

По этой причине поединки нередко заканчиваются большими телесными повреждениями, уроном в одежде и несвоевременным появлением «Максим-с, холодна ли вода в Днепре-с?» Вы мне не верите? У вас на это есть полное право. Мне же, для доказательства, что передаю только правду, одну только самую чистую правду, остается сослаться на самого Михаила Булгакова, которому не верить нельзя, поскольку это святой человек. Итак:

«Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие. «Пушай, пушай, пушай, пушай, – бормотал он, – пушай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин директор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!» Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да ещё в радостный час приезда попечителя. У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена левая губа и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, ущемленном правою, не было пояса и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров. «Простите нас, милень-

кий Максим, дорогой», – молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах. «Ура! Волоки его, Макс Преподобный! – кричали сзади взволнованные гимназисты. – Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать...»»

И это не просто занимательный эпизод из всем нам милых гимназических лет. Он и сам не знает ещё, когда решается вставить в «Белую гвардию» это воспоминание, что картина с Максимом и толпой гимназистов имеет для него непреходящий и символический смысл. Всю жизнь он станет защищать свою независимость, свое священное право мыслить только самостоятельно и выражать это исключительно свое мнение в тех выражениях, в каких это мнение обозначается в нем. И вот всю его жизнь кто-то станет хватать и волоочь, и сзади станет волноваться толпа и вопить, чтобы его волокли, или в лучшем случае сопровождать это печальное шествие молчаливым, то есть предающим сочувствием.

Нечего после этого удивляться, что Первая гимназия не занимает ни первого, ни второго места в жизни сообразительного подростка. Ему несравненно больше Первой гимназии нравятся длинные зимние вечера у натопленной печки с книгой в руке, со многими книгами, вернее сказать, которые сменяют, не всегда заменив, счастливого «Саардамского плотника». В особенности же ему нравится лето, которое семья, как и многие интеллигентные семьи, неизменно проводит на собственной даче, построенной в Буче, ехать до Пущи-Водицы, последней остановки трамвая, а там почти тридцать верст на попутной крестьянской телеге или вовсе пешком.

Естественно, возникает вопрос, какого происхождения была эта самая дача, если большое семейство, продолжавшее рост, располагает всего-навсего жалованьем рядового доцента и цензора в скромном размере двух тысяч четырехсот рублей и никаких иных доходов не может иметь, поскольку отец уже и без того загружен трудами сверх меры, а мама, светлая королева, занята воспитанием и хозяйством, как и полагается всякой добропорядочной матери и жене.

Дело в том, что по случаю свадьбы Варвара Михайловна получает небольшое приданое от своего отца Михаила Васильевича Покровского, настоятеля собора в городишке Карачеве, расположенном в Орловской губернии. Приданое действительно невелико, так что супруги целых восемь лет разрешают труднейший вопрос, на какие неотложные нужды семьи с наибольшей пользой истратить эти печальные крохи. Наконец приходит благоразумнейшее решение: для обширной семьи в дачной местности строится дом из пяти комнат, окруженный двумя десятинами прекрасного леса, приобретенными, между прочим, в вечную собственность, которая продлится, как станет ясно позднее, не более семнадцати лет.

Дом получается одноэтажный, с двумя верандами, с большой кладовой. По обычаю сельских священников, всегда близких к земле, рядом с домом отводится огород, разбивается сад, с хорошими сортами яблонь и слив. К обеду из академии непременно приезжает отец, сбрасывает сюртук, облачается в косоворотку и с соломенной шляпой на голове отправляется первое время корчевать пни, а позднее исправлять все мужские работы в саду. Вокруг располагаются такие же скромные дачи доцентов, профессоров, с такими же обширными семьями, с детьми любого возраста и на любой вкус. Компания подбирается тесная, дружная. Веселье, чудачества, смех. Прекраснейший отдых для взрослых, особенно для детей.

Глава пятая

Предвестье

Впрочем, было бы неправдой сказать, что книги зимой и развлечения летом на даче составляют всю его духовную жизнь. Уже червь в душе завелся и точит, точит его. Если при этом сказать, что ещё заводится и театральная страсть, то это значит ничего не сказать. Сам по себе театр ничего особенного не представляет в этой интеллигентной семье и в других семьях, дружески расположенных к ней. Афанасий Иванович и Варвара Михайловна время от времени посещают премьеры. В доме подрастают братья и сестры, по несколько лет живут двоюродные братья и двоюродная сестра Илария Михайловна, в просторечии Лиля, и все они тоже любят и тоже посещают театр. Однако ни в ком из них страсти особенной нет, ни в ком червь не сидит и не требует, ненасытный, пищи себе.

Червь сидит и заводится страсть лишь в одном старшем сыне. Этот сын, ни с того ни с сего, принимается устраивать в доме любительские спектакли, сочиняет для них самодельные пьесы и самолично разыгрывает в них, что естественно, главные роли. Известно, что одной из первых из-под неопытного пера внезапного драматурга выходит детская сказочка «Царевна Горошина», часть которой бережно сохранилась в архиве семьи, переписанная явно детской рукой, возможно, рукой сестры драматурга Надежды.

«Царевна Горошина» ставится в сезон 1903-1904 года на квартире друзей семьи Сынгаевских, причем спектакль дается благотворительный, в пользу старушек из богадельного дома. Режиссура принадлежит Варваре Михайловне. Сам драматург, дерзкий, склонный к верховодству подросток двенадцати лет, играет в сказочке своего сочинения сразу две роли: Лешего и Атамана разбойников. Позднее сестра Надя, возможно, переписавшая сказку, кое-что вспомнит и засвидетельствует:

«Миша играет роль Лешего, играет с таким мастерством, что при его появлении на сцене зрители испытывают жуткое чувство...»

Я думаю, младшая сестра, которой ко времени постановки исполняется едва десять лет, может быть не совсем объективной, однако никакого сомнения нет, что очень рано, вместе с дарованием драматурга, пробуждает и актерский талант. Дурной знак! Обладателям одновременно двух таких дарований никогда счастливо не живется на свете!

Эти два дарования скверны особенно тем, что делают их невольного обладателя чересчур впечатлительным, чутким, легко возбудимым, а оттого ещё легче ранимым. К тому, он перевоплощается в каждого, кого видит, и хорошо, когда удастся на миг ощутить душевное состояние веселого, благополучного, счастливого человека, да не все же веселы, благополучны и счастливы, и когда душе внезапно раскрывается другая душа, полная мрака, боли, страдания, отчаянья, слез, тогда слезы наворачиваются у него на глаза, и душу, полную мрака, сотрясают чужие страдания. Жить становится нелегко.

В самом деле, представьте на миг, поздний вечер, топятся печи, шаркает подшитыми подошвами валенок истопник, в гостиной белым светом полыхают парадные спиртовые лампы, свет падает в детскую через полуоткрытую дверь. В этой гостиной, освещенной праздничным светом, папины и мамины знакомые гости. Папа в вист играет за раскрытым столом. Ласково, уютно, тепло. Подросток склоняется над романом Купера или Майн Рида и, уже воплотившись в индейца из племени могикан, бесшумно ступает под густыми кронами могучих деревьев. Вдруг смех в гостиной будит его. Одним духом возвращается он в действительный мир, и невольный вопрос обжигает его: неужели и он, когда вырастет взрослым, украсится перьями, наденет настоящие мокасины, станет в вист играть с вождем краснокожих или как ни в чем не бывало поедет в театр? Каково с такими вопросами жить?

А действительный мир уже подкрадывается к нему с другой стороны. Погромыхивает, погромыхивает там, вдалеке, за зеленым валом лесов, в Петербурге, в Москве и ещё дальше, в неведомых доселе краях. И готовятся, готовятся не такие простые запросы. Там, за зеленым валом лесов, постреливают из револьверов, бомбы швыряют, рвут в клочки генерал-губернаторов и даже министров. Ему идет всего-навсего тринадцатый год, когда разражается непонятная, даже загадочная война на Дальнем Востоке, на которую вдруг уходит Иван Павлович Воскресенский, врач, друг семьи. Кому нужна эта война? Из-за чего ведется она? Решительно никто не знает вокруг, а уж Порт-Артур осажден, и расплзается невероятная весть о страшной гибели знаменитого адмирала Макарова, и неудачи, одни, одни неудачи преследуют нашу славную русскую армию, которую мы чуть не с пеленок начинаем видеть непобедимой. Бородино! Бородино! И пал Берлин! И пал Париж! А Иван-то Павлович что? Упаси Бог от беды!

Правда, погромыхивает чересчур далеко, кровопролитные сражения ещё дальше идут, где-то уж и вовсе у крайней черты, и до мирного города Киева возня с японцами докатывается главным образом письмами с фронта, статьями газет и горьким вальсом «На сопках Манчжурии», который каждый вечер на освещенном электрическими огнями катке исполняет по нескольку раз медный военный оркестр, точно публично оплакивает уходящую славу России. Для чего льется русская кровь в тех неизвестных краях? Для чего эта горечь и грусть? Как отыскать разумный ответ, когда тебе идет всего тринадцатый год? Отыскать разумный ответ невозможно никак и в более зрелые лета, и тем беспросветней в душе эта горечь, эта шемящая грусть.

Спустя год, в одно морозное воскресное утро, когда туманная дымка окутывает золоченый купол Софии, там, за валом укрытых снегом лесов, в Петербурге, перед зимним дворцом, солдаты в серых шинелях стреляют свинцовыми пулями в мирных людей, пришедших поклониться царю и просить царской милости к ним. Пожар занимается, революция катится по стране, идут забастовки, возникают Советы. Уже в феврале в коридорах Первой гимназии появляются прокламации:

«Товарищи! Рабочие требуют себе куска хлеба насущного, а мы будем, следуя им, требовать хлеба духовного. Будем требовать назначения преподавателей по призванию, а не ремесленников...»

Какого им хлеба духовного? Разве нет у них «Саардамского плотника»? Какие преподаватели? Какое призвание? Какая-то чепуха! Но бастуют рабочие заводов и типографий, бастуют служащие, бастуют даже аптекари, которым, казалось бы, не положено и стыд бастовать. А уж и нет никакого стыда! В течение недели отказывается работать управление железных дорог. Возле четырехэтажного здания этого управления, занятого рабочими, толпятся студенты в черных тужурках, так что по Театральной улице, ведущей в гимназию, невозможно пройти. Полиция силой разгоняет толпу, а толпа собирается вновь, волнуется, движется и о чем-то кричит.

Впрочем, летом в город приходит успокоение, вместе с зеленью и теплом. Студенты в форменных черных тужурках разъезжаются на каникулы, которые, как оказалось, любят больше, чем забастовки. Обнажается очень неприятная истина, что не столько рабочие, сколько студенты вселяют беспокойство в умы. Молодые люди ещё, а вот ты гляди!

По своему обыкновению, Булгаковы выезжают на дачу, теперь по железной дороге, управление, слава Богу, уже не бастует. Железной дороги хватает до станции Ворзель, а там пешим порядком всего две версты. Однако в то горячее лето отдых едва ли удастся на славу, как прежде удавалось всегда, с веселым гамом и шумом целой толпы непостижимо быстро растущих детей. Всё лето в окрестностях дымными факелами пылают усадьбы, что ещё как-то можно понять, все-таки в усадьбах паразиты живут, землей владеют, а не пахут земли, да вот вместе с усадьбами на корню пылают золотые хлеба, что уже окончательно невозможно понять. Хлеб ведь! Хлеб! Для русского человека важнейшая, самая главная вещь!

Осенью приходится возвращаться, а лучше бы на даче сидеть. Студенты в черных тужурках, видимо, прекрасно отдохнувшие летом, даже не приступают к исполнению своих непрерывных обязанностей, то есть к учебным занятиям, которые, между прочим, по доброй воле приняли на себя, в университет их силой никто не ташил. В актовом зале, набитом битком, не прекращаются митинги, на которые приходят также рабочие, которым положено стоять у станка. Десятитысячная толпа почти не отходит от прекрасного здания на замечательной Владимирской улице. Черными птицами летят всевозможные слухи, один тревожней и поганей другого. Гимназисты, вы только подумайте, гимназисты бьют стекла, швыряют чернильницы, баррикадируются в классах и не впускают на уроки учителей: вишь ты, у учителей-то, оказывается, никакого призвания нет! Выбирают какой-то совет, назначение которого не может никто угадать. Устраивают собрания на частных квартирах, во время собраний много курят, валяются по диванам и произносят страстные, фантастические и абсолютно неопределенные по содержанию речи. Эх, эх, верно их там, в гимназиях, мало секут!

А уж громы гремят беспрестанно. В осеннем месяце октябре, когда зарядили дожди, начинается всероссийская стачка. К стачке в мгновение ока присоединяются железнодорожники города Киева. На этот раз мрачное здание управления на Театральной улице успевают закрыть. Железнодорожники свои митинги переносят. Куда бы вы думали? В университет! В течение нескольких дней в актовом зале опять гремят и ахают по углам горячие речи, время от времени поднимается крик, раздаются призывы: «Долой самодержавие! Да здравствует Учредительное собрание!» и снова кого-то долой!

И гимназисты туда же. Гимназисты принимают постановление о незамедлительном распространении забастовки на все средние и низшие учебные заведения. Несколько недель в Первой гимназии царит полнейшее безначалие, которое неминуемо превращается в хаос. Прекращает занятия духовная академия, её облаченные в черные до пят одеяния слушатели требуют автономии, права выбирать деканов и ректора. Среди профессоров тоже распространяется смута, носятся зловещие мысли о том, чтобы устав академии изменить, добиться независимости от местных духовных властей и даже о том, чтобы ректором академии могло быть избрано лицо светское, а не духовное, из числа профессоров академии. В ответ на эти богопротивные демократические проекты Синод велит отстучать телеграмму: «Синод постановил студентов если к первому ноября не начнут занятий распустить и академию закрыть до будущего учебного года». Закрываются без телеграмм от Синода заводы и фабрики, останавливаются трамваи, запираются на замок магазины, не работает почта, телеграф, электростанция, водопровод, даже пекарня. В город Киев, омытый дождями, вводят войска, объявляется военное положение, а это уж прекращение жизни, вы мне поверьте, при военном положении каждому гражданину просто труба.

Наконец, под воздействием этих неопределенных по смыслу, однако бурных событий выходит манифест Семнадцатого октября: великой России даруется конституция, Дума, свобода, что-то ещё! Да, да, представьте, в России свобода! В России свобода! Пределам восторга и радости нет. Инспектор, он же историк, Бодянский обходит беспокойные классы Первой гимназии в новом форменном сюртуке и в каждом из них говорит приблизительно одни и те же слова, поблескивая при этом глазами:

– По случаю высочайшего Манифеста и дарования народу гражданских свобод занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Однако настоятельно советую не путаться в эти дни под ногами у взрослых. Недалеко до беды-с! Так-с!

Благодарные гимназисты неистово орущими толпами вылетают на улицу. Перед университетом напротив переливается и волнуется бесчисленная толпа, украшенная красными флагами. Демонстрация! Она направляется на Думскую площадь. В голове колонны грохочет оркестр. Над толпой взвывается бодрый хор тяжелых мужских голосов:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!

Все лица в колонне вдохновенны и радостны. Колонна медленно удаляется, извиваясь черной змеей, колыхаясь и вдруг останавливаясь. Так же вдруг, неожиданно для демонстрантов и глазующих зрителей, там, на Думской площади, раздаётся сухой, непривычный, но тотчас понятный треск: войска стреляют в толпу. России дана свобода, дана свобода царем, и свобода выходит по-русски. То есть университет закрывают, арестовывают всех подозрительных, солдаты в серых шинелях грабят и подвергают аресту тех, кто имеет смелость препятствовать ограблению.

В декабре вновь начинается забастовка. Первая гимназия, лучшая в городе Киеве, присоединяется к ней. Вы только подумайте, сопляки, мальчишки, и эти туда! Знать пришли последние времена! И очень может быть, что последние: батальон саперов отказывается повиноваться властям и под гром военного оркестра переходит на сторону прекративших работу рабочих. Ну, понятное дело, батальон окружают, происходит сражение на улицах города Киева, краткое, однако кровопролитное, с убитыми, ранеными, даже и с пленными. И снова аресты, аресты, приговоры военно-полевого суда, этапы, ссылки, тюрьма.

События ошеломляют и переклещивают злополучный 1905 год, перекатываются неровно и нервно в 1906 и в 1907, принимая всё более драматический, всё более ожесточенный и кровавый характер, когда в непримиримом противоборстве, ещё в первый раз, сталкиваются лоб в лоб две непримиримые, но неравные силы. С одной стороны, ни к чему не готовые кучки униженных и оскорбленных рабочих. Ещё менее к чему-либо готовые кучки абсолютно тут лишних студентов. Решительно ни к чему, кроме бессмысленного поджога усадеб и грабежа, не готовые кучки крестьян. Отдельные вездесущие агитаторы, которых на всю Россию едва ли наберется несколько сот и прекрасно организованные боевики социалистов, революционеров, тоже едва ли более нескольких сот. С другой стороны, хорошо организованная полиция и прекрасно оснащенная армия, и эту полицию, эту армию направляет сам царь, подписавший манифест о свободе.

Боевики с нарастающей дерзостью экспроприируют ценности и стреляют в генерал-губернаторов и членов правительства, а заодно и в безоружных прохожих, случайно попавших под бомбы и пули. В 1906 году совершается 4742 покушения, в которых погибает 1378 частных и должностных лиц и 1679 получают ранения разной степени тяжести. В 1907 году совершается уже 12102 покушения, в которых погибает 2999 частных и должностных лиц и 3018 получают ранения, тоже разной степени тяжести. В 1908 году совершается 9424 покушения, в которых погибает 1714 частных и должностных лиц и 1955 получают всё те же ранения разной степени тяжести. Всего за три года происходит 26269 покушений, погибает 6091 человек, получают ранения более 6000, экспроприируется более пяти миллионов рублей. Правительство, во главе которого царь, давший свободу, ставит Столыпина, с нарастающей жестокостью силится восстановить им же нарушенный порядок в стране. Повсюду создаются военно-полевые суды, пресловутые тройки, которые руководствуются, вместо закона, единственно мало благородным чувством мести и ещё менее почтенным чувством страха. Приговоры выносятся и приводятся в исполнение в двадцать четыре часа, обжалованию, само собой разумеется, не подлежат. Расстреливают или вешают группами от десяти до двадцати человек. Ох, и отзовутся ещё эти пресловутые трючки, ох, отзовутся! И умоется, умоется кровью Россия!

Жестокости и насилий нельзя не заметить, нельзя проспаться, нельзя просидеть у отлично протопленной печки за любимыми «Мертвыми душами», ну, совершенно, абсолютно нельзя! Воображение читателя уже привычно, я полагаю, рисует подростка, почти уже юношу. Подросток, почти уже юноша, конечно, подхвачен воющим смерчем невообразимых событий, с голо-

вой окунается в революционную агитацию или, напротив вступает в черную сотню. Ничего не может быть удивительного, если этот подросток, почти уже юноша, конспирирует с самодельной бомбой в кармане шинели, с браунингом в руке, подносит повстанцам патроны или вместе с озверелыми братьями по черной сотне, за царя и отечество, бросается в еврейский погром.

Не спешите, однако, читатель! В действительности всё происходит совершенно не так. Воюющие смерчи противны подростку Булгакову, абсолютно отвратительны для него, противны и отвратительны по многим причинам. Воюющие смерчи грубо и нагло выталкивают его из безмятежности и покоя, естественно присущих ему. Так же естественно ему чуждо насилие. Жесткость и кровь ужасают его, заставляют страдать. В его светлой душе глубоки и неискоренимы семейные традиции широкого гуманизма. Его и в самом задиристом возрасте не убеждает сомнительная идея пролития крови, на которой будто бы самым пышным цветом произрастают такие прекрасные цветы, как свобода и справедливость. Юноше, влюбленному в «Мертвые души», все эти крики и митинги кажутся слишком грубыми, слишком наивными, даже смешными: «долой!», «да здравствует!», «отречемся от старого мира», и безоружной толпой вперед на штыки! Он слишком домашний, слишком интеллигентный, слишком воспитанный человек, чтобы смешаться с возбужденной толпой и куда-то шествовать в её тесноте, непременно отрекаясь от старого мира, в котором «Саардамский плотник» и «Мертвые души», да они ли одни?

И он не принимает, не смешивается, не шествует, не отрекается, не мечется с самодельной бомбой в кармане шинели и не орет диким воем в еврейском погроме. Он не замешивается в безобразия и хаос Первой гимназии, не швыряет чернильниц черт знает зачем, не ходит на митинги, не посещает собраний, где много курят, валяются по диванам и кричат до потери сознания, тоже черт знает о чем.

Он размышляет. Позднее, когда из-под пера его выйдет первая трехактная драма, в которой выведутся на сцену эти буйные смерчи, в ней что-то скажется о «разъяренных Митьках и Ваньках», впрочем, кто и по какому поводу эту неприятную фразу произнесет, останется навсегда неизвестным, поскольку та драма собственноручно, по загадочной традиции великих русских писателей, уничтожится им.

Эти размышления затаиваются глубоко и занимают несколько лет, приняв главным образом отвлеченный, гуманитарный характер, в связи с тем, что ни о действительной жизни великой России, ни тем более о «Митьках и Ваньках» юноша не знает решительно ничего.

Впрочем, спешить светлому юноше некуда, вся жизнь у него впереди. К тому же его отвлекают от размышлений семейные происшествия и несчастья, которые в его возрасте нередко воздействуют на сознание намного сильнее мировых.

Глава шестая

Без отца

Семья наконец перебирается на прекрасный Андреевский спуск в замечательный дом, правда, имеющий номер 13. Согласитесь, фатальное, загадочное число! Она поселяется в доме, полюбившемся сразу и оставшемся светлым в благодарной памяти на целую жизнь. Недаром, поверьте, недаром он описан нашим бесподобным героем в его бессмертных творениях с удивительной нежностью несколько раз.

В самом деле, этот замечательный дом словно прилепливается к горе, так что окна, глядящие в крохотный покатый уютнейший дворик, оказываются в первом этаже, тогда как окна той же квартиры, глядящие на улицу и вместе с тем вниз на Подол, уже во втором. Комнатки небольшие, но славные, места хоть и в обрез, однако достаточно всем, живется приятно, и понемногу утверждается опасная мысль, что так беспечно и славно проживется вся долгая жизнь, а там греми выстрелы и вой диким ревом погром. Даже заводятся новые, очень домашние, идиллические привычки: от пышущих жаром, разрисованных изразцов Михаил понемногу перебирается в кресло, устраивается в нем непременно с ногами, раскрывается, о нет, не бульварный роман, а несравненные «Записки пиквикского клуба» английского писателя Диккенса, это в счастливые, безмятежные дни. В этом кресле, удобном, уютном, он то наслаждается неторопливым, вдумчивым чтением своим свежим юмором прекрасных страниц, то сладостно дремлет, в ожидании вечернего чая, звуков Шопена, боя часов и чего-то ещё, для выраженья и названья чего не находится слов.

Хорошо! Замечательно хорошо! Ничего лучшего не бывает на свете, клянусь!

Однако на пороге этого дома уже караулит беда. Весной Афанасий Иванович начинает чувствовать недомогание, неясное и потому подозрительное. Человек выдержанный, стойкий, с прочным чувством христианской готовности ко всему, он своему недомоганию не придает никакого значения и твердо надеется, что летом на даче, Бог даст, хорошо отдохнет и всю усталость снимет рукой.

Семья в самом деле выезжает на дачу. Афанасий Иванович отдыхает, почти совершенно отойдя от летних неторопливых трудов, а недомогание, несмотря на эти благоразумные меры, понемногу усиливается, и к началу учебного года вдруг теряется зрение, ослабляется весь организм. Лечащий врач и друг дома устанавливает сложное заболевание почек, назначает лечение, которое не приносит и не может принести никаких результатов. Афанасий Иванович обращается к знаменитостям киевским, потом и к московским. Усилия знаменитостей тоже не увенчиваются и не могут увенчаться ни малейшим успехом. Болезнь прогрессирует. Медицина, что называется, против этой болезни бессильна. Все видят, что человек, не старый ещё, умирает.

Отца и мужа семья окружает заботами. В академии коллеги хлопочут как можно скорей устроить его денежные дела, чтобы большой интеллигентной семье было чем жить, когда единственный кормилец навсегда покинет её. В первой половине декабря 1906 года ученый совет удостоивает Афанасия Ивановича Булгакова степени доктора богословия и ходатайствует о присвоении звания ординарного профессора перед Синодом. Тут же назначается денежная премия за его богословский труд, несмотря даже на то, что этот труд не был представлен на конкурс: задним числом за больного делают это друзья. Друзья же, едва в академии получается бумага Синода, утверждают его ординарным профессором, удовлетворяют его прошение об отставке с полным окладом содержания, который причитается ординарному профессору за тридцатилетнюю безупречную службу, хотя больной прослужил всего-навсего двадцать два года.

На другой уже день Афанасий Иванович приобщается святых тайн, а три дня спустя около десяти часов утра отходит в вечность с миром в душе. В тот же день духовенство акаде-

мии служит панихиду у гроба покойного. Затем гроб с телом переносят в церковь Братского монастыря, где происходит отпевание и погребение. Один из сослуживцев говорит надгробную речь, восстанавливая в памяти последние дни:

– Беседовали мы с тобой о разных явлениях современной жизни. Взор твой был такой ясный, спокойный и в то же время такой глубокий, как бы испытующий. «Как хорошо было бы, – говорил ты, – если бы всё было мирно! Как хорошо было бы!.. Нужно всячески содействовать миру!..» И ныне Господь послал тебе полный мир... «Отпусти», – вот последнее твое предсмертное слово своей горячо любящей тебя и горячо любимой супруге. «Отпусти...» И ты отошел с миром! Ты мог сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром»...

Отец Александр, добрый и мягкий, друг семьи, от смущения и неподдельной печали спотыкается в колеблющемся свете погребальных огней. Дьякон, от натуги лиловый лицом и шеей, рокошет слова прощания отцу, покидающему своих несчастных детей.

Всё, зарыли, зарыли отца...

И когда возвращаются с кладбища, облаченные в траурные одежды, бабушка Анфиса Ивановна говорит:

– Ты, Миша, смотри, взрослый уже, пора тебе звать маму на «вы».

Ему ещё целых два года учиться в гимназии, однако он хорошо понимает важный смысл этих простых слов старой женщины и с той поры обращается к маме, светлой королеве, только на «вы».

Как видите, он действительно становится взрослым, но вы спросите себя, легко ли становится взрослым, когда тебе не исполнилось шестнадцати лет. Вы ответите, без сомнения, если положите руку на сердце, что нелегко, и будете правы.

Первым следствием смерти отца не может не явиться чувство сиротства и начинающейся ответственности перед мамой, перед семьей и перед собой, а от этого чувства быстро взрослеют. Второе следствие ещё неминуемей: хотя стараниями друзей семье определяется трехтысячный пенсион, сумма даже несколько большая, чем при жизни удавалось упорным трудом заработать отцу, её все-таки недостает на самые насущные нужды, поскольку дети неудержимо растут и требуют значительно больших расходов на свое содержание, чем было прежде. И вот опустевшее место отца принуждена занять мама, светлая королева, в далекой юности прослужившая около года в женской гимназии. А как это сделать? Её хлопоты и заботы о воспитании детей прибавляются день ото дня, поскольку малые дети спать не дают, а от взрослых сама не уснешь, к тому же неприметно невестами становятся дочери, а это особенная и мученическая статья.

На помощь приходит священник, друг дома, отец Александр, предложивший давать уроки своему малолетнему сыну, и зимними днями, в морозы и в непогоду, мальчика на санках доставляют на Андреевский спуск. Натурально, это гроши, которые не способны серьезно улучшить финансовую базу семьи. Маме, светлой королеве, приходится искать заработков на стороне, и она их находит, не совсем надежные, временные, сначала место инспектрисы на вечерних женских общеобразовательных курсах, а позднее мы обнаруживаем её в должности казначея Фребелевского общества, что тоже не избавляет семью от нужды. И приходится со стесненным сердцем, с униженной головой два раза в год отправляться в канцелярию директора Первой гимназии, Волкодава, и писать заявление поникшей рукой:

«– Оставшись вдовой с семьей малолетними детьми и находясь в тяжелом материальном положении, покорнейше прошу ваше превосходительство освободить от платы за право учения сына моего...», и далее проставлять имена: Михаила, Николая, Ивана.

В канцелярии директора Первой гимназии таких заявлений целые кипы, дети Булгаковы не исключение, не одиночки ни в бедности, ни в унижении, поскольку такого рода прошения всегда унижительны для благородных людей. Русская интеллигенция не избалована заботами

ни государства, ни общества, ни благодетелей из прижимистых благодетелей из заводчиков и купцов, поскольку ни государство, ни общество, ни благодетели всё ещё не испытывают насущной потребности в плодах её возвышенного, сплошь и рядом им не понятного умственного труда. Жалование русского интеллигентного человека подло-ничтожно. Дети русского интеллигентного человека испокон веку учатся на медные деньги, на казенный кошт большей частью, словно бы в получении основательных знаний заинтересованы они лишь одни, а всем прочим обывателям государства Российского никакого дела до этого нет. Умственный пролетариат! Наименование чрезвычайно уместное, оттого, что справедливо не только назад, но и, к несчастью, намного, намного десятилетий вперед, Дмитрий Иванович Писарев верно этот российский подлый закон угадал.

По этой причине не может быть ничего удивительного, что среди освобожденных от платы за право учения множество самых близких знакомых и друзей Михаила, которых несносная нужда ещё прежде него заставляет протягивать руку за подаванием. Положение слишком вседневное, однако я думаю, что все согласятся со мной, что одно дело, когда с протянутой рукой оказываются знакомые и друзья, и совершенно иное, когда с протянутой рукой приходится жить самому.

Унижение не только прибавляет светлому юноше лет. Иными глазами глядит он отныне на этот странно устроенный мир. Испытующими. Серьезными. Ставит вопросы ужасные. Ответов ищет бескомпромиссных, безжалостных, каких не бывает на свете. Юности только одна истина в последней инстанции, только голая правда нужна.

Прежде он видел одно только чистое небо и солнце, слышал грохот и шум только в гимназии и отдаленные громы за валом зеленых лесов, ежедневной встречал смеющихся гимназисток в зеленых передниках, открытые безмятежные лица на тенистых бульварах, на извилистых улицах города Киева, за столиками открытых кафе, выставленными прямо на тротуар. Теперь лица значительно чаще попадаются замкнутые, лица угрюмые, долетают до слуха стоны жалоб на паскудную жизнь, голоса, именующие действительность серой и грязной, презрение к жизни, голый цинизм. На свет божий из разных укромных и тихих углов выползают осторожные обыватели, да не какие-нибудь заурядные, неприметные, стертые, а особенные, ядреные, киевские. Антон Павлович Чехов именно их поминает в своей блистательной «Чайке». Современник и очевидец повествует о них:

««Киевский мещанин» был совершенно особенным типом обывателя – чем-то средним между чинным и глуповатым польским шляхтичем и Епиходовым. Из гущи этой отталкивающей общественной прослойки выходили и изуверы и черносотенцы. Их крепостью была Киево-Печерская лавра, а трибуной – визгливые монархические газеты, издававшиеся Шульгиным и Пихно...»

Обитатели! Обитатели! Николай Васильевич, человек проницательнейший, провидец, превосходное слово нашел!

Он вглядывается в эти испуганные, капризные, нахальные лица и не обнаруживает в них ничего симпатичного, по правде сказать, испытывает к ним омерзение, неизбежное в душе благородного человека. Недостойные, скверные лица! Санина обожают, смакуют рассказы Каменского, кекуок танцуют вместо миньона, мистика, бесчестье, разврат, разумеется мелкий, и, разумеется, по возможности тайный, ещё не решившийся, но уже готовый во вей своей гадости выйти наружу.

Обитатели всюду, они рядом с ним. Классы Первой гимназии состоят из двух отделений. В первое отделение помещаются одни отпрыски дворянских и генеральских фамилий, а также крупных чиновников и больших финансовых воротил. Второе предназначается, вроде как пасынкам, детям интеллигентных родителей, разночинцам, полякам, евреям, с которым сидельцы первого отделения рядом даже сидеть не хотят. Немудрено, что вторые именуют первых оболтусами, именуют по праву, кстати сказать, поскольку оболтусы не желают учиться и

не учились бы никогда, если бы в гимназию оболтусов не прогнали отцы, обыкновенно наделенные тяжелой и язвительной дланью.

И вот обнаруживается, что Миша Булгаков, светлый юноша, до глубины души презирает оболтусов, прямо-таки равнодушно на них не способен глядеть. С некоторого времени оболтусы становятся первейшим предметом его изысканных издевательств, то и дело извлекая из памяти старых знакомых, он не может не увидеть воочию, что вот этот Собакевич, этот Ноздрев, а вот незабвенный Павел Иванович, а вот Хлестаков. Мерзость какая! И уже не Букреев, Букашка-терешка-орешка, не Сынгаевский, не Боря Богданов, а несносное племя оболтусов то и дело попадает ему на язык. Он преподносит им такие ядовитые прозвища, что дурные оболтусы могут только беситься. Он осыпает их сотнями утонченных эпитетов, к которым ни с какой стороны придраться нельзя, от которых однако в лицо бросается кровь и сами собой в невыразимом бессилии сжимаются кулаки.

Его остроумие тоже взрослеет, как видим. Приходит конец крикливым мальчишеским дракам, рассеченным губам, разбитым носам и железным пальцам Максима, волокущего драчунов, будто бы единственно для того, чтобы доставить Бодянскому удовольствие. Он затихает, в стенах гимназии его почти не видать, не слышать. Его успехи в официальных науках посредственны, но он почтителен, вежлив, воспитан, и наставники готовы о нем позабыть, как вдруг этот гимназист с внимательным взглядом светлых сосредоточенных глаз роняет с виду безобидное замечание или внезапно ставит в упор точно молнией сверкнувший вопрос, от которого у наставников глаза лезут на лоб. Наставникам приходится отвечать, но отвечают ему лица глухие, глядят на него непроницательные глаза. После его вопросов и замечаний наставники всё чаще поглядывают на него с подозрением. Наставников не покидает беспокойная мысль, что этот воспитанный юноша только притворяется тихим, а на самом-то деле непременно выкинет какую-нибудь умопомрачительную, совершенно невозможную штуку, от которой Первая гимназия непременно провалится в тартарары. Он же сидит за партой с совершенно невиннейшим видом, позабывши напрочь о них, сосредоточенно размышляя о чем-то своем. Но наставники ждут! Наставники ждут, убежденные в том, что в этом сдержанном молодом человеке, как в тихом омуте, сидит страшный, не подвластный им бес. Он замечает их удивленное ожидание и в свою очередь смотрит на них, от любопытства синяя глазами. Глубоко ли его любопытство? Удивляют ли его самого эти настороженные взгляды? Не берусь утверждать, однако предполагаю, что он не может не знать, как резко и глубоко переменился он сам со дня кончины отца, что в каждом его, даже вполне незначительном, слове отныне звучит определенность и сила, что время от времени стремительная живость загорается у него на лице, что язык его делает вдруг беспощаден и остр, как булат, что вся гимназия отныне страшится его иронически-невозмутимых насмешек, которыми он ограждает свою независимость, что сам стремительный Субоч трепещет с некоторых пор перед ним.

И наставники правы в своих подозрениях. Раз в год, ранней осенью, когда город Киев окрашивается в багряные и золотые цвета увядающих бульваров и парков, он преображается и становится тем, что он есть. Каждую осень презренных оболтусов бьют всем вторым отделением. Инспектор, он же историк, Бодянский принимает самые строгие меры, однако день возмездия приближается неотвратимо. Внезапно во всех коридорах и классах Первой гимназии застывает зловещая тишина. Коридоры пустеют мгновенно. Все гимназисты устремляются в знаменитый громадный гимназический парк, и тотчас между деревьями раздается глухой грозный рев. В порядке подготовки к сражению в облаке поднятой пыли свистят картечью каштаны. Затем ряды надвигаются один на другой, каждый подобен стене. В воздух взмывают обнаженные кулаки, и всё сущее сбивается в страшную кучу, слышатся визги, удары, треск сломанных веток, топот не уступающих ног. И всегда его видят в первых рядах, светловолосого рыцаря чести, справедливости и добра, с задорно вздернутым носом, высокий, длиннорукий, бесстрашный, худой. Он врзается в самое опасное место, и смятенные противники поверга-

ются в прах, теряясь перед его дерзостью, хладнокровием и бешенством натиска. Они пытаются уклониться от его разящих ударов. Ряды их колеблются, распадаются, подаются назад. Далее слово берет очевидец:

«Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский...»

И он рвется напролом сквозь ряды бесчестных оболтусов, смывая с себя эту первую, но далеко не последнюю клевету. И победа несется на своих распластанных крыльях следом за ним. И ликующий клик, испущенный вторым отделением, наконец до краев наполняет гремящие коридоры Первой гимназии, когда на плечах побежденных оболтусов победители врываються в них. И каждый раз он летит впереди, так рано познавший великое счастье победы. И дивится в мирные дни, отчего его, такого тихого мальчишка, не любит всем сердцем и даже страшится начальство.

В самом деле, большая часть его внутренней жизни абсолютно скрыта от всех.

Глава седьмая В школе Толстого

После того, что рассказано, я думаю, трудно поверить, однако это действительно так: почти все свободные вечера проводит он дома, уединенно, за книгой. От белых кафелей струится любимое с детства тепло. Несметные сокровища духа тесным строем окружают его, заключенные за стеклами шкафов, от всех четырех сторон глядят на него своими задумчивыми глазами, то зелеными, то красными, то черными, желтыми, нередко с дорогими золотыми обрезами. Подолгу бродит он между ними, то присаживаясь на корточки, то поднимаясь по раздвинутой лесенке вверх. Среди этих сокровищ он ищет мудрых наставников, вернейших друзей, ищет смысл жизни, ищет великое сердце, взлеты пророческой мысли, великой мечты. Его чувствам и мыслям необходимо нужно определенное, точное имя и зримый, как на металле выбитый образ. И тот, кто удовлетворит в нем эту потребность, сжигающую его, тот, кто назовет это имя и вылепит образ, тот будет принят в спутники жизни надолго, может быть, навсегда.

Итак, он ищет среди этих сокровищ, бережно собранных почившим отцом. Он взыскует ни много, ни мало, как руководителя его скрытой, духовной, внутренней жизни. Он перелистывает толстые книжки «Русского вестника». Фантазии Гофмана его приводят в восторг. Он восхищается точной, сжатой, рубленой прозой, которой блистает несравненный Влас Дорошевич, признанный король фельетона, и сам потихоньку подражает ему. Но уже меняются незримые ткани души, в эти ткани вплетаются новые нити. Он требователен. Он оценивает слишком серьезно. Он выбирает. Он делает выбор.

Выбор замечательный и, как выяснилось впоследствии, на целую жизнь. Ироничный, мягкий, застенчивый, любящий Гоголь и грубый, пылающий злобой, ожесточенный Щедрин! Два самых крайних полюса великой русской литературы! Гуманизм, всепрощение, снисходительность, моральный призыв заглянуть поглубже в себя и в себе самом найти человека. Гуманизм, раздражение, скрежет зубовой, жажда разрушить, стереть в порошок, смести с лица земли всю глубоко ненавистную родимую нечисть, до десятого колена её истребить и вколотить осиновый кол на её бездыханной могиле. Противоположности, крайности, извечный спор между ними, и к этим двум полюсам с одинаковой силой тянется, рвется его молодая душа. С одинаковой? Да. Может быть, не совсем с одинаковой. Едва уловимо, с течением времени всё сильнее и сильнее влечет его к миролюбивому гению Гоголя.

Гоголь, Гоголь! Николай Васильевич несравненный! Какая-то странная, фантастическая, блистательная мечта! Что за чуткая совесть, что за нежность тоскующей, страшно одинокой души! Какая щедрость, какое обилие неслыханной яркости красок! Какое могущество замыслов! Какая невероятность иссушающе-горькой судьбы! Судьбы завидной, неумолимо влекущей к себе, а как подумаешь трезво, так не дай нам Господь такую судьбу!

Он читает и перечитывает комические происшествия, застлавшие умные глаза городничего, соткавшие из ничтожества, из тумана, из мифа, из мухи с черными крыльями странный кумир. А «Мертвые души» с такой прочностью обосновываются в его жаждущей памяти, что остаются в ней навсегда, и какие-то словечки и черточки то и дело являются на его языке, и он не всегда в состоянии разобрать, Гоголь ли это сказал, сам ли он только что выдумал эту прекрасную, такую поразительно-остроумную вещь. Да и как тут разберешь? Его доводит до слез ослепительный лиризм отступлений. Он заходится в хохоте при одном звуке фантастических, абсолютно невероятных, убийственно-метких имен. Яичница! Боже мой! Кто тебя выдумал? Только истинный, истинный гений! Что же сказать о героях? Честное слово, нечего о героях сказать, его герои на каждом шагу встречаются в жизни, точно сначала вспыхнули в дерзкой фантазии неодолимого гения, воплотились, сошли со страниц бессмертной поэмы и вот при-

нялись самостоятельно жить, и этой удивительной жизни всё не видно конца. Дикость какая-то! Бред! Чудеса!

Собственно, Гоголь – это любовь, неотразимая, кружащая голову, спасительная, нерасторжимая. Да что ж говорить! Сколько слов ни скажи, всё равно словами, жемчужными даже, не выскажешь никакую любовь.

И навстречу этой святой пресветлой любви из пожаров и дымов эпохи вдруг выдвигается могучий Толстой, исполин, исполин, каких ещё свет не видал, не рождала земля. Зарезанный цензурным ножом, разодранный на клочки, ошельмованный, отлученный от церкви, а могучий, несмолкаемый голос гудит как набат:

«НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

Кто не читал ещё этой ни с чем не сравнимой статьи, тот не испытал настоящего, нестерпимо-жестокое потрясения. Спешите читать! Одна такая статья способна пробуждать поколения, даже способна разбудить мертвеца, чтобы уж не заснул никогда. Нечего говорить, что цензура, вопреки самим государем объявленной свободе печати, режет её, кромсает так, что трудно узнать, цензура у нас режет, кромсает, увечит всё, да что же с ней делать, ведь даже цензура не может не понимать, что это Толстой, великий, могучий Толстой, и пропускает хоть что-нибудь, то есть в данном случае пропускает клочки. Эти клочки подхватывают «Русские ведомости», «Слово», «Современное слово», «Речь» и пять-шесть других менее известных изданий и четвертого июля 1908 года разносят по стране, обомлевшей во мраке террора, на своих газетных листах. Не страшась передать честное слово Толстого, они решаются прямо на подвиг, а в России каждый подвиг свободного духа непременно ждет наказание от властей или прочих сограждан, которым подвиги свободного духа поперек горла встают, так что эти печатные органы все до одного оштрафованы, а один редактор арестован только за то, что приказал расклеить свой номер на стенах домов.

Кажется, на русском языке ещё никогда не достигалось такой простоты выражения мысли, как не достигала такой простоты и ясности самая мысль, и ещё не было сказано мысли о главнейшем ужасе века, который сотрясает Россию и с тех трагических необдуманных лет станет потрясать ещё целый век, и ещё не было более страстного крика души, взывающего к благоразумию, к совести всех, точно огненные письма проступают вдруг на стене: «Остановитесь! Мы все перед пропастью! Ещё один шаг – и разрушится мир!»

Пусть мои редакторы, эти ревнители сокращения всякого текста, скрежещут зубами, но я не могу не выписать здесь двух страниц:

«Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют ещё большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющиеся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь. И распространяется это развращение с необычайной быстротой.

Недавно ещё не могли найти во всем русском народе двух палачей. Ещё недавно, в 80-е годы, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.

В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей за повешенного, в корот-

кое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет по-прежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей за человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил.

Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал: «Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно». Не знаю, принято ли было или нет предложение, но знаю, что предложение было.

Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того, чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкими дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь, мучительство, убийство – считаются несчастными людьми, подвергающимися развращению правительством, делами самыми естественными, свойственными человеку.

Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения ещё ужаснее...»

Нравственное, духовное, невидимое зло! Могучей и властной рукой Лев Толстой обнажает его в этой рождающей ужас статье. И это нравственное, духовное, невидимое зло вдруг, в один день, в один час, является юноше, гимназисту, развернувшему, быть может, случайно, газету, выросшему в безмятежности и покое, с самым отвлеченным, самым книжным понятием о зле и добре, с мягким изнеженным сердцем, но нравственным глубоко, с чуткой совестью, с богатым, легко воспламеняемым воображением, с сильным и дерзким умом. Разве не испытывает такой юноша духовного потрясения невиданной силы? Испытывает духовное потрясение, и духовное потрясение страшное, какому уж никогда не изгладится, не пройти. Ужас проридрает его, а уж рождает растерянность. Что ждет нас, всех нас, впереди? Какая готовится России судьба? Что делать ему, почти ещё мальчику, семнадцати лет, до выпуска из гимназии больше чем год?

Нетрудно сообразить, что ответов у него нет и не может быть никаких. Ещё легче представить себе, как нужны ему такого рода ответы, с какой иссушающей жадностью ищет он их. И к кому обратиться за помощью? Из какого источника удовлетворить свою нестерпимую

жажду? Ещё легче сообразить, что юноша со всем жаром своего скорбящего, переполненного ужасом сердца бросается за нужным ответом к самому же Толстому, Льву Николаевичу, который отныне становится его учителем жизни. Тщательно, обдуманно, то и дело возвращаясь назад, он перечитывает всё, что было прежде прочитано и знакомо ему и что, к сожалению, читалось поспешно и, следовательно, слишком, слишком поверхностно, непростительно легко и бегом. Он достает и прочитывает, по возможности, всё, что вот уже двадцать лет издается из сочинений Толстого подпольно или за рубежом, на чужих языках.

Потрясение продолжается, и продолжается с нарастающей силой, точно молодой человек взбирается на Эверест и с этой снежной вершины видит весь мир. Что он видит прежде всего? Своим повзрослевшим, если не установившимся ещё окончательно, взглядом, который начинает уже устанавливаться, он различает, что перед ним художник всемирного мастерства, созидающий абсолютно законченные образы нигде никогда не встречаемой силы и глубины. Всё, решительно всё подвластно ему в равной мере: мужчины и женщины, солдаты и генералы, французы и русские, собаки и лошади, лес и трава, воды и звезды, жизнь человека и жизнь человечества. Для него непостижимого или запретного нет. Молодой человек точно стоит перед Богом, который владеет даром пророчества и волшебства, даром созидать нечто из ничего и даровать бессмертие созданному. Провел черту, другую, третью, поколдовал, отошел, и новая жизнь загорелась звездой, чтобы вечно светить с небосвода искусства, с небосвода души. Не писатель уже, но чародей.

Что же делает прежде всего молодой человек, озаренный этими новыми звездами? Со всем нерастраченным жаром юной души, со всей беспокойной потребностью кого-нибудь полюбить как можно скорей, лишь бы только любить всей душой, он влюбляется в Наташу Ростову. Отныне это его идеал: бойкая, живая, способная к пониманию, женственная, склонная к ошибкам и заблуждениям, но способная также выбираться на твердую почву, на правильный путь, преданная, склонная к самопожертвованию, одним словом, блистательная, как никакая другая, и единственное, о чем он мечтает в бессонные ночи или во время прогулок под сенью бульваров, это встретить точно такую, полюбить навсегда и не расставаться всю жизнь. Так в душе его от звезды, зажженной Толстым, вспыхивает собственная звезда, чтобы вести прямо, заводит черт знает куда, выводит на прямую дорогу и дарит, счастье страдания и страдание счастья.

Впрочем, на бескрайнем небосводе толстого это всего лишь одна небольшая звезда. Шаг за шагом молодой человек подбирается к другим его звездам. И вот наконец перед ним Млечный Путь: одним могучим усилием своей всепроникающей мысли Толстой вводит его в подземелья истории, туда, где незримо таятся и неслышно вращаются её механизмы, именно то, что он уже начал сам на ощупь и робко искать, в недоумении, после Митек и Ванек, озираясь по сторонам.

Уже в который раз открывает он единственную в мировой истории книгу, том третий, часть первая, цифра 1, и в который раз перечитывает краткое сообщение, интонацией и деловитостью походящее на заметку во вчерашней газете:

«С конца 1811 года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей, считая тех, которые перевозили и кормили армию, двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811 года стягивались силы России. Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершили друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделки и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов, убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершающие их, не смотрели как на преступление...»

Я вижу, как он выпрямляется и долго сидит неподвижно. Глубокое раздумье у него на лице. В каком направлении движутся его мысли, довольно легко угадать. Он размышляет, размышляет о том, как это верно, как справедливо, что война – преступление, и, конечно, размышляет о том, что по какой-то необъяснимой причине все по-прежнему живут в заблуждении, что война – не преступление, а геройство и подвиг, и что по-прежнему имена Кая Юлия Кесаря и Бонапарта у всех на устах, как имена героев и великих людей, а не как имена преступников, негодяев и сволочей. Размышляет он также о том, что по этой причине преступны и революции, совершаемые разъяренными Митьками и Ваньками, поскольку в период этих будто бы освободительных и будто бы священных событий совершаются друг против друга бесчисленные грабежи и убийства, которые у него на глазах совершались три года назад, когда солдаты правительства по приказу своих офицеров расстреливали мирную демонстрацию или батальон восставших саперов, и которые продолжают совершаться уже в течение четырех лет, с одной стороны, при помощи револьверов, кинжалов и бомб, к которым прибегают боевики из эсеров, а с другой стороны, при помощи расстрелов и виселиц, которые воздвигает правительство Петра Аркадьевича Столыпина, отмщая боевикам из эсеров, а вместе с ними и тем, кто случайно попался под горячую руку пресловутым тройкам военно-полевого суда.

Что ж, хорошо, война, революция – преступление, однако войны и революции происходят у нас на глазах. Отчего? Какие на это причины? Он снова склоняет светловолосую голову над третьим томом, часть первая, цифра, и находит те же вопросы, с ещё большей определенностью поставленные Толстым:

«Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причины этого события была обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п. . . .»

Совершенно очевидно, что это нелепость и абсолютная чепуха, как он и предчувствовал, токуя и беспокоясь тревожной душой, высиживая бесплодно на скучнейших уроках истории. И он вчитывается в каждое слово с ещё большим вниманием:

«Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать Александру «Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу», и войны бы не было. . . .»

Он сухо смеется: вот так умники, по правде сказать, и эти-то умники везде процветают, куда пальцем ни ткни, легко им живется на свете, а чего ж им не жить? И мне слышится, как он цедит сквозь зубы уже ставшее любимым словечко, раскатистое и мерзкое:

– Сволочи. . .

Тут он с лихорадочным жаром проглатывает громадный кусок, изумляясь глубине и верности мысли. Из этого громадного куска я могу привести лишь абзац:

«Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось и не совершилось, были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по выбору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона или Александра, тех людей, от которых, казалось, зависело событие, была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин. . . .»

Далее Лев Николаевич обосновывает свой фаталистический взгляд на жизнь роевую, стихийную, где отдельная личность неизбежно подчиняется вне её стоящим законам, и всё это спокойное, обстоятельное рассуждение о таящихся в подземелье механизмах истории завер-

шается неожиданным, но строго логическим выводом, что так свойственно ходу мысли Льва Николаевича, падающим резко, как удар топора:

«Царь – есть раб истории...»

Каково-то переварить такие грозные истины юному монархисту? Трудно переваривать, тяжело скорее всего, тем более, что монархизм его бессознательный, вкорененный тоже в подземелье, но не только в подземелье истории, но и в подземелье души, с молоком матери впитанный из стихии обширной, далеко разветвленной семьи.

Однако он переваривает. В нем обнаруживается редчайшее свойство: подниматься выше своих убеждений, а поднявшись над ними, тщательно и беспристрастно анализировать их.

Лев Николаевич, как может, помогает ему, прибавляя к своему рассуждению ещё одну далеко ведущую мысль:

«История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей...»

Жизнь общая, бессознательная, жизнь роевая... Нельзя не задуматься, какова она нынче, в самом начале нового века, эта роевая, общая жизнь? К каким новым событиям ведут нас стихийные действия миллионов людей, которые только и заняты тем, что преследуют свои частные, исключительно личные цели, и уже готовы истребить владельцев земли, чтобы самим завладеть этой землей, если царь не услышит их голосов и этой земли своей доброй волей им не отдаст?

Вглядывается он напряженно, со страстью, светлый юноша, ещё гимназист, уже поднимающий на свои хрупкие плечи такую тяжкую ношу, какой поблизости от него не поднимает никто. Что ему удастся увидеть в эти предгрозные, уже хмурые дни? Понимает ли он, что, преследуя и казня без разбора, отправляя на виселицы тысячи, десятки тысяч, может быть, уже и сотни тысяч людей, желающих благополучия и свободы себе, своим детям и внукам, отправляя в полной надежде укрепить свою шаткую власть правительство царя Николая Александровича и Петра Аркадьевича этими самыми действиями подтачивает свою власть и готовит себе скорейший и непременно бесславный конец?

Невозможно сказать. Все-таки перед нами всего-навсего гимназист шестнадцати, затем семнадцати лет. Размышляет он много, упорно, невидимо, однако жизнь общая, роевая, действительная ещё слишком мало, с самого первого плана, пока что приоткрылась ему. Поневоле пищу для своих размышлений черпает он большей частью из книг, закон тоже общий и роевой.

И он вновь слоняет светловолосую голову над бессмертным романом Толстого. И его поражает, с какой виртуозностью и неожиданной простотой, основанной единственно на указаниях здравого смысла, Лев Николаевич развенчивает великую тень и низводит Наполеона чуть не до ранга шута. Это надо же, Наполеон, Бонапарт, о котором прожужжали все уши, скорморох и позер, беспомощный на поле сражения, вертящийся на своем бугорке во все стороны лишь для того, чтобы всем показать, что он управляет событиями, которыми не в состоянии управлять ни Наполеон и никто. Чудеса! Трудно поверить и невозможно определенно сказать, что всё это именно так, но ещё невозможней равнодушно, без смеха читать.

Любопытно ужасно! И славно, так славно! Эта дерзость разбить все привычные представления нравится ему чрезвычайно, оттого, что он чувствует в этой дерзости нечто близкое, нечто свое. Он и соглашается, припоминая осеннее побиванье оболтусов, и ему тоже и хочется спорить. Выходит, что в действительности нет места ни для какого геройства, а дух героизма понижывает всё его существо. Как же так? Воздействие одного страха смерти? Что в таком случае благородство, возвышенные чувства, честь наконец? Не из страха же смерти Александр Сергеевич пошел на смертельный поединок с врагом? Светловолосому юноше с этим мнением никак примириться нельзя. Однако же замечательно хорошо! Наполеон – это миф! Никакого Наполеона и не было и быть не могло! Извольте после этого дорогого монарха всем сердцем любить, в особенности теперь, когда его почти и не любит никто!

Размышления, размышления... Вихри мыслей носятся в юной ещё голове. Всё ещё в самом начале, много ещё предстоит впереди. Остается только сказать, чтобы картину умственного развития обозначить вполне, то рядом с «Войной и миром» высится «Капитанская дочка». Временами ужас ознобом продирает по коже. Чего стоит одна пьяная оргия ночью! Эта мрачная песня! Эти разбойничьи лица! А повешенье бедного коменданта? А труп зарубленной Василисы Егоровны у крыльца? А эти ясные, предостерегающие слова:

«Не дай Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...»?

Прочитаешь эту прозрачную повесть, полную событий кровавых и диких, возвышенных и благородных, и повторяешь противугодно:

– Не дай и не приведи!

Глава восьмая

Всегда трудно выбрать профессию

Однако никому и в голову не приходит, какие недетские мысли давно уже теснятся и зреют в его голове. Ни наставники, которым, должно быть, самой природой дается устойчивая слепота на талант и острое зрение на старательную посредственность, ни товарищи школьных мытарств. Для одних он просто выдумщик, фантазер, участник запретных прогулок на пристани, где босяки разгружают баржи с арбузами, на обрывы Днепра и сочинитель необыкновенных историй черт знает о чем. И только потом, полвека, если не больше, спустя те из них, кто остался в живых, вдруг свяжут эти живые фантазии и свежие молодые рассказы с его необыкновенным талантом и тогда только, с очень, очень большим опозданием, примутся живописать о тенях былого пополам с тенями стариковских фантазий:

«Особенно любили мы затопленную Слободку с её трактирами и чайными на сваях. Лодки причаливали прямо к дощатым верандам. Мы усаживались за столиками, покрытыми клеенкой. В сумерках, в ранних огнях, в первой листве садов, в потухающем блеске заката высились перед нами киевские кручи. Свет фонарей струился в воде. Мы воображали себя в Венеции, шумели, спорили и хохотали. Первое место в этих «вечерах на воде» принадлежало Булгакову. Он рассказывал нам необыкновенные истории. В них действительность так тесно переплеталась с выдумкой, что граница между ними начисто исчезала. Изобразительная сила этих рассказов была так велика, что не только мы, гимназисты, в конце концов начинали в них верить, но верило в них и искушенное наше начальство. Один из рассказов Булгакова – вымышленная и смехотворная биография нашего гимназического надзирателя по прозвищу Шпонька – дошел до инспектора гимназии. Инспектор, желая восстановить справедливость, занес некоторые факты из булгаковской биографии Шпоньки в послужной список надзирателя. Вскоре после этого Шпонька получил медаль за усердную службу. Мы были уверены, что медаль ему дали именно за эти вымышленные Булгаковым черты биографии Шпоньки...»

Другие, из тех, кто был безразличен к нему, не обнаруживают в нем решительно ничего примечательного, не считают никем и ничем. Один из таких черствых, эгоистических душ, позднее весьма заслуженный человек, так прямо и говорит:

«В первых классах был шалун из шалунов. Потом из заурядных гимназистов. Его формирование никак не было видно... Про него никто бы не мог сказать: «О, этот будет!» – как, знаете ли, говорили в гимназии обычно про каких-то гимназистов, известных своими литературными или другими способностями. Он никаких особенных способностей не обнаруживал...»

Что он, сдержан и скрытен? Возможно. Впрочем, с немногими друзьями он очень даже открыт. Друзья эти: Сынгаевский, Боря Богданов, братья Платон и Сашка Гдешинские, ещё кое-кто, главным образом соседи по даче из интеллигентных семей. Варвара Михайловна, дочери ведь растут быстрее грибов, по нечетным субботам устраивает приемы, приглашает главным образом молодежь. Поклонники, которые понемногу заводятся у сестер, приволакивают громадные букеты цветов, которые старший брат именуется пренебрежительно вениками. Сашка Гдешинский приходит со скрипкой. Варя садится к роялю. Музыцируют, танцуют, поют, что ни говорите, хорошо воспитанная, интеллигентная молодежь. А там именины: семнадцатого сентября Надежды и Веры, восьмого ноября архангела Михаила – тут в квартире на Андреевском спуске поднимается столпотворение. Озорничают, хохочут, трагическим голосом пародируют народного поэта Никитина: «Помоляся Богу, углеглася мать. Дети понемногу сели в винт играть...» Или как-нибудь вечером, желая развеяться, он сам забегает к друзьям, стройный и легкий, с поднятым воротником зимней шубы или шинели, скачет через ступеньку, вбегает и восклицает радостно, громко:

– Здравствуйте, друзья мои! В этом теснейшем кругу его распирают мистификации, выдумки, шутки. На каждом шагу он в событиях, в людях открывает невероятные штуки, как не смеяться, как не шутить? От всего на свете исходит, струится и веет какой-то неумолчный комизм. Стоит бросить один только взгляд, и в его воображении всё начинает жить какой-то таинственной жизнью, тянется нить смехотворнейших происшествий, невероятная фантазмагория вдруг летит и решительно всё заполняет вокруг. И уж если, к примеру, Сашка Гдешинский пробует ездить на велосипеде, который начинает в моду входить, то уж он любит, любит, уставя руки в бока, с нескрываемой ядовитой улыбкой, не выдерживает, срывается с места, сам хватая машину за руль, выделяет на ней зигзаги невероятные, зигзаги головоломные и со смехом кричит, рискуя шеей сломать, что этаким бесом ездить могут только семинаристы.

Все они испытывают сильное влияние с его стороны. Они к нему тянутся. Он их тормозит, толкает туда, куда находит нужным толкнуть. Они против воли поддаются ему, иногда круто переменяя свой жизненный путь.

Однако даже этим немногим не дано заглянуть к нему в душу. Даже они почти совсем не знают его. В сущности, он уже одинок, он с тех ещё пор всегда одинок, мой читатель.

Такие одинокие, слишком чуткие души, известно, влюбляются рано, влюбляются страстно: душа требует именно самого, самого близкого человека, именно женщину, которая умеет понять, понимает, разделяет бесконечные горести одиночества, муки сердечные, огненные мечты, добровольно становится рядом, помогает идти. Помощь необходима: дорога далека и трудна. Никто не знает, не видит никто, одна лишь она может видеть и знать, что он взбирается на крутейшую гору, на которую, представляется, одному ни за что не взойти.

Он влюбляется семнадцати лет. 1908 год, лето идет. Из Саратова в Киев является гимназисточка. Зачем? Просто так, к бабушке, к тетке гостить, скучно в Саратове, надоело в Саратове, захотелось чего-то, Бог весть чего. Имя у неё замечательное: Татьяна! Старинной фамилии, с ударением на последнее а: Лаппа. Софья Николаевна, тетка, дружит с Варварой Михайловной. Тетке с племянницей, верно, скучновато возиться, и в изобретательную голову тетки залетает счастливая мысль:

– Я тебя с мальчиком познакомлю. Он тебе Киев покажет, и всё.

То есть, пусть с тобой возится мальчик, мне недосуг. Знакомит. Михаил и Татьяна по городу Киеву гуляют вдвоем, освободив хитроумную тетку от забот и хлопот. Он ведет её в Лавру, к Аскольдовой могиле, на чудесные обрывы Днепра. Затем она уезжает с ощущением прекрасно проведенного лета, и между ними стремительно ширится переписка. Он нетерпеливо, как у него всё на свете, ждет её к Рождеству. Несчастный, конечно, страдающий, он бродит один по заснеженному зимнему городу, подняв воротник. Боже мой, уже улицы начинают освещать электричеством. Над Крещатиком повисают голубоватые цепи огней. По улицам трамваи бегут. Во мраке чернейших зимних ночей вспыхивает видимый издали Владимир крест. И тоска! Какая тоска! До Рождества ещё двадцать дней!

Пораженный видением, гонимый тоской он в полнейшем, осточертевшем ему одиночестве взбирается по террасам на самую вершину Владимирской горки. Страшновато ему. Ни одна душа не забредает сюда после наступления темноты, мало ли что, береженого Бог бережет. Он один поднимается всё выше и выше, пока не достигает подножия страшно тяжелого постамента. На постаменте чугунный Владимир, этот, Красное Солнышко, Святой, креститель Руси, трехсаженный крест воздевает над городом. И не может быть в мире лучшего места. И жуть витает вокруг. И в этой жути загораются мертвые лампы, чуть красят бледным светом бок постамента, вырывают из тьмы балюстраду, кусок чугунной решетки, а дальше нет ничего. И оттого, что дальше нет ничего, черней и тревожней становится незримая, словно что-то угрюмо ворчащая жуть. И что-то фантастическое, почти сатанинское чудится ему в этих млеющих лампах. И такая тоска!

Наконец прилетает письмо. Он распечатывает конверт весь дрожа. Она не придет! Родителям пришло в голову в Киев послать брата Женю, а её, можете себе представить, – её отправляют в Москву!

Так! Она в Москве, он в Киеве, а на носу Рождество! Этого безобразия быть не должно!

Тут происходит что-то не менее фантастическое, чем мерцающий на Владимирской горке электрический свет. Сашка Гдешинский пускает по телеграфу депешу:

«Телеграфируйте обманом приезд Миша стреляется».

В Саратове её депеша не застаёт. Отец же, догадливый человек, вкладывает глупейшее посланье в конверт и пишет в Киев сестре:

«Передай своей приятельнице Варе».

Тотчас видать, что какая-то чепуха, извольте понять! Миша стреляется?

Вообще, если бросить строгий взгляд на историю, придется признать, что в интеллигентных семьях начала буйного двадцатого века произрастает поколение светлое, честное, однако слабо укорененное, мало укрепленное духом. Ранним ужасно. В панику тотчас впадают. Уже для излечения тягостных сердечных недугов пробуют морфий и кокаин, но чаще всего револьвер. Завернулся головой в одеяло, зубами прикусил ледящее дуло, дернул собачку: ба-бах! Удивительно просто! Никаких сердечных недугов! Тишина и покой! И обезображенный труп на неутешное горе и слезы родителей.

Михаила Булгакова довольно сложно представить в таком жалком, таком унижительном положении, хотя, по правде сказать, его дух тоже мало пока укреплен. Вдобавок у него странный, весьма неудобный характер. Он страстен и вспыльчив, все наличные силы одним разом швыряет на предмет своего увлечения, будь то женщина, пьеса или роман, духовная энергия расходуется сразу и в громадных количествах, до нестерпимого холода в руках и ногах. По этой причине его энергия иссякает рано и стремительно-быстро, наступает тяжкий период упадка всех сил, он тоскует и мечется, страдает, что он не герой, что в нем мужества нет, поникает, пока не накопится, в тоске и в отчаянии, до нежелания жить, столько новой духовной энергии, чтобы вспыхнула новая страсть. В эти периоды вновь зародившейся страсти он решителен, изобретателен, дерзок и смел, ничто не остановит его, ничто не устрасит. В сущности, в такие периоды его бытия он способен на всё.

Я думаю, что он всё это придумал, лишь бы выманить несравненную Тасю в город Киев, на встречу, к себе. Предполагаю, что и депешу вяловатому, малорешительному Сашке Гдешинскому продиктовал, если не сам от его имени написал и отправил. Очаровательный трюк!

Однако, чего не бывает на свете! Возможно, в шальной голове молодого влюбленного в самом деле бродили кое-какие мыслишки о том, что жизнь гнусна и не стоит того, чтобы жить. Чем черт не шутит, поди разбери.

Между тем, гимназия подходит к концу. Восьмого июня 1909 года ему вручают аттестат зрелости в подобающей случаю торжественной обстановке, в актовом зале с портретами императоров, при громе оркестра и блеске огней. Аттестат свидетельствует с равнодушной канцелярской серьезностью, что старший сын статского советника Булгакова, при отличном поведении, что разумеется само собой, поскольку без отличного поведения невозможно залучить право на выпуск, обнаружил знания отличные по закону Божию и географии, что было нетрудно, по остальным же предметам хорошие и даже только удовлетворительные, то есть посредственные.

Что же было в действительности? Стал ли он образованным человеком, проведя восемь лет за партой Первой гимназии? Позднее, занявшись, при довольно отчаянных обстоятельствах, жизнеописанием одного знаменитого комедианта и драматурга, он задаст себе тот же самый вопрос и, строго обдумавши дело, даст вполне определенный ответ:

«Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным

человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя...»

Он призадумается, припомнит свою безвозвратно улетевшую юность, Первую гимназию в вечном городе Киеве, золотую латынь, сообразит некоторые из обстоятельств, и они приведут его к мысли о том, что во все времена между юным витязем, ищущим счастья, и школой, ищущей воспитать полезного гражданина, складываются одни и те же приблизительно отношения, вздохнет порывисто, глубоко и найдет нужным прибавить к тому, что сказал:

«Да, в Клермонской коллегии Жана Батиста дисциплинировали, научили уважать науки и показали к ним ход. Когда он заканчивал коллеж... в голове у него не было более приходского месива. Ум его был зашнурован, по словам Мефистофеля, в испанские сапоги...»

Ну, зашнурован ли ум Михаила Булгакова в испанские сапоги, пока никому не видать, и прежде всего ему самому. Даже можно сказать, что шнуры затянуты ещё недостаточно крепко.

Дело в том, в согласии с семейной традицией, юнец, начиненный золотой латынью и кое-какими легкими сведениями из разных наук не может остановиться, затворив за собой тяжёлые двери осточертевшей гимназии, со швейцаром Василием возле них. Начиненный золотой латынью юнец обречен двигаться далее уже потому, что перед тем двигался далее и отец, двигалось бесчисленное количество дядюшек, родственников близких и дальних, друзей дома и просто знакомых, тоже близких и дальних. И уже отводя старшего сына в приготовительный класс, все в семье твердо знали, что гимназия лишь приготовит его для будущего, уже подлинного ученья. Он и сам нисколько не сомневается в этом законе, который прямо-таки обязан исполнить каждый юнец из интеллигентной семьи. И все эти тягучие годы, помогая себе отсиживать с благопристойным выражением на лице томительные уроки в пыльном, слишком тесно насажанном классе, наводящем тоску, в бореньях с золотой латынью его поддерживает светлая мысль, что вся эта невыносимая скука долбленья от сих и до сих полагается доброму молодцу только на время, что ещё три года, ещё два, ещё год, а там прощай, гимназия, здравствуй, университет!

И вот долгожданный миг наконец наступает, а его одолевают сомнения, подозрительные мысли копошатся в его голове. Университет? Ну, разумеется, куда же ещё? Однако какой факультет? Ни один факультет не заманивает, можете представить себе! К тому же студент на пять лет, а Тася в Саратове, целых пять лет, чертовщина какая-то, как бы не так, полюбит Наташа Ростова вьюношу, простого студента.

В душе он довольно давно ощущает себя великим писателем, как ни часто его одолевают сомнения, но именно на этом желанном пути возникают преграды, громоздятся и громоздятся, одна неодоливей другой. Он кое-что пишет, ну там сценки, шарады, которые с неизменным успехом разыгрываются в тесном домашнем кругу, однако он-то не может не понимать, что это всё сущий вздор, и такое понимание говорит в пользу юноши и когда-нибудь зачтется ему. На одних шарадах и сценках далеко не уедешь, хотя очень многие уезжают, слава так и гремит, помилуйте, это, может быть, даже закон, да вся беда в том, что ему-то как раз в обратную сторону хочется ехать. Создавать, друзья мои, надо шедевры, все Наташи Ростовы непременно предпочитают шедевры, и вообще. Однако же, как создаются шедевры? Это вопрос, очень важный, важнейший вопрос, смотреть надо правде прямо в глаза. Ещё больший и труднейший вопрос: о чем шедевр написать? В сущности говоря, написать шедевр решительно не о чем, в голове какая-то чепуха.

Натурально, у него давно возникает желание познакомиться с тем, какие шедевры создают его современники, самые удачливые, самые знаменитые, о которых что ни день разливаются медом газеты и одно имя которых повергает в трепет и заставляет закатывать глаза гимназисток в зеленых передниках, сами понимаете, этих самых Ростовых Наташ. И замечательней всего то, что он имеет прекрасную возможность не только читать всю эту бездну мгновенно прославляемых как высшая проба рассказов и повестей, но и своими глазами видеть,

своими ушами слышать многих современных творцов, которые так и сыплют шедеврами, если, конечно, верить газетам.

Где, угадайте, в каком таком месте это неслыханное счастье поджидает его? Почти рядом, в гулком здании цирка с серыми кругами узких деревянных скамеек, в изящном зале купеческого собрания с белыми мраморами высоких колонн, с пурпуром роскошных бархатных кресел, да мало ли где? Литературные звезды вереницами стекаются из обеих столиц, избалованные газетной славой и модой, читают свои рефераты, знакомят почтенную публику со своей прославленной прозой, со своими прославленными стихами, принимают её поклонение, одни снисходительно, другие капризно, третьи с претензией, даже с презрением. Светлый юноша слушает, смотрит, и в душе его становится скверно, точно ему суют какую-то вонючую гадость под нос.

Вот, к примеру, Куприн. Первейший талант! Знаменит? Знаменит хоть куда! Чуть ли не новый Толстой! Вот что такое нынче Куприн! Однако опаздывает этот Куприн. Гремит третий звонок, а всё нет Куприна. Понемногу затихают и ждут, ждуть устают, начинают шуметь. Наконец появляется откуда-то сбоку, пробирается по распахнутой сцене к столу, как-то слишком медленно, аккуратно опускается в кресло, тотчас наливает из графина воды и жадными глотками выпивает полный стакан. Что-то будет? Боже мой, да ведь это Куприн! Пока что всё ничего. Глаза Куприна прыгают, ищут и устанавливаются в одну какую-то точку. Молчит. Молчит знаменитый Куприн! Ах, вот начинает! Нерешительно, вяло, мучительно подбирает слова. Может быть, от волнения? Говорит о великом служении русской литературы народу, о великой непрерывной традиции от Гоголя к Тургеневу, от Тургенева к Толстому, от Толстого к Горькому и далее к нему, к Куприну. Ну, там ещё к кое-кому, к Бунину, например, к Шмелеву, Серафимовичу, к Чирикову. Тоже кое-что пишет. Рассказы. Да, разумеется, Чириков пишет рассказы. Едва слышно перечисляет ещё какие-то имена. Становится видно, что именно эта традиция ему, Куприну, особенно дорога и что он, Куприн, до неприличия пьян. Все-таки говорит, замечательной крепости человек, другой давно бы с кресла упал, а этот нет, крепко сидит. Однако трудно, страшно трудно ему. Спустя полчаса сама собой обрывается речь, как-то слишком внезапно, точно что-то припомнил или о чем-то совершенно забыл, в памяти случился провал. Куприн поднимается и долго выходит со сцены, не разбирая, что двери, в которые он порывается выйти, намалеваны на заднике сцены.

Вероятно, не повезло. К тому же Куприн у нас такой не один. Приезжает также Бальмонт. Крохотный, почти неприметный на широкой эстраде, хотя помещается на дамской высоты каблуках. Золотистая голова в завитках и колечках едва выступает над кафедрой. Эта золотистая голова в завитках и колечках вскидывается не без надменности вверх, покачивается из стороны в сторону, вдруг падает вниз, сминая высокий стоячий воротничок превосходной белоснежной крахмальной сорочки. Резкий голос сильно картавит, напоминая кого-то другого. Интонации постоянно меняются, но преобладает одна, восторженно-патетическая, грозная, точно Бальмонт нынче на кого-то ужасно сердит. И как не сердиться Бальмонту? Бальмонт берет на себя смелость с кафедры утверждать ужасную ересь, будто смысл искусства вне мысли, в одних созвучиях, в сочетаниях слов, и нараспев убеждает в собственного производства стихах:

Я – изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты – предтечи.
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Нет, вы это слышите? Вы представляете, что выходит на подмостки Толстой на больших каблуках и объявляет решительно, что Пушкин, Гоголь, Тургенев, Некрасов и кто там ещё, э, да Бог с ними, мелочь одна, пустяки, только предтечи пред ним? Не представляете? Вот то-

то и есть! Этакую дичь себе представить нельзя! А тут дичь, очевидная дичь, и рукоплещет, рукоплещет толпа. Нет, господа, подгнило что-то в русском государстве!

А знаменитости в жажде сценической славы и денег шествуют по ошеломленной стране. Валерий Брюсов, с обжигающими сухими глазами, с удлинённой, на затылке резко срезанной головой, читает отрывисто, чопорно, признанный мэтр, окруженный вихрем легенд, читает доклад. И что же? О чем же доклад? Невозможно поверить ушам! Гоголь, обнаруживает признанный мэтр, был величайшим обжорой, любителем со вкусом поесть, устраивался с толком, с расстановкой в лучших трактирах несравненного Рима, весьма отличался на обедах Погодина, а также и в знаменитых своих повестях. Это Гоголь? Гоголь, Гоголь, вам говорят! И становится скверно, и целую ночь снится Гоголь то с хохлацкой галушкой, то с итальянской спагеттой во рту. Наказанье какое-то, тьфу!

Игорь Северянин прибывает из Санкт-Петербурга. В черном изысканном сюртуке, белая хризантема в петлице, подражает кому-то, кажется, из англичан. Выходит, облитый молочно-белым заревом люстр, прислоняется, расслабленно, томно, к задней стене, долго ждет, опустивши долу глаза, с каменным равнодушием на выхоленном удлинённом лице, пока стихнут истерические вопли точно сорвавшихся с цепи девиц и грохот аплодисментов, в которых изливается ликование худосочных студентов и смело напудренных гимназисток всё в тех же зеленых передниках, уже тошно глядеть. К ногам Игоря Северянина охапками бросают цветы. Игорь Северянин всё стоит неподвижно и не наклоняется поднять хотя бы один. Наконец изломанно шагает вперед, произносит негромко, что поэзия и жизнь – только две параллельные линии, которые в геометрии сходятся в бесконечности, а в действительности часто пересекаются, набегают одна на другую, отскакивают прочь. И вот он, король поэтов Игорь Северянин, ловит в этой обыденной жизни любое сочетание, любой перекресток этих двух линий, чтобы обогатить и украсить действительность, серую, скучную, нудную, как осенние дни. Доложив, как совершается процесс его непревзойденной творческой мысли, полузакрывши пустые глаза, король читает тягуче и нараспев:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где редко гремит городской экипаж,
Королева играла в башне замка Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил её паж.

Ищущий избрать высокую профессию литератора молодой человек во все глаза глядит на эти загадочные явления современной литературы. Положа руку на сердце, ничего худого нельзя найти во всех этих стихах, пожалуй, даже напротив, стихи эти звучны, красивы, изысканны, слух улаживают, а вместе баюкают беспокойную душу, помогают забыть, что в той, параллельной действительности случаются, и довольно часто случаются, тревоги, несчастья, войны, революции, грязь, что кого-то всё ещё вешают, кого-то в эту минуту ведут на расстрел, но тем хуже, только вот трудно решить, для кого? Украсить действительность? Молодой человек не находит это полезным. Однако хуже всего, что сами поэты вызывают у него отвращение. Он действительно весь сплетен из давних и, что ещё более важно, здоровых традиций, он слишком любит эти традиции, он преклоняется перед ними, он строго консервативен в душе. На их месте, на просторной эстраде, на сцене, залитой потоком огней, он пытается представить Пушкина, Гоголя или Толстого, читающих, тягуче и нараспев, «Капитанскую дочку», «Мертвые души», «Войну и мир», читающих на потребу разгоряченной толпы, читающих в таких же заученных изломанных позах, с полупьяными причитаниями, с напыщенными распевами. Ужас какой! Сумасшествие! Горячечный бред! Хуже хохлацкой галушки во рту! Представить абсолютно нельзя!

А он сам рядом с ними, в том же ряду? Пушкин, Гоголь, Толстой и Булгаков. Язык запинается, слышать нельзя, ещё худший, невозможнейший бред. Кошунство! Галлюцинация! Скверный мираж!

Ему представляется, что великое искусство куда-то ушло, оставлено в прошлом, что жизнь мельчает, утрачивает способность производить исполинское, выдвигать светлые, непорочные божества. Пожалуй, это начинает шевелиться в душе его мефистофельский скепсис. Этот скепсис, ещё молодой, вертящийся, как мальчишка на школьной скамье, не принимает в равной степени ни простонародных рассказов Сургучева, Скитальца, Айзмана, Найденова, Муйжеля, Чирикова, ни туманных порывов в надуманных стихах символистов.

Искусство громадно, искусство ни копирует жизнь, ни шарахается в непонятном испуге от жизни, искусство решительно всё вбирает в себя, решительно всё. Такое искусство не может не требовать для своего исполнения громадного человека.

Приблизительно эти тяжелые мысли уже в те времена начинают его посещать, и нечего удивляться, что заезжие знаменитости начала смутного века не кажутся ему такими громадными, какими бы, по его представлениям, должны были быть настоящие знаменитости. Тем более не кажутся ему громадными их местные подражатели, которые украшают своими нищенскими стишками гостеприимные полосы «Киевской мысли».

Брать с них пример? Учиться у них? Вступить в их ряды? Ни за что! В то же время застенчивость, нерешительность юности не позволяют даже подумать, что он способен на большее. Да и в самом деле, ни на какое большее он не способен пока. Что же до них, то они вызывают насмешку презрения. Позднее, когда он начнет стоически проходить свой трагический путь, он не раз повторит:

– После Толстого нельзя жить и работать в литературе так, словно не было никакого Толстого. То, что он был, я не боюсь сказать: то, что было явление Льва Николаевича Толстого, обязывает каждого русского писателя после Толстого, независимо от размеров его таланта, быть беспощадно строгим к себе. И к другим.

И когда незрелые, тоже изломанные литературные люди попробуют ему возразить, что и у почтеннейшего Льва Николаевича приключались огрехи в работе и попадают слабоватые строчки, он возразит убежденно и страстно:

– Ни одной! Абсолютно убежден, что каждая строка Льва Николаевича Толстого – настоящее чудо. И пройдет ещё пятьдесят лет, сто лет, пятьсот, а всё равно Толстого будут воспринимать как чудо!

Попробуйте-ка с такими цельными мыслями, хотя бы копошившимися пока что в зародыше, взять в руку простое перо и что-нибудь написать им для печати. Ничего у вас не получится. Я убежден, что с такими великолепными мыслями, если они когда-нибудь не нарочно у вас заведутся, вы никогда ничего не напишете! Не возьмете в руку пера! Это исключено!

И светловолосый юноша почтительно и застенчиво отвращает глаза. Поприще литератора? Очень бы, разумеется, хорошо, распрекрасно, однако, к несчастью, он лично для этого славного поприща абсолютно не годен. Приблизительно в этом направлении думает он, и думает правильно. Искусство не забава, не карьера, не легкая слава в ежедневных продажных газетках, но крест, не всякому и не во всякое время эту прометееву ношу нести на себе.

К тому же Михаил Булгаков, как выясняется, обожает театр. К восемнадцати годам это уже законченный театрал, прожженный, неизлечимый, потерянный для иных наслаждений. Инспектор, он же историк, Бодянский разрешает посещение соблазнительных зрелищ не более одного раза в неделю, но мой герой всегда находит возможность обманывать грозного блюстителя гимназических нравов и появляется в стенах театра также и в запретные дни. Он начинает трепетать уже в тот роковой, ни с каким другим не сравнимый момент, когда протягивает горячие деньги в отдающее сквознячком окошечко кассы, а из окошечка кассы невидимая рука небрежно выбрасывает театральный билет. А что сравнится с муками ожидания вожде-

ленного часа? Не сравнится ничто! Он выходит из дома на Андреевском спуске заблаговременно, как старые женщины заблаговременно отправляются к поезду железной дороги, часа этак за три. Он направляется к театральной площади своей стремительной легкой походкой, подняв воротник. По правде сказать, только напряжением воли он сдерживает себя, чтобы не пуститься бегом.

И вот наконец просторная площадь, на которой возвышается великолепное здание, с высоким фронтоном, с колоннами, в море огней. Площадь абсолютно пуста. И он долго бродит зигзагами и кругами по переулкам, возвращается, снова уходит во тьму. И вот наконец на площади начинается понемногу движение. К подъезду подкатывают, весело перебирая ногами, великолепные кони. Он спешит, протягивает билет, на ходу сбрасывает шубу или шинель. Темные вешалки испускают божественный запах кислого меха от шуб. Радугой переливается перламутр театральных биноклей, которые выдают напрокат.

Он чуть ли не первым врывается в зал, ещё полутемный и нежилой, с раскрытой безжалостно сценой. Он приближается. Он втягивает божественный запах пыльных кулис. Он ощущает холодок сквозняка, идущий из таинственных недр. Он едва замечает, как понемногу наполняется зал. Падает занавес, скрывая приготовленья к спектаклю. Он с сожалением поворачивается, забирается к себе на галерку, смотрит с жадностью вниз. Блистают женские волосы, кольца, ожерелья и серьги. Громадные люстры изливают праздничный свет. Синее старый бархат маленьких лож. Тяжелый густо-голубой, тоже бархатный занавес тихо покачивает и шевелит свои складки.

И вот медленно гаснут огни. Густо-голубой бархат взлетает. Открывается коробка волшебная, в глубине коробки необыкновенной прелести деревянные декорации, обтянутые грубым холстом, на которые выплеснул свои свежие краски театральный художник, и что-то невероятное, необыкновенное – начинает твориться на ней.

Незабвенный театр Соловцова! Прекрасная труппа! Вдохновенная Вера Юренева, Тарханов, Пасхалова, Мурский, великолепный Неделин, хрупкий утонченный любовник Горелов, красавец Орлов-Чужбинин, синеглазая Елизавета Чаруская, обаятельные молодые актрисы и ни с кем не сравнимый Степан Кузнецов, блестящий и разнообразный актер, неподражаемый во множестве самых непохожих ролей, а в комедийных ролях само совершенство. Какой Журден, какой Хлестаков, какая тетка Чарлея! Какой Плюшкин, какой Расплюев, какой Фигаро!

Но даже такие знаменитости сцены ещё не дают полного представления о блеске соловцовских спектаклей. У этого незабываемого театра имеется ещё одна, своя, своеобразная прелесть. Это старинный, провинциальный театр, впитавший и взращивающий традиции многих десятилетий. Традиции бенефиса прежде всего. Бенефис, каждую пятницу чей-нибудь бенефис, стало быть, раз в неделю непременно премьеры. Конечно, режиссеру тут делать нечего, в течение семи дней не успеет извернуться, то есть улучшить или напортить, ни один режиссер. Да и актеры извернуться не успевают, не представляют себе общий рисунок спектакля, нередко даже не знают твердо ролей. Однако же в будке неизменный спаситель суфлер, третий калач, а у актеров от такой практики необыкновенно истончившийся слух и ещё более необыкновенно развившееся чутье. Они мгновенно угадывают и самый слабый шелест суфлера, они на лету улавливают, одним только глазом взглянув на партнера, интонацию, жест, они импровизируют на ходу, и от такого искусства их игра вечно свежа, непосредственна, натуральна, жива. Какое-то колдовство свершается у всех на глазах, превращения чуть ли не с помощью магии. Ах, господи, это театр! Это истинный, это настоящий театр!

А репертуар? Репертуар смешанный, путанный, черт знает какой! Пестрейший калейдоскоп названий, жанров, имен и эпох! Сами судите: Чириков, Гоголь, Гауптман, Урванцев, Ибсен, Юшкевич, Арцыбашев, Ростан, Стринберг, Косоротов, Амфитеатров, Суворин, Шиллер, Протопопов, Чехов, Андреев, последний решительно весь, едва новая пьеса стекает с его мрачнейшего цвета пера. Натурально, против такой неестественной пестроты можно найти

многие и очень фундаментальные возражения, однако это и есть тот подлинный, искромётный, неугомонный театр, который нравится Михаилу Булгакову чрезвычайно, до конца его дней, и он никогда не осудит ни такой театра, ни такой пестроты. Импровизация, черт побери, – это жизнь!

К тому же, к его услугам вовсе не один соловцовский театр. Город Киев стремительно богатеет, растёт, расплзается вширь, всего за какие-нибудь десять лет население прибавляется вдвое, весенняя ярмарка с каждым годом приносит всё больший доход, а за хлебом непременно тянутся зрелища. В город Киев, как птица к кормушке, налетают именитые гастролеры, и всё какие могучие имена: Варламов, Савина, Мейерхольд, Давыдов, Качалов, Мамонт-Дальский, братья Адельгейм, Комиссаржевская, Орленев, Айседора Дункан, оперетта из Вены, итальянские трагики. Открываются новые драматические театры, кинотеатры, возводится здание нового цирка, театр «Фарс», театр «Сатирикон», театры миниатюр, «Интимный театр», наконец варьете. Прямо горячка какая-то, театральный Клондайк!

Однако и это не всё. Едва в городе Киеве запахнет весной, начнется распутица, и воздух приобретет прозрачную звонкость, в котором отливается хрусталем каждый звук, глубоко внизу, на самом Подоле, вокруг старинного дома, который зовется Контрактовым, вырастают, точно грибы, дощатые домики, и вот уже ярмарка криком кричит, воняет мочалом и бочками, визжит каруселями, расцветает черт знает чем. И, разумеется, разумеется, кривляется и вопит балаган, предлагая всё, что угодно, почтеннейшей публике, включительно до неперменной женщины с бородой. Можно прибавить, позабытый давно балаган. Утрата невозполнимая!

И много позднее, когда возникнет необходимость совершенно из ничего, на пустом месте вылепить страницу в жизнеописании всё того же комедианта и драматурга, он припомнит родимый Подол, Контрактовою ярмарку, балаган, настроит божественную фантазию на средневековый Париж, прищпорит воображение, предерзко смешает все краски, полагая, прибавлю от себя: справедливо, что все балаганы и ярмарки мира одинаковы во все времена, как одинаково в этом мире положение драматургов и королей, и в то жизнеописание впишет одно из самых замечательных мест:

«У Нового Моста и в районе Рынка в ширь и мах шла торговля. Париж от неё тучнел, хорошел и лез во все стороны. В лавках и перед лавками бурлила такая жизнь, что звенело в ушах, в глазах рябило. А там, где Сен-Жерменская ярмарка раскидывала свои шатры, происходило настоящее столпотворение. Гам! Грохот! А грязи, грязи!.. Целый день идут, идут. Толкутся! И мещане и красотки мещаночки! В цирюльнях бреют, мылят, дергают зубы. В человеческом месиве среди пешеходов видны конные. На мулах проезжают важные, похожие на ворон, врачи. Гарцуют королевские мушкетеры с золотыми стрелами девизов на ментиках. Столица мира, ешь, пей, торгуй, расти! Эй вы, зады, не знакомые с кальсонами, сюда, к Новому Мосту! Смотрите, вон сооружают балаганы, увешивают их коврами. Кто там пишит, как дудка? Это глашатай. Не опоздайте, господа, сейчас начнется представление! Не пропустите случая! Только у нас, и больше нигде, вы увидите замечательных марионеток господина Бриоше! Вон они качаются на помосте, подвешенные на нитках! Вы увидите гениальную ученую обезьяну Фаготена!...»

После этого легко догадаться, что он мечтает стать не только литератором, но и актером. Он не упускает случая сыграть в домашнем спектакле. У себя дома, в домах близких друзей, в особенности летом на даче. К примеру, роль мичмана Деревеева в водевиле «По бабушкиному завещанию», прекрасная роль. Разумеется, ещё лучше роль Хирина в водевиле самого Чехова «Юбилей» или роль жениха Ломова в «Предложении». На худой конец неплоха и роль спирита в фантазии домашнего изготовления «Спиритический сеанс», которой, с лукавым намерением привлечь в кресла ротозеистых зрителей, дается подзаголовок «Нервных просят не смотреть», и обманутый зритель так и прет на неё. По общему мнению, играет он хорошо, вызывает у

всех удивление и, что дороже всего, множество раз срывает сладчайший для любого артиста аплодисмент.

Так что же? Сцена манит его, он на сцене давно уж не новичок, так вперед! Но что-то останавливает его и на этом чрезвычайно завидном пути. Он видит себя в комедиях Мольера и Гоголя, в которых готов играть любую, даже напоследнюю роль. Он видит себя в старинном кафтане с накладкой фальшивых волос, в военном или гражданском мундире, с висками, аккуратнейшим образом зачесанными вперед, он мрачнейшим голосом произносит: «Я пригласил вас, господа...» Он видит себя в любой другой роли, в любой другой пьесе, пусть из самых пустых. Я и говорю, театром он болен неизлечимо. Так что же останавливает его? Неизвестно. Быть может, несравненный Степан Кузнецов? Одна мысль: как сравняться с этим великим артистом? Судить не берусь.

К тому же, он в равной мере обожает и оперу. Ещё, пожалуй, и больше, чем обожает театр. Опера – это уже абсолютно неодолимая страсть, чуть не болезнь. Он слушает «Руслана и Людмилу», «Севильского цирюльника», «Фауста», «Аиду», «Кармен», «Травиату», «Тангейзера». И как слушает! Этого нынче себе и представить нельзя, чтобы так слушал оперу молодой человек семнадцати-восемнадцати лет. Нынче молодые люди такого высокого сорта перевелись, они, вроде мамонтов, вымерли. А этот! Этот молодой человек ими заслушивается. Он выучивает все мелодии, все арии наизусть. И все-таки продолжает ходить, Как драгоценность несет он домой корешки от билетов и хранить их на память о счастливых часах, и однажды по этим корешкам от билетов выходит, что только «Фауста» прослушал он пятьдесят один раз!

Ему и этого мало. Его сестры, естественно, берут уроки игры на рояле, и он куда быстрее, чем они, знакомится с нотами и выучивается играть самоучкой. У него баритон красивого мягкого тона. Любимейшее развлечение его: он садится к роялю и разыгрывает по памяти целую оперу, начиная, разумеется, с увертюры, поет мужские арии все. В ходу большей частью «Севильский цирюльник» и опять-таки «Фауст», с любимейшей арией Валентина:

Я за сестру тебя молю,
Сжался, сжался ты над ней!
Ты охраняй её.

И представляет себя таким же рыжебородым и разноцветным, каким видит Валентина на сцене.

Что ж удивляться, что он мечтает петь в опере ничуть не меньше, чем подвизаться на драматической сцене. Страсть певца буквально сжигает его, и он отыскивает погибельный путь за кулисы. В один прекрасный день или вечер его представляют Сибирякову, Льву, самому! Возможно, краснея и заминаясь, ведь чрезвычайно застенчивый человек, он признается, что немного поет и хотел бы, тут он перескакивает на едва слышимый шелест, петь на оперной сцене. Возможно, любезный Сибиряков, Лев, сам, купаясь в лучах своей славы, соглашается прослушать его, находит его голос довольно приятным и поощряет своего молодого поклонника каким-нибудь неопределенным, но возбуждающим словом. Во всяком случае, у него на столе появляется фотографический портрет самого Льва, и он с гордостью позволяет читать: «Мечты иногда претворяются в действительность», – так начертано на портрете щедрой дланью Сибирякова.

Но преграды и тут! Преграды повсюду! В городе Киеве гастролируют Титто Руффа, Баттистини, де Лукка. И это бы ещё ничего, но в город Киев приезжает также Шаляпин. Любое воображение не может представить себе, что за страсти начинают потрясать музыкальную общественность города Киева. Певцу отдается здание цирка, поскольку никакое другое здание всех чающих слышать его не способно вместить, как, впрочем, вместить не способно и это. Утром, часов с четырех, по улицам города Киева движутся толпы народа, чтобы успеть про-

рваться заблаговременно к окошечку кассы и выхватить из рук барышни, укрывшейся там, бесценный билет. Толпа течет во всю ширину, точно река в берегах, напирая на стены домов. На Крещатике останавливается трамвай. Перед зданием цирка люди кишат, как живая икра, некие говорят, что у них гудела под ногами земля. Движение принимает такой грандиозный размах, что Шаляпин не может пробраться из близлежащей гостиницы в цирк. И вот будто бы знаменитый певец находит единственный выход: через окно гостиницы выбраться цирку на крышу. Так будто и поступают и выбираются вместе с пианистом и скрипачом. Нечего удивляться, что Шаляпин, после такого-то путешествия, поет, как не пел никогда, что под видом аплодисментов каждый раз раздается какой-то громовый удар, от которого цирк, казалось, трещит. Поет романсы. «Дубинушку» тоже, конечно, поет. Поет непременно из «Фауста». Аккорд, аккорд, он мысленно слышит в это время оркестр, и расплывается мягкий бархатистый могучий красавец-бас, неотразимо и тяжело, точно голос взывавшей стихии. Заманчиво? Заманчиво! Однако как же посметь после этого-то баса петь самому?

И все-таки поет и поет, одно слово: предрезостный человек. И окончательно подрезает его не Шаляпин, не Баттистини, а молодой человек, едва ли многим старше его. История выходит прелюбопытная, даже забавная, естественно, забавная не для него. Впоследствии он её любит рассказывать в назиданье упрямым, на счет своих ближних не всегда деликатным самобытным певцам: Вообразив, что у меня голос, я решил поставить его по всем правилам вокального искусства. Сказано – сделано. Записался проходящим в консерваторию, толкаюсь по профессорам, извожу домашних бесконечными вокализациями. Ну, а по вечерам собираемся в одной очень культурной семье – музицируем. Вокалисты, виолончелисты, скрипачи. Сама мамаша пианистка, дочь арфистка... Так вот, приходит как-то на наше вечернее бдение мой преподаватель по вокалу, а с ним мальчик... Лет ему даже не двадцать, а, вероятно, девятнадцать. Мальчик как мальчик. Росту моего, среднего. Только грудная коробка – моих две. Не преувеличиваю. Профессор сел за рояль. Сейчас, говорит, услышите «Эпиталаму» – только, пожалуйста, не судите строго. Искусства, говорит, у нас пока мало, но материал есть – это вы сейчас почувствуете сами. Сделал профессор на рояле вступительное трень-брень и кивает через левое ухо мальчику – мол, давай. Ну, тот и дал! С первой же ноты он шарахнул такое форте, что все мы разинули рты, как звонари у Ивана Великого. Знаете, звонари и пушкари разевают рты, чтобы не полопались барабанные перепонки. Вот так и мы стоим с открытыми ртами, смотрим друг на друга. А подвески на люстре даже не звенят, а вроде даже подвывают как-то. Что дальше пел мальчик, как пел, её богу, не помню. Отошел я к сторонке и тихонько самому себе говорю: «Вот что, дорогой друг Михаил Афанасьевич! Материал пусть поет, а у нас с тобой материала профессор не нашел – давай-ка замолчим...» Ну, и замолчал! Крышка! Так с тех пор и не пою... То есть как вам сказать: и пою, и не пою. Знаете, как говорят итальянцы, человек, который поет на лестнице, певцом не будет. Так вот я пою теперь только на лестнице...

Он слоняется по даче, по саду, играет в любительских спектаклях, ловит бабочек, пополняет коллекцию, которая ему уже надоела, потихоньку берет любимые ноты и снова слоняется в глубочайшей задумчивости. Он выбирает, не может выбрать, не решается ни на что.

Наблюдая довольно долгое время трудную нерешительность старшего сына, Варвара Михайловна вдруг обнаруживает, что не приготовила его к чему-то определенному, что в интеллигентных семьях выбирают заранее и на целую жизнь. Чего бы хотела она? Она хотела бы видеть его инженером! Она спешит исправить собственный промах и пускается его наставлять, большей частью во время обеда, поскольку в другое время его трудно поймать. Она подходит к проблеме самым прозаическим образом, что вдохновенной юности неизменно претит, и рассуждает на житейские темы, как свойственно рассуждать всем любящим матерям. Он возражает, поскольку проза жизни не имеет власти над ним. Она горячится. Он тоже, ведь он её сын. Понемногу она переходит к более высоким материям, обращается за поддержкой к наукам, к искусствам, затрагивает самые принципы бытия. Разумеется, тут обнаруживается,

что старший сын довольно давно и на науки, и на искусства, и тем более на кардинальные принципы бытия смотрит совершенно противно тому, как на них смотрит она. Варваре Михайловне его возражения представляются парадоксами, жадной оригинальности, не больше того. На такого рода предположения он отвечает своей ядовитейшего свойства иронией. Они ссорятся, и ссорятся громко. Не приходят ни к чему хорошему прения этого рода, и не могут никогда привести. Решать свои судьбы приходится детям всех поколений самим.

Невозможно определить, чем бы окончились эти метания, не попадись ему в руки «Записки врача» одного пока что малоизвестного автора. Книга производит действие ещё более сильное, хотя и в совершенно ином направлении, чем Гоголь или Толстой, так что почти-тельное отношение к автору книги, впоследствии получившему довольно большую известность, удерживается в благодарной душе его ан всю жизнь.

Возникнет вопрос, что именно в этой книге потрясает его прежде всего? Не может быть ни малейших сомнений, что прежде всего потрясает его именно то, что ближе и дороже ему самому, то есть та великолепная дерзость, с которой автор «Записок врача» раскрывает перед широкой публикой, то есть перед профанами, те ужасные врачебные тайны, которые корпорация медиков, из пресловутой чести мундира, тщательно обходит молчанием и таит про себя и за которые, как выясняется, эта корпорация медиков обрушивается на дерзкого автора в периодической и ежедневной печати, обвиняя его в предательстве, святотатстве и многих других чрезвычайно знакомых и скверных вещах. Особенно же нравится то, что автор стоически выдерживает поток грязной брани разгоряченных коллег и не только под их дружным нажимом не отрекается от добытой истины, как он понимает её, но и дерзает, также в печати, настаивать на своей правоте. Не уважать такого рода людей невозможно, и Михаила Булгакова отличает именно то, что он всей душой уважает такого рода людей, а противоположного рода людей всей душой презирает. Жаль только, что впереди ему предстоит уважать уж слишком немногих, и слишком уж многих предстоит впереди презирать.

Нет сомнения так же и в том, что производит неизгладимое впечатление то, что из-под пера человека самой мирной и самой гуманной профессии в мире выходит чрезвычайно жестокая вещь. Она открывает перед читателем такие стороны врачевания, что после неё остается единственное и незатихающее желание: вечно оставаться здоровым, никогда не болеть и ни под каким видом не обращаться к врачу. Прибавлю, что после прочтения этой книги по ночам непременно снятся кошмары, в которых нередок летальный исход, после чего впечатлительные читатели пробуждаются в холодном поту.

Дело врача представляется в ней как чудовищный риск. И цена этого риска непомерна и всегда одинакова: жизнь беззащитного пациента. Автор доказывает вполне убедительно, с помощью фактов, что жизнь каждого человека буквально, в прямом смысле этого слова висит на одном, чрезвычайной тонины волоске, и малейшей глупой случайности или самой ничтожной ошибки врача предостаточно для того, чтобы этот волосок оборвать навсегда. Нужно быть очень смелым и дерзким или абсолютно безответственным и безрассудным, чтобы, прочитав и перечитав эту мрачную книгу, решиться избрать специальность врача. Сам автор, и это понятно, бледнеет перед трудностью врачевания.

И вот благодаря этой немилосердной суровости книге Михаил Булгаков открывает наконец свое поприще. В его глазах разоблачения медицины только придают медицине возвышенный ореол. Врач отныне представляется светлейшим из рыцарей, ибо лишь феноменальные знания и безупречная нравственность дают право рисковать человеческой жизнью, чтобы сделать попытку спасти эту жизнь. Это благороднейшая профессия на земле, разумеется, после профессии литератора, актера и оперного певца. Профессия, безусловно, блестящая, а это определение с некоторых пор означает у него наивысшую похвалу. К тому же ему доводится заглянуть в микроскоп, и с этого дня эта черная трубка манит его возможностью наблюдать под стеклом волшебные, всем остальным не доступные тайны.

Итак, университет, медицинское отделение. Есть основания полагать, что его привлекает туда не сама по себе карьера врача. То есть не врачевание сложных больных самолично, своими руками, при помощи ножа и пилюль. Медицина влечет его именно своими безбрежными тайнами, которых ещё никто не раскрыл. Ему грезятся эксперименты, исследования, не иначе как в грандиозных масштабах, результаты которых всенепременно обогатят человечество, значительно пополнив сокровищницу познания, в бактериологии, в бактериологии прежде всего. Во всяком случае, годы спустя, когда его младший брат тоже окончит медицинское отделение и получит диплом, он отправит ему письмо с поздравлениями и благословит его отнюдь не на успехи во врачевании, о нет, он пожелает младшему брату иного, несомненно то, чего жаждала его собственная душа:

«Будь блестящ в своих исследованиях!»

Глава девятая

И учиться и жениться

По видимости, жизнь его не изменяется. Прежде он в течение восьми лет каждое утро отправлялся в гимназию и проводил в ней половину или три четверти дня. Нынче он каждое утро отправляется той же дорогой в расположенное напротив Первой гимназии университетское здание и проводит в нем половину или три четверти дня. От университета остается очень немного свободного времени, и он проводит его точно так же, как и всегда. То есть странствует по книжным шкафам прекрасной библиотеки отца или, к чему приучается понемногу, склоняется над книгами в читальном зале общедоступной библиотеки. И опера и театр занимают в его жизни прежнее место, в особенности же «Фауст», не сравнимый ни с чем. И веселая неразбериха маминых нечетных суббот, и летом на даче бестолковая и в то же время ни с чем не сравнимая бегодня по устройству спектаклей, распределению ролей и, разумеется, очарование сцены, когда стоишь на ней, не чувствуя ног под собой, и сыплешь легкие водевильные реплики или произносишь страстным голосом монологи. И аплодисменты, аплодисменты! И поздравления за кулисами от ближайших друзей:

– Ах, как ты сегодня играл, Михаил!

Может быть, мамины субботы становятся разнообразней, шумней, однако его личной заслуги тут почти нет. Окончательно подросла молодежь. Сестра Вара поступает в консерваторию по классу рояля. Сестра Вера поет в известном киевском хоре маэстро Кошица. Николка и Ванечка поют в церковном гимназическом хоре, играют на домре, на гитаре, на балалайке. По его настоянию братья Гдешинские уходят из семинарии против воли отца, помощника библиотекаря в академии, человека беднейшего, как и полагается библиотекарю в неинтеллигентной стране. Платон определяется в политехнический. Сашка поступает в консерваторию по классу скрипичной игры и отныне, «причепурившись», как выражается Сашка, является по субботам неизменно со скрипкой. Устраиваются концерты. Сашка исполняет Вьетана, «Колыбельную» Эрнефельда, «Цыганские напевы» Сарасате, Мелодии Гайдна и Крейсера. Поют. И много поют. «Нелюдимо наше море», «выхожу один я на дорогу», «Вечерний звон», «Крамбамбули», «Антоныча», «Цыпленка», «Вещего Олега» и «Взвейтесь, соколы, орлами». Да мало ли ещё какие песни поют. Соло и хором. Главное, песни хорошие, для души.

Это хоть кого удивит: жизнь идет, а в семье ничего не меняется? Конечно, меняется, немного, однако кой что. Дом на Андреевском спуске, № 13 приобретает за наличные деньги Василий Павлович Листовничий, инженер, занимает весь нижний этаж, семь больших комнат на одну дочь, одну жену и прислугу и тотчас получает нелестное прозвище «Василиса» которое невольно его прославит в истории. Новый домовладелец оказывается личностью мелкой, беспокойной, из обитателей. Дом покупает с жильцами, и встает вполне резонный вопрос, а не погонит ли Василиса прежних жильцов со двора? Вполне может погнать, имеет полное право, хозяин, черт его побери. Однако куда же эта большая семья с одной вдовой пенсией, семерыми детьми и несколькими родственниками обоого пола, приютившимися у них, сможет пойти? Набравшись мужества, присущего всем матерям, Варвара Михайловна отправляется к Василисе и говорит:

– Я вдова, у меня семь детей...

Принимается уговаривать, уверяет, что народ они вовсе не хлопотный, тихий и дает какие-то обещания, из числа тех, какие в таких обстоятельствах дают все схваченные за горло жильцы. Василиса милостиво соглашается оставить Булгаковых во втором этаже, тем более что квартирную плату они вносят исправно. Не подозревая нисколько о том, что один из Булгаковых обессмертит его именно за это свойство гнусной души, Василиса тут же использует свое хозяйское положение, бестактно и воровски.

Дело в том, что одна из семи комнат во втором этаже угловая, с балконом, с отдельным выходом на парадную лестницу, ведущую прямо на улицу, и занимает эту отдельную комнату старший сын, студент-медик, взрослый уже человек, которому не совсем удобно проживать совместно с подростками сестрами. У Василисы же в городе Чернигове обитает горячо любимая мать, больная туберкулезом, форма открытая. Преданный сын, Василиса перевозит любимую маму к себе, однако, жулик и трус, страшится поселить её в своих семи комнатах совместно с одной женой, одной дочерью и прислугой, а просит жильцов очистить угловую отдельную комнату, не стесняясь при этом прибавить, что просит очистить на самое короткое время, а там эта угловая отдельная комната вновь возвратится к жильцам.

Ужасное скотство, не правда ли? И Михаил Булгаков устраивает этой скотине страшный скандал. Скотина, проглотивши скандал, все-таки вселяет любимую маму, больную туберкулезом, открытая форма, в отдельную угловую, где она молча страдает от горчайшего оскорбления, нанесенного собственным сыном, и через четыре месяца действительно умирает от тоски и чахотки. По указанию Михаила, студента, в отдельной боковой угловой проводится дезинфекция самая тщательная, и он вновь обретает покой для своих уединенных занятий, смысл и содержание которых тщательно скрывает от всех.

И ещё одна несомненная новость: с подозрительным упорством он рвется в Саратов, измышляя какие-то очень туманного свойства предлоги, которые все, при ближайшем рассмотрении, рассыпаются в прах, и ему приходится торчать в городе Киеве, тогда как ему крайне необходимо находиться в Саратове. Но, простите, зачем? Ах, помилуйте, как же: зачем? Это же ясно без слов! Тут он заминается и как-то неопределенно машет рукой. Вскидывает злые глаза и скороговоркой шипит, поспешно скрываясь в отдельной боковой угловой: Простите, там у нас химия...

И химия, разумеется, новость, как новость всё, чем встречает университет новобранца. Во-первых, в университете царит свобода самая полная, неслыханная свобода. Посещение лекций не считается обязательным, это зарубите себе на носу, что после террора гимназии с вечной угрозой Бодянского вызвать родителей и закатить четверку по поведению в голове укладывается не сразу, а у значительной части юного поколения не укладывается совсем, так что эта часть юного поколения до крайности редко бывает на лекциях.

В самом деле, можно, к примеру, дома сидеть, можно без всякой, видимой или невидимой, цели бродить по Крещатику, есть мороженое, порций пять или шесть, спускаться на берег Днепра и глазеть, как босяки разгружают баржи с арбузами, или читать интересную книгу, поскольку память о сыщиках ещё свежа в голове. Именно этого рода свободой пользуются действительно многие новобранцы, и пользуются достаточно широко. Лекции начинаются и оканчиваются в отсутствии их, одни тем временем где-то шатаются, другие громко шумят в коридорах, и никакой Бодянский не устремляется к ним со своей безотказной угрозой разорвать всех бездельников на куски. Эти другие, большей частью из старшекурсников, ведут длиннейшие споры хороших русских людей, опьяненных хорошими заблуждениями насчет свободы, счастья и справедливости, которые были бы достигнуты уже завтра, если бы только послушали их. У каждого из них обдумывается своя обширнейшая программа коренных, самых кардинальных, разумеется, преобразований, которые позарез необходимы стране и до которых никак не додумаются ни Столыпин, ни Дума, ни более слабый царь Николай. В зависимости от содержания этих, несомненно великолепных, программ, они неумолимо разделяются на партии, фракции и землячества, последнее при условии, что гвоздем программы оказывается вечно запутанный национальный вопрос. С утра до вечера хрипят усталые глотки. Коридору тонут в табачном дыму. Эх, кабы послушали, там, наверху, а не слышит, не слышит никто!

Что может думать об этих бешеных спорах молодой человек, воспринявший идею Толстого о жизни общей и роевой? Ответить нетрудно: решительно ничего. А если он и задумывается как-нибудь мимоходом о них, они представляются ему излишними, глупыми, поскольку

ничего не меняют и никаким образом не захватывают и не учитывают той самой жизни, общей и роевой, которая и есть самый корень всего.

Перед ним вполне определенное дело и вполне определенная цель. Этой цели он может достигнуть, в этом деле он должен достичь совершенства, и если это случится, в чем у него сомнений не заводится никаких, явится возможность вернуть здоровье тысячам, даже десяткам тысяч людей, больных и увечных, а может быть, и спасти тысячи, даже десятки тысяч человеческих жизней, которые без него обречены умереть. Чего же ещё? Спорить о чем? Что выяснять? К тому же мир науки удивителен и прекрасен сам по себе, как он убеждается с первых же дней.

Восемь бесконечных гимназических лет представляются бессмысленной тратой бесценного времени жизни. Какие предметы содержит гимназический курс? Ответить приходится одним словом: вздор! Тогда как в университете на первых двух курсах читаются теоретические предметы, о которых он прежде только мимоходом слышал: химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Да это же чудо!

В гимназии его принуждали зубрить какие-то правила, подтвержденные какой-то пылью брошенных враспылку примеров. Примеры и правила своей внезапностью появления на свет приводили в недоумение жаждущий ум, в памяти кое-что застревало, не без помощи убедительных внушений Бодянского, и почти ни на что не годились, точно и не было ничего, мрачный сон и мираж.

В университете изучают природу, великий закон самой жизни, эволюцию, неторопливую, но непреложную преемственность и последовательность развития. К природе, к жизни относятся здесь с почтительным уважением. Природе здесь ничего не навязывают, не выдумывают чего-то почище, поинтересней, посправедливей на место её, не измышляют, как бы покруче её изменить на благо всего человечества. В природе здесь видят загадки и у самой же природы ищут материалов, чтобы их объяснить. Не изменить, но понять. Величайшая вещь!

Профессора начинают беседу неопровержимыми фактами. Тут же опровергают их данными опыта. Двигаются вперед, у всех на глазах контролируя только что сделанный шаг. Убеждаются в наличии определенной закономерности и тщательно формулируют эту закономерность в ясных и точных словах. Выявляют новые факты. Наблюдают. Осмысливают свои наблюдения. Делают выводы. Решительно ничего не принимают на веру. Смеются над самыми лучшими побуждениями, если эти славные побуждения от реальной почвы оторваны, разбирают любую систему, если система противоречит единственно правильной логике – логике фактов.

В общем, в университете он находит именно то, что обещал ему опытный автор неизгладимых из памяти «Записок врача»:

«Метод этот обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела: каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собой твердили золотые слова Бэкона: «не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собой природа». Можно было не знать даже о существовании логики, – сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум, что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, – вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения, – прямо резало глаза своей ненаучностью...»

Другими словами, на медицинском отделении добывается негромкая, но несомненная истина. Несомненная истина покоряет его своей непреложностью. Несомненная истина, добываемая не в истерических спорах, а долгим и трудным исследованием, оказывается прекрасной в своей простоте. Узнавши её, он уже не в состоянии от неё отступить. Его очаровывает точность научного рассуждения. Схоластика и софизмы становятся ему ненавистны. Он приобретает ценнейшее уважение к опыту, презрение к выдумкам, к лозунгам, к фальши. Вместе

с общей роевой жизнью, которая в книгах Льва Николаевича так счастливо открылась ему, несомненная истина и научность мышления становятся основой основ его убеждений. Всё в действительности, всё из неё!

Он забывает о Днепре, о воле, возможно, на какое-то время забывает даже о славе, о чем юноше особенно трудно забыть. Он отдается науке с любовью и упоением. Никто не насилует его разум, никто не грозит наказанием, не оставляет после обеда, не вызывает родителей, не сулит четверки по поведению, и он торопится в университет каждый день как на праздник. По собственной воле он не пропускает занятий, просиживает часами в лабораториях, где наконец обретает полнейшую возможность впериться в черный окуляр микроскопа. Он погружается в подводные течения и водовороты учебников куда глубже, чем прежде погружался в таинственные реки романов. Он кромсает в анатомическом театре окостенелые трупы, замороженный магией устройства обыкновенного тела, не обращая внимания ни зловоние испарений, не замечая ни оскаленных ртов, ни закатившихся глаз. На него веют каким-то магическим волшебством белый халат, стеклянное молчание операционной и мерцающий таинственным блеском инструментарий.

Внезапно умирает Толстой.

Старик, на восемьдесят третьем году, не понятый даже самыми близкими, с которыми прожил бок о бок лет пятьдесят, бежит украдкой из отчего дома. Бежит и несколько дней неузнанным странником скитается по железным дорогам центральной России, стремясь неизвестно куда, и оказывается в жару пневмонии на глухом полустанке Астапово. Там его настигают жадные до сенсации журналисты и жадная до его покаяния церковь, настигает жадная до наследства семья, и обо всем этом, как о важнейшем событии, на все голоса трезвонят бесстыдные страницы вечно лживых, вечно продажных газет.

Ученого анатома смерть человека, даже если этот человек Лев Толстой, не удивляет нисколько: самый простой, самый будничный факт, подтверждающий, что каждый из нас обречен когда-нибудь умереть. Вскройте его брэнное тело, обнажите легкие, и вы обнаружите все признаки скоротечного воспаления, пневмонии, говоря своим языком. Как видите, господа, все люди смертны, исключений не существует и не может существовать. Нет ничего необыкновенного даже и в том, что умирает странник на безвестном железнодорожном разъезде в одной из двенадцати комнат начальника станции. Миллионами умирают безвестные странники, на больших и малых дорогах, в чужих постелях, в оврагах, в открытой степи, подтверждая лишь общий закон, что всех нас поджидает общая участь, роевая судьба. В каждом теле с одинаковой неизбежностью срабатывает молчаливая механика смерти: останавливается утомленное сердце, тянутся ноги в страшной жажде последнего вдоха, пропадает сознание, остается одна гниющая плоть, которую, без молитвы или с молитвой, бесчувственно или с тяжким чувством незаменимой утраты, сваливают в тесную яму и засыпают землей.

И все-таки, все-таки, в этом единственном случае на всех интеллигентных и неинтеллигентных, образованных и необразованных, близких и абсолютно посторонних людей обрушивается необычайное горе, поражая всех и каждого в самое сердце. Вздрагивает весь мир, едва разлетается весть о бегстве дивного старца. Становятся строгими лица. Прохожие замедляют шаги. Газетные полосы чернеют краткими новостями последних депеш. Решительно все забывают, что умирающий странник Толстой, страстный проповедник всем известных неприятных идей, за пропаганду которых его отлучили от церкви, за которые считает своим долгом презирать его любой прогрессистка, а революционеры отталкивают и клеймят почти как врага. Прощается всё. Всех съединяет на миг единое беспокойство и единая скорбь. Во все души так и веет библейской легендой: из мира уходит великий, может быть, величайший из всех.

В университете занятия в эти три дня тревожного ожидания идут кое-как или прекращаются вовсе. Город ждет, как ждет вся страна и весь мир. Город тайно надеется: великий, может быть, не умрет. Однако же нет: черным утром все видят экстренный выпуск ещё влаж-

ных газет. В каждой газете чернейшая рамка: великого старца скорбный портрет. Черная рамка свидетельствует: великого нет.

На улицах толпы растерянных, охваченных общим горем людей. Перед университетом замирают студенты, черные повязки на всех рукавах. Наконец движутся с понурыми головами. Вступают в большую аудиторию. Навстречу студентам шагает профессор. От беззвучных рыданий голос дрожит:

– Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово умер величайший писатель нашей страны, Лев Николаевич Толстой.

Ряды поднимаются. В гробовом молчании долго стоят. И Булгаков, слившись в эту минуту со всеми, переживает с потрясающей силой, когда видит то, чего нам с вами, читатель, никогда не увидеть: и после кончины явление Толстого продолжается и не может не продолжаться во все времена.

Потрясение кстати. Оно не позволяет погрузиться в пучину грубейшего, отвратительнейшего, так называемого естественнонаучного материализма, так свойственного медицине и медикам, как не позволяет погрузиться в эту пучину и голоса предков-священников, громко звучащий в крови, который ничем нельзя заглушить.

Вновь и вновь перечитывает он беспокойные книги Толстого, с жадностью проглатывает помещенные в журналах воспоминания о нем, ловит тома биографии, написанной близким к нему Бирюковым.

В душе его копошатся сомнения: непреложность науки, строгая дисциплина логического мышления, суровая логика фактов. Это необходимо? Сомневаться нельзя, без всего этого останется жизнь непреклонной человеческой мысли. И всё литература, искусство... Поколения жили спокойно, не зная, что такое угар или каким образом обыкновенная пища преобразуется в энергию крови. Необходимо им рассказать, что такое угар и каким образом обыкновенная пища преобразуется в энергию крови? Конечно, необходимо? В этом не может, не имеет права сомневаться образованный, к тому же порядочный человек. Однако, однако... Какой такой пищей возжечь энергию духа? Без энергии духа тоже не проживешь.

Он останавливается. Он заглушает сомнения. Продолжает прилежно учиться на лекаря, исправно проходит приготовительные предметы, на втором курсе успешно сдает полулекарские экзамены, после которых студенты допускаются в клиники. В клинике предстоит ещё одно, серьезнейшее, труднейшее испытание.

Человек он нежнейший, человек легко и сразу уязвимой души, воспитанный в безмятежном покое отцовского дома, куда не прокрадывается и тень от страдания, муки, тем паче жестокости, где живут в мире с совестью, в мире друг с другом, где ближнему больно сделать нельзя, потому что больно становится и самому, страшный, но и спасительный дар, который приобретает каждый интеллигентный, нравственно воспитанный человек.

Единственное несчастье, которое довелось ему за все свои двадцать лет испытать, – это внезапная болезнь и скорая кончина отца, однако болезнь отца была болезнью глубоко верующего, нравственно нерушимого человека, так что все страдания и муки остались глубокой тайной для окружающих, до последней минуты обреченный отец оставался спокоен и бодр.

Таким образом, этот юноша абсолютно не подготовлен к тому, что ему предстоит, у него ни малейшего опыта нет, и он без всякого перехода попадает в дом величайшей скорби и величайших страданий, которых не найдено слов описать.

В клиники не берут легких больных, не берут и тяжелых, если эти тяжелые больные из состоятельных или интеллигентных семей, эти больные лечатся дома, поскольку всем известно, как целителен для больного домашний уход. В клиники попадают мелкие служащие, ремесленники, городское простонародье и обитатели, большей частью без веры, без нравственного, порой и без всякого воспитания. Духовная сила этого рода больных чрезвычайно слаба, а на долю им выпадают адские муки, муки разнообразные, утонченные, муки бессмысленные, муки

жестокие, и всё это обнажено, всё это не сдержано, не прикрыто ничем, но ещё усилено животным ужасом смерти, с вечным душераздирающим воплем:

– Доктор, я не умру?!

В анатомическом театре конструкция тела выглядит законченно-совершенной. В клинике та же, но живая конструкция представляется чрезвычайно слабой и поразительно хрупкой. Довольно босой ногой напороться на грязную щепочку, чтобы в чудовищных муках погибнуть от столбняка, довольно разгорячиться и оказаться на сквозняке, чтобы свалиться с крупозным воспалением в легких. Неизвестно откуда выскакивают грыжи, появляются опухоли, перитониты, туберкулез, обыкновенные роды выглядят как настоящий кошмар.

Каждый день человеку нежнейшему, человеку легко и сразу ранимой души приходится видеть увечных, болящих, вопящих о помощи, скорбящих, тающих на глазах, извивающихся от ужаса или в агонии смерти. Обо всем этом нежнейший человек с легко и сразу ранимой душой, конечно, читал в равнодушных учебниках, ещё раньше читал о том же в безжалостных «Записках врача», однако в реальной действительности зрелище непереносимых страданий непереносимей стократ.

Как он относится к ним? Можно с уверенностью сказать, что он не примеряет на себя всех болезней, которые видит, не болеет ими в воображении, как приключилось с более мягким, податливым автором «Записок врача». В нем слишком сильно развито чувство рыцарского служения, и если он и страшится чего, так это того, сможет ли именно он, подать помощь этим впавшим в отчаянье людям.

Удивительней же всего, что он открывает в клинике красоту и романтический блеск. Хирургическое отделение притягивает его как магнит. Чистейшие белые стены заливают ослепительный электрический свет. Такой же умопомрачительной чистотой сверкает керамический плиточный пол. Пылает зеркалом никель приборов и кранов. И посреди этой сверкающей чистоты человек умирает на операционном столе. Вокруг человека манипулируют ассистенты в снежно-белых халатах, с сосредоточенными строгими лицами. Над умирающим склоняется старый профессор в марлевой маске, в залитом свежей кровью переднике и делает что-то неуловимое в раскрытой груди или в полости живота. Застывают, все почтение и внимание, три помощника ординатора, врачи-практиканты, тесная стайка студентов-кураторов. И вот умирающий, выхваченный из бездны, возвращается к жизни, начинает ровно дышать, открывает, отвезенный в палату, ещё полные муки глаза.

Чудо, богослуженье какое-то, и впоследствии он опишет это зрелище именно так:

«И он поехал по скользкому паркету лапами, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в черных перчатках. В куколе оказался и тятнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырёхугольный на блестящей ноге...»

И самая клиника для душевнобольных приобретает под его волшебным пером что-то таинственное, замечательное, с мягким светом святого:

«Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы...»

И все-таки душа его страдает, ему тяжело. Какая-то заминка приключается с ним. Словно что-то дыбится в нем, протестует, подсказывает, что это не то. Слишком мрачно, слиш-

ком темно, он к этому не привык. Хочется света, ласки, тепла и добра, иначе, как будто пронесится в потрясенной душе, бросишь всё к чертовой матери и сбежишь неизвестно куда.

На помощь приходят события, и потрясение слабеет, слабеет, делается почти неприметным, так что о том, что оно все-таки было, можно только догадываться по слабым, едва различимым следам.

В ответ на студенческие волнения, связанные со смертью Толстого, Совет министров, во главе которого высится Петр Аркадьич Столыпин, душитель крестьянской общины, опрометчиво упраздняет, в январе 1911, университетскую автономию, студенческие сходки в здании университета запрещены. В ответ, в качестве веского возражения, первого февраля начинается забастовка студентов. Занятия в университете почти прекращаются. Лишь немногие юноши жаждут продолжения лекций и добиваются разрешения профессорам читать даже в том случае, если в аудитории присутствует хотя бы один студент. Жалкое положение! И забастовка, и эта нищенская обстановка учения такому человеку, каким был Миша Булгаков, равно не по душе. Может быть, он даже и рад, что можно остановиться, подумать о чем-то, что-то решить. Из нашего поля зрения он исчезает. О любительских спектаклях не слышать даже летом на даче, а это уже ни на что не похоже, согласитесь со мной. Он точно замер, точно вкус ко всему потерял.

В июне приезжает из Саратова Тася. В этом году она оканчивает гимназию, учиться дальше ей хочется в городе Киеве, однако отец запрещает, считая, что прежде один год она должна поработать в должности классной дамы в одном из училищ и только после этого испытания возвратиться к учебе. Отец, разумеется, прав, и она, непокорная, на этот раз покоряется воле отца. По этой причине их свидание в городе Киеве кратко, и на этот раз очарование прогулок вдвоем и быстрого шепота перед тем как расстаться на одну ночь до утра разрушается внезапно поднявшимся вихрем грозных, таинственных и невероятных событий.

Пожалуй, начало этих событий им не удастся приметить. Что-то с трудом долетает до их открытых только друг для друга ушей, что именно в городе Киеве открывается грандиозный памятник царю Александру Освободителю, что по этому редкому случаю в городе Киеве намечаются какие-то особенного размаха празднества и торжества и что на эти празднества и торжества пожалует царь Николай, которого втихомолку среди молодежи именуют Кровавым, а с ним пожалуют все министры, множество знатных гостей и, конечно, Столыпин, первый министр и министр внутренних дел, по должности руководитель полицейского сыска.

Может быть, и слушок-то о празднествах и торжествах проникает в их уши именно потому, что в городе Киеве что-то слишком много говорят о Столыпине, причем говорят какие-то невероятные и страшные вещи. Прежде всего говорят, что его песенка спета и что он будет отставлен, чуть не в ближайшие дни, мол, Кровавый-то шибко им не доволен. Уверяют очень авторитетно, что и отставлен он будет здесь же, в городе Киеве, как только закончатся все эти празднества и торжества по поводу освободительной миссии, которая хоть и освободила, однако освободила только наполовину. На возражения, что такого не может быть, что по крайней мере государь император хотя бы помедлит, соблюдая приличия, отвечают, что у государя императора именно таков нрав: отправляет в отставку как-нибудь так, что становится особенно скверно и больно. Однако находятся также и те, кто напрочь отвергает отставку, поскольку им абсолютно точно известно, что именно в городе Киеве этот Столыпин, все-таки, что ни говорите, душитель крестьянской общины, известный палач, изобретатель отвратительных троек военно-полевого суда, будет убит. Непременно, непременно, это уж решено. Где решено? Там решено, то есть где надо, а где там и где надо не знает никто.

В самом деле, события следуют странные. Особый вагон доставляет душителя крестьянской общины и палача в город Киев двадцать восьмого августа. Он, как водится, появляется в открытых дверях, готовый к почетному караулу и депутации заслуженных горожан. Дует ветер. Черный перрон блестит от дождя. На перроне ни караула, ни депутации, ни охраны, точно в

воду канули все, точно нынче чума. Он озирается и в сопровождении капитана, который, один-одинешенек, денно и ночью охраняет его, выступает на привокзальную площадь, подозревая, что всё положенное для встречи первого министра страны изготовлено там. Не изготовлено ничего. Даже экипажа для его персоны не подано на привокзальную площадь. Первому министру страны приходится взять простого извозчика и на извозчике с поднятым верхом катить к дому генерал-губернатора, где для него приготовлены апартаменты. Разве это не странно? Странно, странно! Да ещё как! Город Киев затаивается и ждет: уж что-то да будет, поверьте, уж так бабахнет, что не останется даже мокрого места.

Однако пока не бабахает.

На другой день к тому же перрону медленно втягивается царский состав. На перроне кипят министры и киевские тузы. В толпе министров высится крупная фигура Столыпина, ненужно и одиноко. На подножке вагона появляется маленький царь. Его приветствуют в полном согласии с этикетом.

Однако, однако... Почему-то Столыпин, все-таки первый министр, не подходит к царю, а царь не замечает Столыпина и не спрашивает о нем. Разве это возможно? Ведь это все приличия побоку, ведь это его первый министр! Как же он без него? А вот так: стало быть, тут что-то есть. Помяните мое слово, теперь непременно бабахнет, в куски разнесет.

Однако опять не бабахает.

Торжества катятся по утвержденной свыше программе. Маленький царь сопровождает крестный ход по улицам города Киева. Кругом всё в трех цветах: белом, синем и красном. Толпа, оттесненная на тротуары вечно хамской полицией, приветствует, размахивает флажками, кричит, но без особенной ярости, так просто, надо кричать, вот и кричит. А Столыпин-то, такого большого, громоздкого, опять не видать. Далее молебен в Софии, открытие памятника, гулянье, маневры за городом, оркестр, шагом марш и ура.

Первого сентября дают прекрасную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», выбор удачный. В театр не пройти. У всех именные билеты. Министры, тузы. Несколько рядов, тоже именные билеты, для самых надежных чинов охранного отделения города Киева. Царь в ложе. Столыпин в кресле, в первом ряду, в ложу его не зовут. Первый акт проходит с громадным успехом: даже министры и киевские тузы попадают под обаяние музыки. Проходит с успехом второй. Второй антракт тянется особенно долго. Царь уходит из ложи. Столыпин в сверкающем белом мундире, вся грудь в орденах. Стоит, опершись рукой на барьер, за которым зияет оркестровая яма. С ним беседует военный министр. Министр двора бегаёт окулярами бинокля по ложам. Проходом из рядов, отведенных для охранного отделения, идет во фраке, в белом пластроне молодой человек. Дуло браунинга внезапно чернеет в его правой руке. Шагов с трех он дважды стреляет в Столыпина, поворачивается спокойно спиной и также спокойно начинает от него уходить. Столыпин бледнеет, оглядывает мундир. На белом сукне крохотная дырка, начинает краснеть. Он сам пробует стянуть мундир за рукав, тянет, тянет и опускается в кресло. Его уносят. Убийцу хватают и бьют. Охранке едва удалось вырвать его из рук взбешенных тузов.

Не бабахнуло. Все-таки открыли пальбу, а Столыпин-то не убит, нет, не убит. Одна пуля в правую руку, другая ударила в орден, ушла рикошетом в живот и застряла в поясничной кости. Может, и выживет, медики говорят. Сам как будто сказал, мол, на этот раз, кажется, выскочу, что-то вроде того. Любопытство ужасное. Судачат кругом: умрет – не умрет.

Михаил напуган, не за Столыпина, бог с ним, напуган за бледную Тасю. Он уговаривает её, чуть не приказывает немедленно отправляться домой. Она уезжает.

Странности продолжают. На другой день Столыпину становится хуже, а что царь? А царь ничего, царь отправляется на маневры. У Столыпина начинается лихорадка. Царь заглядывает на минутку в больницу, но не заходит к больному, потом говорит, будто жена больного не впустила его. Помилуйте, разве кто-то может царя не впустить? У Столыпина признаки

общего заражения. Царь уезжает: нужно освятить ещё один монастырь, дело богоугодное, промедлению не подлежит. На перроне просит Коковцова быть первым министром. Это у него манера такая: просит занять должность, просит должность оставить, вежливый, воспитанный человек. Столыпин умирает вечером пятого сентября. Девятого сентября на кладбище лавры его опускают в могилу.

Странно? Странно. Без сомнения, от начала до конца всё это странно. Однако абсолютно непонятно другое. Убит первый министр, второй человек в государстве, великий реформатор, как его кое-кто уже впопыхах окрестил, убит преступной рукой. И что же Россия? Менее года назад вся Россия была в трауре, когда умер Толстой, вся Россия переживала утрату, как будто ушел самый близкий, самый дорогой для неё человек. А тут ничего. Любопытство. Пересуды. Догадки. Левые рады, впрочем, это понятно, ведь это им изобретенные троечки вешают их. Правые по-прежнему с негодованием отмечают всё, что было сделано им. Октябристы и многие из кадетов отзываются о его смерти сочувственно. Милюков остается непримирим. Пешехонов свою статью, помещенную в «Русском богатстве», с вызовом называет:

«Не добром помянут».

Голова, конечно, кругом идет. Михаил растерян, Михаил размышляет. Михаилу не с кем слова сказать. Тася уехала. Милая Тася, милая Тася...

Ах, что бы ни думали по этому поводу, чтобы ни говорили, но каждому Мастеру просто необходима своя Маргарита!

Он кое-как дотягивает до Рождества. Тут счастливый случай ему улыбается широчайшей улыбкой: бабушка Таси, Елизавета свет Николаевна, выражает желание съездить в Саратов, однако же возраст почтенный, недуги, дальность пути... Что вы, что вы, я же могу вас проводить! С удовольствием! С величайшим, надо сказать! Он подхватывает старую женщину и действительно благополучно доставляет в Саратов. Гремит Рождество! Елка смеется всеми цветами огней! Танцуют, танцуют! Он же с Тасей танцует немного: большей частью они очень смиренно сидят в уголке. Он скупно говорит о себе. Она болтает без умолку: В училище девушки в два раза больше и толще меня. Преподаватель закона Божьего спрашивает однажды: «Где ваша классная дама?» «Вот она», – отвечают. «Ну, вы скажете! Ха-ха-ха!» Можешь представить, домой совсем без голоса прихожу.

Он представляет. Она совершенная копия Наташи Ростовской. Тонюсенькая, непосредственная, живая, вся в вечном движении, язык так и трещит, весела и беспечна, своенравна и непослушна, так что отец не в состоянии ей что-нибудь возразить, всё равно по-своему делает, на каток или в театр убежит, непоседлива, неглупа, остра на язык, безалаберна, валяется на диване, книжки читает, платье валяется на полу, вскочила, куда-то бежит, одевается просто, музыку обожает, играет сама.

Отец, Николай Николаевич, из старинной дворянской фамилии, служил податным инспектором в Екатеринославе, выслужился, получил должность управляющего казенной палатой в Омске, затем вот в Саратове, действительный статский советник, то бишь генерал, человек образованный и широкий, во время съездов податных инспекторов без исключения всех приглашает к себе, человек сто садится за стол, в доме бонна, горничная, кухарка, не чопорно, не натянуто, однако достаток большой, ясное дело, когда генерал, как достатку не быть, генералы, право, прямо так и рождены для достатка.

Однако Рождество мимолетно. Уезжает он в город Киев, домой. Киснет. Чрезвычайно, чрезмерно. Места нигде не находит себе. Не представляет, что делать, взяться за что. Всё без исключения бредет вкривь и вкось, выпадает из рук. Не готов, не готов к испытаниям, не умеет переносить. Из этого свойства натуры вытекает само собой, что, пребывая в сквернейшем расположении духа, экзаменов он в 1912 году не желает сдавать, так что учеба в этом году пропадает совсем.

Летом он пулей мчится в Саратов, уже без предложения, то есть без бабушки, хотя бабушка хоть и больна, но довольно жива. В августе они вместе с Тасей объявляются в городе Киеве. Тася поступает на историко-филологические курсы, впрочем, мало известно зачем, даже на романо-германское отделение, точно другие отделения уже и не для неё. Снимает комнатку для уединенных занятий, однако учиться, тем более заниматься уединенно ей решительно некогда, она большей частью гуляет, и Михаил с величайшим усердием помогает ей в этом очень приятном, а все-таки безобразном занятии. Учиться, учиться ей надлежит, не пожалеть бы потом. Однако они ещё молоды, очень, здравый смысл не для них. Они не расстанутся, почти. Она понемногу капризничает:

– Как хочешь, собака у вас, так я к тебе через двор не пойду!

Он великодушен, беспечен, женская натура ещё абсолютно не понятна ему:

– Ну, звони с улицы, отопру.

Они бродят по улицам великолепного города Киева, беспрестанно ходят в театр, слушают вечного «Фауста», сторонятся знакомых, родных, усердно шепчутся о таких пустяках, о которых не стоит упоминать, да и кто в таком состоянии сам пустяков не шептал? Неизвестно, понятно ли им, что бы всё это могло означать, однако понятно решительно всем остальным. У него уже начинает кружиться голова от запаха пудры, духов, теперь уже навсегда. Диагноз уже безошибочный. И однажды, день прекрасный, солнце, мороз, Варвара Михайловна решается призвать беспечную Тасю к себе. Опытная женщина, вдова, возраставшая и воспитавшая семерых вот таких же детей, просит ещё и не женщину, у которой никакого опыта нет:

– Не женись, рано ему.

Просьба законная, совет благоразумен и крайне необходим, но что за толк давать советы влюбленным, у которых кружится голова от запаха пудры, духов. Никакого.

Они снова шушукуются, в чем-то убеждают друг друга, смеются и объявляют, что порешили жениться. Шествует месяц апрель, 1913 год.

Варвара Михайловна принимает известие сдержанно. Тихий ужас овладевает родней, с его и с её стороны. Безумие! Черт знает что! Студент! Двадцать два года! Два курса! А та-то, та-то! Молоденькая! Почти гимназистка! Да как же, да что же они?

Им хоть бы что. Он беспечен, как и она. Оживает, становится жизнерадостным и веселым, как прежде. В голове его так и бурлят блестящие выдумки. Так и сыплются безобидные шутки и беззаботные розыгрыши. Собственная свадьба представляется ему водевилем, и он в самом деле стремительно набрасывает один водевиль, за ним следом тотчас второй. Первый носит латинское название «Времена меняются» с обширным подзаголовком «или что вышло из того, который женился, и из другого, который учился» Действующими лицами выступают сам автор и Костя Булгаков, двоюродный брат. Зато во втором, «С миру по нитке – голому шиш», мечется вся большая родня, обремененная единственной мыслью, как с возможными удобствами разместить молодую чету, однако каждый раз на общем семейном совете решают, что Мише и Тасе именно это не подойдет, не подойдет. Участвуют: Бабушка, Доброжелательница солидная, Доброжелательница ехидная, просто Доброжелательница, Хор молодых доброжелателей, братья, сестры, друзья. Бабушка восклицает:

– Но где же они будут жить?

Доброжелательница ей отвечает:

– Жить они вполне, свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике.

Конечно, то простая шутка, но, к сожалению, не без привкуса горечи. Места для молодой четы на Андреевском спуске, 13 действительно не обнаруживается, как ни крути. Семь комнат. Семеро их. Тася восьмая. Комнатки крохотные, почти все проходные, во внимание и это необходимо принять. Впервые герой мой сталкивается с квартирным вопросом, самым скверным и самым унижительным среди прочих житейских вопросов, которые осаждают его и

многих других интеллигентных и даже многих неинтеллигентных людей, и ещё множество раз ему предстоит страдать от того, что этот проклятый вопрос абсолютно не разрешим.

А пока он беспечно готовится к свадьбе, совершенно влюбленный, что называется, по уши, он сияет, он счастлив, его будущее представляется ему в самом блистательном виде.

Он с головой погружается в предсвадебных хлопотах, и, право, есть о чем хлопотать. История умалчивает, в каком наряде он лично пошел под венец. Надо думать, что у него всё же имеется пристойный черный костюм, привычка иметь пристойный костюм у него преобладает всю его жизнь. Что касается Таси, то у Таси почему-то отсутствует такая важная вещь, как фата, впрочем, отсутствует и подвенечное платье. Какие-то деньги ей заблаговременно присылают из дома, отец у неё все-таки генерал, однако она обладает неизъяснимой способностью тотчас разбрасывать деньги, как только они попадают к ней в руки, и самое загадочное всегда заключается в том, что никто не может понять, она тоже, в каком именно направлении брошены деньги. Евгения Викторовна, первая теща, приезжает впопыхах из Саратова и хватается за голову: самая подходящая к случаю вещь гардероба – полотняная юбка, пущенная в широкую складку, прямо невозможно сказать, в чем она пробегала зиму, в мороз? Естественно, что в одной юбке венчаться нельзя. Евгения Викторовна в пожарном порядке приобретает какую-то блузку. Положение спасено. Венчание все-таки состоится. Венчает, понятное дело, отец Александр.

Под венцом оба отчего-то ужасно хохочут. Тасе особенно нравится то, что из церкви едут в карете. Шаферы из самых близких друзей: Боря Богданов, Костя Булгаков, Платон и Сашка Гдешинские. Как положено в таких ответственных случаях, устраивается обед, но и на обед приглашаются очень немногие, только самые близкие, большей частью родня.

Празднуют, веселятся. Начинается новая жизнь, вся в алмазах, в блеске огней. Несколько смущает всё тот же квартирный вопрос, но вскоре и квартирный вопрос разрешается совершенно удачно, даже великолепно, по правде сказать.

Несколько выше, на том же прекрасном Андреевском спуске, только на другой стороне, в доме под номером 38, проживает, тоже во двор на первом, а на улицу во втором этаже, Иван Павлович Воскресенский, друг семьи, доктор, воевавший в Маньчжурии. Через лестницу от его великолепной квартиры находится отдельная угловая просторная комната, неправильной формы, поскольку на ней закругляется угол фасада. Из окна на улицу видна церковь Андреевская, а из двух боковых церковь Десятинная. Тут же у самого тротуара афишная тумба, и на тумбе каждое утро меняют афиши, так что, едва восстав от сна, можно знать, что именно у Соловцова, что в опере, что в цирке, что в варьете.

На молодоженов сама комната и весь этот дом производят впечатление праздничное, словно это не дом, а полный дворец, набитый доверху какой-то таинственной магией. Дверь подъезда тихая, важная. Парадная лестница. Пол площадки застелен плитами мрамора. Направо дверь, ведущая в квартиру доктора Воскресенского, в которой молодые люди приняты совершенно по-родственному и бывают чуть ли не чаще, чем в своей собственной, угловой и обставленной скудно, по правде сказать, не на что молодым обставлять.

«В огромной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечеть, и в каждой из них важные обольстительные вещи...»

Вещи действительно удивительные, фантастически странные, вывезенные с Востока образованным доктором, любящим в обстановке изящество, своеобразие, тонкость, чтобы жизнь в этих комнатах как можно приятней текла.

Сам доктор Воскресенский ещё более обольстительный, замечательный человек, один из тех скромных, прекрасно образованных и воспитанных русских врачей, которые не только не дерут неприличных денег с бедных больных, но ещё видят в том свой посильный неписанный долг, чтобы вместе с рецептом оставить кое-что на лекарства.

В такого человека нельзя не влюбиться, и молодые люди влюбляются, восхищаются им и большую часть своего свободного времени толкуются в его гостеприимной холостяцкой квартире. И правильно делают: нет ничего полезней и благотворней для будущего молодого врача, как неторопливая дружеская беседа с благородным, умнейшим, прекрасно воспитанным и прекрасно образованным человеком, а в будущем и коллегой. К тому же, лишь живые примеры рождают в нас плодотворную мысль о служении.

Одним словом, жизнь налаживается прекрасно, как и должно оно быть по всем законам природы. Он возвращается в университет более серьезным и сдержанным, уже ощущая ответственность перед собой, перед новой семьей и перед теми, кого вскоре станет лечить, непременно так же старательно, честно и благородно, как Воскресенский. Ни одна лекция отныне не пропускается, все экзамены сдаются отлично и в срок. Обедом кормит Варвара Михайловна. Столовая в доме номер 13 оживает то беспечным заразительным смехом, то новыми перепалками Варвары Михайловны с сыном. Дело в том, что на все её замечания сын отвечает уже не только ядовитейшего свойства иронией, от которой так и хочется встать на дыбы, как случалось между ними и прежде, но и принимается опровергать все общепринятые авторитеты. Подобные суждения о разного рода проклятых вопросах приводят Варвару Михайловну в ужас и заставляют её трепетать, какое-то будущее с такими невозможными взглядами ждет её старшего странного сына?

После обеда он частенько ходит в библиотеку, на конце Крещатика, возле Купеческого просторного сада, открылась недавно, читальный зал превосходный, работает легко. Тасю берет непременно с собой. И Тася терпеливо читает что ни попало, пока он серьезно штудировать свои медицинские фолианты о всяких там бронхитах и грыжах.

Вечера полны развлечений. Возобновляются любительские спектакли, в которых он по-прежнему прекрасно исполняет первые роли. Оказывается, что Тася театр и оперу обожает ничуть не меньше, чем он, и они оба не пропускают премьер, не пропускают концертов симфонического оркестра, которые с весны до осени устраиваются в том же Купеческом просторном саду, слушают «Кармен», «Гугенотов», «Севильского цирюльника» с итальянцами и множество раз? «Аиду» и «Фауста», эти две оперы прежде всего, и когда он приходит в солнечное расположение духа, он напевает:

- Милая Аида... Рая созданье...
- На земле весь род людской...
- Я за сестру тебя молю...

Устраиваются даже денежные дела, которые, как известно, ещё труднее устроить, чем дьявольски сложный квартирный вопрос. Михаил, попутно с университетскими лекциями и усердными трудами в библиотеке, успевает давать кой какие уроки и получает за них кой какое вознаграждение. Тасе пятьдесят рублей ежемесячно шлют из Саратова. Что-то около пятнадцати рублей пожирает квартирная плата. Все остающиеся ресурсы тратятся молодоженами, причем абсолютно мгновенно и с одинаковой безоглядной беспечностью. Завтракают в кафе на углу Фундуклеевской, ужинают в ресторане «Ротце», швыряют последний рубль, нет, не на извозчика, это мещанство, они непременно берут лихача, оттого что на дутиках, что приводит юную Тасю в телячий восторг. Или вдруг возникает идея:

- Так хочется прокатиться в авто!

Идея тотчас претворяется в жизнь, сопровождаясь неизменным согласием с его стороны:

- Так в чем же дело? Поедем!

Варвара Михайловна, на правах уже не только матери, но и свекрови, исправно бранит парочку за легкомыслие, чем дает повод старшему сыну опровергнуть ещё один застрявший в её закоснелом сознании предрассудок. Из Саратова тоже громяхают далеко не похвальные письма, которые тоже в мировоззрении парочки не оставляют никакого следа. Бесшабашный, бесшабашный народ!

Однако кончаются деньги. Так что ж! Кольца и знаменитая Тасина цепь несутся в ломбард. Суммы, выданные в ломбарде под этот залог, незамедлительно постигает та же плачевная участь: суммы горят, как в огне.

Эти деньги тоже кончаются. Так что ж! Парочка всюду ходит пешком, а на ужин в магазине «Лизель» покупают полкило колбасы, из которой и составляется питательный ужин, не роскошный, но сытный, так о чем горевать?

Кроме того, Михаил всё чаще погружается в какие-то безмолвные, таинственные раздумья и время от времени норовит посидеть за письменным столом ночью, пользуясь лампой, с зеленым, естественно, козырьком, и что-то быстро, неразборчиво пишет.

С какой целью? Что именно пишет? В этом месте опускается плотная, непроницаемая завеса, и вопросы не находят ответов. Одна сестра Надя смутно припомнит много позднее:

«Я помню, что очень давно (в 1912-1913), когда Миша был ещё студентом, а я – первокурсницей курсисткой, он дал мне прочитать рассказ «Огненный змей» – об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время её приступа: его задушил (или сжег) вползший в его комнату змей (галлюцинация)...»

Таким образом выясняется, что на университетской скамье его внимание притягивают странные, причудливые, болезненные явления, которые порождаются патологическими воздействиями на мозг. Выясняется также, что исподволь зреют иные мечты, и однажды той же Наде он говорит:

– Вот увидишь, я буду писателем.

Неизвестно, на каком фундаменте покоится это пророчество. Возможно, тут серьезную роль, как обычно, играют живые примеры: Чехов был врач, Вересаев тоже был врач, кажется, бросил теперь. Натурально, пока что всё это только мечты, затаенные, смутные, не без многих сомнений и ещё больших тревог. И в общем можно сказать, подводя некий итог, что в этот медовый безоблачный год это были единственные тревоги, не терзавшие даже, а лишь время от времени смущавшие абсолютно счастливую душу. Во всем прочем летит и смеется и кружится райская жизнь, и он с полным правом напишет позднее:

«Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно: зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой – не холодный, не жесткий – крупный, ласковый снег...»

И это было бы совершенно естественно! Я убежден, что никакой другой жизни и быть не должно!

Глава десятая

И вот она роевая общая жизнь

Да он и не может думать иначе. Сданы очередные курсовые экзамены, лето, солнце на улицах. Михаил с Тасей едут в Саратов. Теплая, сердечная встреча с родными. Разве всё это не счастье, не благодать, которые просто-напросто должны длиться вечно, во все времена?

«И вышло совсем наоборот. Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история...»

Обрушивается мировая война.

Если образованный читатель решит, что молодой человек, которому только что стукнуло двадцать три года и который уже более года женат, хоть что-нибудь определенное знает о противоборствующих союзах могущественных европейских держав, об избытках у них капиталов, которые им некуда поместить, о неравномерном развитии, которое извечно питает преступную идею мирового господства, о планах передела уже почти поделенного мира и о многом, многом другом, это будет большим заблуждением, грубейшей ошибкой с его стороны, и больше ничем. Он ничегошеньки не знает о такого рода важных вещах, да и неоткуда ему о них узнавать.

Он знает лишь то, что знают все, и верит лишь в то, во что верят все. То есть он знает, как всякий русский, что немец наш исторический враг, который уже семь или восемь столетий норовит нас истребить, и мы все эти семь или восемь столетий большой кровью отбиваемся от него. Он читает в газетах, что в захолустном городишке Сараеве безвестный студент, протестуя против политики оккупации и онемечиванья Балкан, стреляет из обыкновенного револьвера в австрийского эрцгерцога Фердинанда. После этого выстрела, отнюдь не самого драматического, не самого значительного происшествия в тогдашней, да и всегдашней, европейской истории, неудержимо катится волна за волной, катится единственно потому, что покатиться готова давно. Австро-Венгрия, громадная, хоть и лоскутная держава в те времена, объявляет войну крохотной Сербии. Россия вступает за Сербию, связанная с ней договором, и объявляет мобилизацию. Австро-Венгрия тем не менее вторгается в Сербию, что для России означает войну. Австро-Венгрию поддерживает Германия, которая и является главным зачинщиком, опьяненным той самой идеей мирового господства. На сторону России не могут не встать Франция и Англия, тоже связанные с ней договорами, так называемые союзники, или Антанта. Из всего этого следует непреложно, что Россия ведет войну справедливую, что Россия в союзе с Францией и Англией значительно превосходит силы Германии, особенно Австро-Венгрии, которая ни в какие времена не озаряла свои боевые знамена огнями громких побед, и что по этим совокупным причинам победа России в этой довольно скоротечной и легкой войне несомненна, у России с немцами иначе не может и быть.

Исходя из таких знаний, нетрудно понять, что его нисколько не удивляет на первых порах, что газеты пророчат не только скоротечную и легкую, но и непременно без крови победу. Все официальные лица, все официальные речи так и пылают патриотизмом. Ненависть к немцам, заложенная кровавой историей, представляется несомненной. Нисколько не удивляет его, и тоже на первых порах, что в один день куда-то испаряется равнодушие, даже презрение к царю Николаю, что царя Николая ужасно все любят и готовы за него умереть. Он молод. У него опыта нет. Он принимает, как должное, что война существенным образом не меняет образа жизни в тылу: те же разговоры в знакомых домах и на улицах, те же вседневные хлопоты, кинематограф, театр, опера, «Фауст».

И действительно, на первых порах война для России складывается благоприятно. Общее благодушие несколько задевают только первые раненые, которых эшелонами вывозят с линии фронта в отдаленные города: в коричневых больничных халатах, с непривычными застывшими

серыми лицами, в белых бинтах, пропитанных запекшейся кровью, с замкнутыми, точно склеенными губами.

Но сострадание, милосердие ещё живо во многих сердцах. Частные лица устраивают госпитали повсюду, где только могут, интеллигентные женщины добровольно и совершенно бесплатно поступают в эти госпитали санитарками, сиделками, сестрами милосердия. Евгения Викторовна, теща, Тасина мать, организует такой госпиталь в Казенной палате, и не может быть ничего естественнее того, что Булгаков, медицинский студент четвертого курса, добровольно работает в госпитале, как не может быть ничего естественнее того, что вместе с ним, также по доброй воле, санитаркой трудится юная Тася и таскает в своих тонких, в своих хрупких, в своих почти подростковых руках тяжеленные ведра с водой.

К началу университетских занятий они возвращаются в Киев. Двигутся медленно, пропускают вперед эшелоны с войсками, которые идут один за другим. Из окна вагона впервые глазам его предстает роевая общая жизнь, о которой он когда-то узнал из романа Толстого. Одинаково остриженных под машинку, одинаково одетых мужчин перевозят в теплушках, в которых прежде, в уже легендарные мирные времена, перевозили только товары и скот, и эти мужчины как ни в чем не бывало выбегают с жестяными или медными чайниками, с закопченными котелками за кипятком. Кажется, что вся Россия сдвинулась с места и едет в одном направлении, с востока на запад, где грохочет что-то неведомое, смысл которого пока что невозможно понять. По окрестным деревням жестко и часто колотят в чугунную рельсу, скликая народ, подлежащий мобилизации и отправке на фронт. Крестьянские пузатые лошади подвозят к железной дороге на открытых телегах своих нагруженных пахарей. На станциях воют простоволосые бабы, надрывно режут гармоники, мобилизованные пляшут с пьяным свистом и с дикими криками. Что они? Как? Невозможно молодому интеллигентному человеку понять, однако он убежден тверже твердого, глубоко усвоив уроки Толстого, что судьба России отныне именно в этих корявых мужицких руках.

В городе Киеве он не обнаруживает никаких перемен. Всё те же занятия в университете и в клиниках, всё те же симфонические концерты в Купеческом просторном саду, всё те же гулянья по вечерам при свете электрических фонарей.

Одно только: вокруг него становится всё меньше друзей. Молодые бухгалтеры и молодые учителя получают эполеты боевых офицеров. Студентов освобождают от воинской повинности на время учебы, однако студенты рвутся в действующую армию добровольцами. Следом за ними в действующую армию рвется кой кто из последних классов гимназии, отчаянные, смелые, вольноопределяющиеся, а вскоре и прапорщики, сплошная интеллигенция весь младший командный состав, без опыта воинской службы, без понятий о тактике и стратегии, зато с горячим патриотическим чувством в юной груди.

Михаил Булгаков не может попасть на войну: дотошные медики в его организме находят какой-то изъян и от армейской службы по этой причине освобождают вчистую. Его друзьям везет куда больше. Один за другим, в длиннополых шинелях офицерского образца, в защитного цвета фуражках, они приходят прощаться, веселые, страшно довольные, что идут умирать за Россию, гордящиеся своими погонами прапорщиков.

Тут наружу понемногу начинает проступать ещё одна сторона роевой общей жизни. На фронт уходит всё лучшее, наиболее благородное, честное, горящее жаждой лучше пасть смертью храбрых на поле сражения, но победить исторического врага. И чем в большем количестве это лучшее уходит на фронт, тем явственнее проступает грязная пена, серая толпа обитателей, перед которыми бессильна даже война.

Каким-то обостренным, верхним чутьем они улавливают лазейки, благодаря которым можно не ходить на войну, и проскальзывают в эти лазейки с неуловимым проворством всех паразитов. Через друзей и знакомых они добывают освобождение от воинской службы: у кого плоскостопие, у кого геморрой. С величайшим энтузиазмом трудятся по снабжению армии

обмундированием, продовольствием и фуражом. Крадут всюду, где только возможно и даже, казалось бы, невозможно, непристойно украсть. Пьянствуют по ночам, шляются по известным притонам, так что проститутки дорожают в цене гораздо быстрее, чем хлеб, табак и вино, а уж это вернейшая мера, что и почем.

Предстоит уйти на фронт и Боре Богданову, стариннейшему, ещё по Первой гимназии, другу, на его свадьбе бывшему шафером, ныне горько влюбленному в Варю. Боря является на Андреевский спуск, дом 13, каждый без исключения день, приносит Варе дорогие букеты её любимых цветов и подолгу глядит на неё, тоже в длиннополой шинели офицерского образца, в фуражке защитного цвета и в башлыке, с каким-то страшно вытянувшимся, опрокинутым, непонятым лицом, молча поворачивается через плечо и так же молча уходит.

Наконец застенчивый Боря, вздохнув глубоко, делает официальное предложение. Варя отказывает ему наотрез. На другой день Боря приходит проститься, отчего-то сбивши усы. Все удивляются: как же, офицер без усов! Надя спрашивает серьезно:

– Это что?

Боря сурово молчит, и Михаил отвечает за него довольно игриво, а потому по-французски:

– Маленькая демонстрация.

Боря уходит, не появляется несколько дней и вдруг присылает записку, в которой просит сердечного друга Мишу зайти. Ничего особенного записка в себе не содержит. Такого рода записками им приходилось обмениваться и прежде. Сердечный друг Миша, разумеется, находит время к нему забежать и видит старого друга в постели. Они обмениваются незначущими словами. Сердечный друг хочет курить, но у него как нарочно кончились папиросы. Услыша, как он бранится сквозь зубы, Боря отзывается абсолютно спокойно:

– Ну, папиросы можешь взять у меня в кармане шинели.

Ничего проще этого предложения нет. Михаил поворачивается, шарит в кармане шинели, обнаруживает только копейку, говорит со смехом об этой находке, поворачивается к нему, и в этот самый момент глухо бухает выстрел из револьвера. Позднее он опишет и это:

«Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, и затем его нижняя челюсть стала двигаться, как будто он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение!..»

И присовокупит подробности жуткие, не истлевшие в памяти за несколько ещё более скверных, отвратительных лет:

«Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу...»

Так и видишь, как он стоит пораженный, парализованный над телом старинного школьного друга, молодого ещё человека, совершенно не в состоянии сообразить, что надо делать и в то же время зная уже, что решительно ничего теперь сделать нельзя, глядя во все ошарашенные глаза на дорогое обезображенное лицо, и все эти раздирающие душу подробности впечатляются в память, точно мозг его делает фотографический снимок в этот жутью наполненный, неповторимый момент.

На папиросной коробке, которая, как оказалось, лежит на столе, начертаны неизбежные в таком деле слова:

«В смерти моей никого не винить».

Все-таки следователь вызывает в свой прокуренный кабинет Михаила как единственного свидетеля самоубийства. О причинах самоубийства бродят темные слухи. Отец уверяет, что Боря каким-то образом не поладил с начальником. Брат будто бы припоминает, что кто-то

обругал Борю трусом. Многие шепчутся, что причину-то надо искать в неразделенной любви, и кивают таинственно на Андреевский спуск.

Всё может быть. Вдруг могли скреститься все эти причины и вызвать в застенчивой душе интеллигентного юноши катастрофическое истощение сил. Какой смысл нам гадать? Прискорбней всего эта душевная слабость, которой так поразительно много в интеллигентном молодом поколении начала двадцатого века, а ведь это молодое интеллигентное поколение ещё слишком много тяжелейших, непереносимейших испытаний неотвратимо ждет впереди.

Что-то происходит и с Михаилом Булгаковым. Он становится задумчивей, сдержанней, строже. Точно первая легкая тень принакрыла лицо и на переносе обозначились первые складки, пока что слегка. Может быть, в душе его возникает чувство ошибки, вины. Может быть, уже шевелится потребность описать каким-то образом то, что несется какой-то постыдной, отвратительной чредой и кривляется и глумится у него на глазах: этого слабодушного мальчика с неестественно дрогнувшим ртом и рядом с ним эту жирную сволочь, которая непристойно и нагло окопалась в глубоком тылу. По временам ему кажется даже, что обо всем этом он бы хорошо написал. Я вижу, как иногда он точно бы застывает на месте и с ненавистью цедит сквозь зубы:

– Ну, погодите, ужо...

Однако едва ли ещё сознает, кому и чего надо годить и что означает это предупреждающее ужо.

Положение на фронте между тем ухудшается. Всё чаще маршевые роты устало шаркают по мощеным улицам города Киева, скрежещут кованые колеса оружейных лафетов. На фронт уходят всё новые пополнения, а с фронта поступают известия о наступлениях, перегруппировках, страшных потерях и отступлениях. Солдатам не хватает винтовок, патронов. Расползаются скользкие слухи о том, что пушек у нас меньше раза в полтора или два, чем у немца, и что наши пушки нередко подолгу молчат, оттого что, видите ли, вовремя не подвозят снарядов, которых как будто вовремя не запасли и в тылу, понимаете ли, сунулись в войну, а не запасли, головотяпы или предатели? Шинели начинают шить из хлопчатой бумаги, для тепла подбивая их ватой. На улицах трясутся калеки без рук и без ног. Любовь к царю, которая та ярко, так повсеместно вспыхнула в начале войны, как будто сняло рукой. В его правительство уже не верит никто. Ползут ещё более скользкие слухи, что министры продажны, без исключения все, и предатель сам военный министр. Верховное командование бездарно всё, как один, не умеют шагу ступить, отдать ясный и дельный приказ, генералы все, как один, дураки. Шепчутся о Распутине, передают друг другу невероятные вещи. А головка всего шпионажа гнездится будто бы в Царском Селе. Об измене в тылу и на фронте говорят как о деле несомненном и абсолютно доказанном. Война идет всего год, а уже считается несомненно проигранной, хотя никаких оснований как будто для такого суждения пока ещё нет.

И похоже, ах, как похоже на то! В августе месяце, лето к концу, резко ухудшается наше положение на участке фронта в Галиции. Идут бои тяжелые, известия о потерях поступают от раненых, да по количеству раненых видно и так. В воздухе точно разливается первый дымок надвигающейся, видимых причине не имеющей катастрофы. Из самых достоверных источников передают, что возможно оставление несравненного города Киева, отвод потрепанных русских дивизий за Днепр. Город Киев переполняется беженцами с западных территорий, но под влиянием всех этих предположений и слухов часть киевлян тоже становится беженцами, вливается в этот грандиозный поток несчастных грязных оборванных голодных людей и движется на восток, на восток, неся в руках или катя на тележках скудное свое достояние, какое удалось унести. Испуганная Варвара Михайловна тоже отправляет своих младших детей в Карачев к сестре. Просторно становится на Андреевском спуске, слишком просторно...

Эх!.. Эх!..

Непрерывно задумаешься! Сделаешься суровой и строже! Чувство долга, чувство ответственности вырабатывается в сознании молодого интеллигентного человека, перешедшего на последний курс медицинского отделения. Факультеты переводят в Саратов. Однако не трогают медиков: всё равно медиков со дня на день на фронт.

И молодой интеллигентный человек учится так, как никогда ещё не учился. В его зачетной книжке идет одна и та же однообразная запись: «весьма удовлетворительно», то есть отлично, и сам профессор Яновский, Феофил Гаврилович, знаменитейший терапевт, его любимейший педагог и кумир этих лет, выводит своим микробьим стремительным почерком «весьма удовлетворительно», как и другие, но одна эта запись стократ дороже всех остальных.

Настает 1916 год. Государственные экзамены, ученью конец. В мирные годы государственные экзамены были серьезнейшим испытанием, включали в себя двадцать два сложнейших предмета и в общей сложности длились с июня по сентябрь. Война вмешалась и в них. Время государственных экзаменов переносится на февраль-март, число необходимых для сдачи предметов сокращается почти что на половину.

«Весьма удовлетворительно» выпускнику Михаилу Булгакову ставят тринадцать раз. Государственная комиссия присуждает ему степень лекаря с отличием. Пределов его радости нет, и как же его не понять: он одерживает первую в своей жизни победу, и как великолепно, как блестяща она! Именно так решительно всё должно быть у него! И я не нахожу ничего предосудительного в том, что совместно с другими выпускниками медицинского отделения он пьет всю ночь напролет, поднимая и принимая за здравные тосты, и делается пьян как сапожник, единственный в своей жизни, как утверждают свидетели, раз. Уже под самое утро он приходит домой, если так про его неверную походку можно сказать. Обеспокоенная Тася не ложится всю ночь и преданно ждет. Он стоит перед ней весь счастливый, помятый, улыбается скверной пьяной улыбкой и заплетающимся языком говорит:

– Знаешь, я пьян...

Она суетится, пытается его уложить, однако же он, пошатываясь, отстраняет её, изрекая:

– Нет, лучше пойдем погуляем...

Она послушно идет рядом с ним. Они медленно поднимаются вверх по Владимирской. Наступает рассвет.

Между тем выдача дипломов затягивается: сохраняется давняя привычка дипломы выдавать в сентябре. Он, как и многие, ждать не желает и добровольцем идет служить в Красный крест. Его без промедления определяют в киевский госпиталь, переполненный ранеными. Тася в тот же госпиталь поступает сестрой милосердия, чтобы находиться всегда рядом с ним.

Необходимо в этом месте особенно подчеркнуть, что Михаилу Булгакову самым серьезным образом повезло с этим Красным крестом. Каким именно? Очень простым. Дурная слава идет по армии о военных врачах. Военные врачи слишком часто оказываются бессовестными, бесчеловечными, словно тупыми, в лучшем случае равнодушными к страданиям раненых, пьют отпущенный спирт и безобразят весьма отвратительно в прифронтовой полосе. В Красный же крест вступают одни добровольцы. То есть заранее люди только гуманнейшие, благороднейшие, честнейшие, интеллигентные люди, проще сказать. И хотя Красный крест снабжается в десятки раз хуже, чем военные госпитали, дело в Красном кресте поставлено в десятки раз лучше, так что врачи Красного креста имеют полное право называться совестью военных врачей. Многие именно так и относятся к ним. Таким образом, герой мой оказывается в прекрасной компании и получает все возможности развернуть свои самые лучшие свойства.

Тем более, что уже через месяц госпиталь поспешно сворачивают и в спешном порядке передвигают к самой линии фронта, в Каменец-Подольский, который отстоит в каких-нибудь пятидесяти верстах от окопов. Поговаривают, что готовится большое, чуть не решающее для всего хода войны наступление.

К появлению на линии фронта он готовится довольно смешно. В чемодан он помещает немного белья и доверху набивает его медицинскими фолиантами, поскольку к миссии врача-вателя относится чрезвычайно серьезно, а на память надеется мало. В особенности же его беспокоит удивительно моложавая внешность. Он всё ещё совершенный мальчик на вид. Рыжеватая щетина, несмотря на двадцать пять лет, едва пробивается на подбородке. Гладкие щеки едва покрыты нежным пушком. Длинные руки, длинные ноги, худоба Дон-Кихота, застенчивая сутуловатость типичного интеллигентного юноши. Какой с такой внешностью может быть фронт? Да на фронте в тот факт, что он уже доктор, решительно не поверит никто!

Он размышляет, что бы придумать? Хорошо подошли бы очки в тяжелой оправе, однако глаза у него абсолютно здоровы. Тогда он пробует выработать особенную, внушающую уважение походку, то есть сдерживает порывистые движения, перестает бегать бегом, учится двигаться с внушительной важностью и пытается говорить размеренно-веско.

Кроме того, в какой-то пустейшей книжонке, которые он всё ещё имеет слабость листать, он выуживает забавнейшую историю про одного английского джентльмена. Этого английского джентльмена будто бы занесло на необитаемый остров, и его рассудок уже начинает мутиться от одиночества, так что, когда на остров прибыли люди, джентльмен принимает их за мираж и разряжает по ним весь барабан своего револьвера. При этом его находят гладчайшим образом выбритым, и на необитаемых островах английские джентльмены обязаны бриться изо дня в день, потому что и на необитаемых островах они уважают себя, представьте себе. В общем, ужасно похоже на дешевый рекламный проспект.

Тем не менее Михаила Булгакова восхищает этот гордый сын Альбиона. Подражая ему, он густо смазывает свои светлые волосы бриолином и расчесывает аккуратнейшим образом на пробор, а на дно чемодана, в добавление к фолиантам, погружает отличную бритву фирмы «Жилет», замыслив явиться на линию фронта в самом подтянутом, в самом представительном виде, который набавит ему хотя бы несколько лет.

Гладко выбритый, в шинели офицерского образца, в фуражке, с башлыком на плечах, он всовывает свой чемодан на повозку и отправляется в путь. Изредка он оборачивается назад: за спиной его во тьме ночи ещё долго сияет удивительный Владимирский крест.

Расставание не тревожит его. Он торопится исполнить свой долг. И весь киевский госпиталь ужасно спешит со своим сквернейшим обозом по разбитым дорогам войны, мимо станций, забитых военными эшелонами, мимо отрядов солдат, куда-то ведомых безусыми прапорщиками, лица которых не успевают обветриться и загореть.

Обоз у них несравненно худший, чем обозы военных госпиталей. Они тащатся полуголодные, обойденные милостью военных комендатур. Но, как ни странно, к месту своего назначения попадают в точно назначенный срок. Интеллигентные люди, только и стоит сказать ещё раз.

Наступление готовится исподволь. В феврале немцы набрасываются на французскую крепость Верден и утюжат её артиллерийским огнем так ожесточенно, с таким немецким упорством, что в конце концов битва за Верден обходится приблизительно в девятьсот тысяч только убитыми с обеих сторон. Перед лицом этой новой угрозы союзники ещё в первый раз пытаются согласовать свои действия. На помощь Вердену французы и англичане в июне или июле должны начать наступление на небольшой речке Сомме. Одновременно русский Западный фронт генерала Эверта, довольно способного тактика, должен начать широкое наступление на Вильну и затем на Берлин. В помощь ему развивает наступление Северный фронт генерала Куропаткина, человека бездарного, нещадно битого и перебитого на Японской войне. Сюда подходят резервы, сюда перебрасывается тяжелая артиллерия. Тем временем Юго-Западному фронту предлагается держаться пассивно и выступить только в случае успеха главного наступления. По этой причине Юго-Западному фронту не дают ни резервов, ни артиллерии, ни запаса

снарядов. На Юго-Западном фронте всего лишь переменили командование, и пятого апреля главнокомандующим назначается генерал от кавалерии Брусилов.

Генерал от кавалерии Брусилов не соглашается с решением Ставки. Он находит подготовленность и дух своих войск очень высоким и считает возможным наступление также и на своем направлении. Ставка дает разрешение, но по-прежнему не дает ни резервов, ни артиллерии, продолжая считать Юго-Западный фронт второстепенным, то есть не заслуживающим никакого внимания. Генерал от кавалерии Брусилов и этому рад и приступает к разработке наступательной операции по всему фронту.

Его настойчивость приходится как нельзя кстати. Австрийцы жестоко бьют итальянцев. Итальянцы бегут. Италия того и гляди будет разбита. В таком случае австрийцы через Ломбардию выйдут к французским границам и ударят по незащищенным тылам. Во Франции вполне понятная паника. Депеши, почти истерические, летят в Санкт-Петербург: спасайте, спасайте, спасайте! Спасением может быть только немедленно начатое наступление русских против австрийцев. Наступление не подготовлено, однако русский царь остается верен своим обязательствам, прямо в ущерб своим интересам и положению армии, и дает приказ наступать.

Двадцать второго мая Юго-Западный фронт вынужден начать наступление. Слава Богу, приблизительно в течение месяца генералу Брусилову, Алексею Алексеичу, в юности окончившему кавалерийскую школу, уже в возрасте шестидесяти трех лет, удается к этому времени разработать свою знаменитую операцию. Он проводит в жизнь блистательный план: наступление начинается на самом узком участке, однако всеми его корпусами, так что в бой одновременно вводится около шестисот тысяч русских солдат и почти тысяча восьмисот артиллерийских орудий.

Столь мощный, плотный, внезапный удар приносит мгновенный и невероятный успех: австрийцы бегут так, что их невозможно остановить, только пленными в течение нескольких дней теряют около сорока тысяч солдат, восемьдесят орудий и сто пятьдесят пулеметов. Брусилов не мешкая, тотчас после прорыва линии фронта, расширяет наступление по флангам и в глубину. Этим маневром достигается превосходство сил в два и более раз на каждом отдельном участке, что и само по себе не может не обеспечить блестящий успех. Юго-Западный фронт стремительно, как и положено, мчится на запад.

Госпиталь из Каменец-Подольска срочно перебрасывают в только что захваченные, разбитые, в дыму и пожарищах Черновцы. Раненых страшный поток. Подряд по многу часов молодежавый доктор Булгаков, двадцати пяти лет, делает ампутации: ноги, руки, широкий, уже властный разрез мягких тканей, мелкозубчатая хирургическая пила, длинный шов, ноги, руки, разрез, пила, шов, при этом бреется каждый день прекрасной бритвой «Жилет» и не забывает делать пробор, хотя зачем же пробор, его под белой шапочкой всё равно не видеть.

Тася приезжает к нему и стойчески держит то, что он должен в течение нескольких минут отпилить. Он так устает, что на отведенной квартире тотчас валится на постель и может только читать, однако утром снова бритва, пробор. В боях он, разумеется, участия не принимает и даже и выезжает к линии фронта. Он только беспрерывно слышит удары орудийной пальбы, далекие, глухие, тупые.

Но он не в силах не размышлять. Перед ним наконец непосредственно, в действии общее, роевое начало, та роевая общая жизнь, которой решаются судьбы всякой войны.

Что он видит? Он видит простых крестьянских парней, которые не хотят воевать. И это нежелание, конечно, понятно. Вырванные из глухих деревень, крестьянские парни не понимают ни цели, ни смысла войны и едва ли способны собственными усилиями понять, поскольку она не угрожает их деревне, их дому, детям, жене, она от них далеко-далеко.

Поразительно: среди солдат сплошная неграмотность, и когда Тася приезжает к нему и он встречает её на принадлежащем госпиталю автомобиле и солдатский патруль требует пропуск, а никакого пропуска на неё он, разумеется, не имеет, он с холодной дерзостью протягивает

патрулю медицинский рецепт, и солдаты беспрекословно пропускают её, увидев бумажку с печатью.

И этой неграмотной, непонимающей и мало способной к пониманию отвлеченных идей серой массой в солдатских шинелях решаются судьбы войны, а вместе с ними и судьбы истории и судьбы страны. Среди этой серой массы в солдатских шинелях кто-то ведет пропаганду, безответственную, безумную, не имеющую примера в истории: бросайте окопы, ступайте домой. Правду сказать, предельно простые слова. Простые слова крестьянские парни понимают прекрасно и охотно бросают провонявшие мочой и калом окопы, минуют заградительные отряды, поставленные во втором эшелоне ловить дезертиров, и в самом деле едут домой, нимало не размышляя над тем, что тем самым открывают дорогу врагу, на позор, на грабеж обрекают родимую землю, Россию без зазрения совести предают.

И всё запутывается каким-то таким странным, неестественным образом, что может даже казаться, будто эти крестьянские парни, самовольно бросающие окопы, имеют на эту подлость нечто вроде морального права, хотя совершают явным образом постыдное дело. Он слышит бесконечные толки о самом черном предательстве, о бездарном командовании соседних фронтов, жестокую брань боевых офицеров, и со всем этим не согласиться нельзя. Шутка сказать, перед самым прорывом генерала Брусилова арестован сам военный министр, обвиняемый в преступном бездействии и в государственной даже измене. Хуже, разумеется, некуда! Война же идет! Экая сволочь! Экий подлец!

Всюду предательство, всюду развал. В поддержку Брусилову генералы Эверт и Куропаткин начинают фронтальное наступление, но оба действуют без веры в успех, оба инертны, оба отдают неясные, сбивчивые приказы войскам, и наступление срывается через несколько дней. Тем не менее у них все резервы, вся артиллерия, а Брусилову ни резервов, ни артиллерии не дают. Даже если бы захотели, всё равно дать бы вовремя не смогли: железные дороги забиты составами так, что сутками стоят поезда, и не находится никого, кто бы сумел разобрать эти пробки и протолкнуть резервы и артиллерию на Юго-Западный фронт.

И союзнички наши подстать. Ставка просит англичан начать наступление из Салоник на Софию и Будапешт, чтобы снять давление на Юго-Западный фронт спешно переброшенных германских дивизий, а англичане в ответ: такая операция слишком опасна для нас. Известное дело, подлый, преподлый народ! Из воздуха, переполненного миазмами крови, окопов, портянок и боли, сами собой сплетаются, ещё в первый раз два гневных словца:

«Союзники – сволочи!»

Эти же англичане при поддержке французов начинают согласованное наступление на реке Сомме, и начинают безответственно, правда, после, казалось бы, прочнейшей обработки снарядами первой линии германских траншей, не соображая, что умные немцы просто-напросто на время обстрела переправляются во вторую, чтобы оттуда косит англичан пулеметным огнем, и гордые сыны Альбиона по своей неопишуемой глупости теряют чуть ли не пятьдесят тысяч солдат, топчутся на фронте не более двадцати километров, местами продвигаются от двух до четырех километров и затихают. Вишь ты, и тут опасно для них! А русские как? А на русских начхать! Полноте, полноте, господа, в первый ли раз? Европа-то нас предавала всегда! Эх, доверчив, слишком доверчив русский народ, а наш царь и вовсе из рук вон!

Эх!.. Эх!..

Правда, конечно, вся наша история об том говорит. А все-таки, все-таки, в том ли истинная причина, что прорыв на Юго-Западном фронте сперва заминается, затем наступление захлебывается, и не удастся развить такой блестящий успех, который только что представлялся всем неминуемым? Интеллигентный молодой человек, прошедший хорошую школу Толстого, не может не обнаружить, что всё это, в сущности, миф: и Брусилов, и военный министр, и командующие соседних фронтов, и союзники-сволочи, и даже те, кто так успешно ведет пропаганду в войсках. Он не может не замечать, что не миф только эта роевая общая жизнь, что

фундаментальнейшая причина провала так блестяще задуманного прорыва кроется абсолютно в другом. Она кроется именно в том, что серая масса в солдатских шинелях на вате, неграмотная, не понимающая ни цели, ни смысла войны, способная бросать окопы и открывать дорогу врагу, не имеет ни малейшего желания наступать, вообще не имеет ни малейшего желания с кем-нибудь воевать.

Да, да, серая масса в солдатских шинелях на вате одинаково равнодушна и к победе и к поражению. Поражение не задевает её души, победа её духа не поднимает, не окрыляет. Напротив, многие радуются полученному увечью: прекрасно, вот повезло, теперь поскорее домой!

Можно ли с таким настроением победить? Интеллигентный молодой человек отчетливо видит: с таким настроением никогда и нигде нельзя победить. И по этой причине в его внимательных умных глазах блистательный генерал превращается в миф, как превращается в миф Наполеон Бонапарт в бессмертном романе Толстого. Миф! Всего-навсего миф! Линия фронта отодвинулась где-то на шестьдесят, где-то на сто пятьдесят километров, за эти жалкие километры, ход войны нисколько не изменившие, погублено полмиллиона людей, почти столько же захвачено в плен.

Ничтожный, но страшный итог. В направлении заката стихает пальба, и только полевые госпитали с натугой, с нечеловеческой усталостью всего персонала, от хирурга до простой санитарки, продолжают перерабатывать искалеченные человеческие тела, успевая далеко не каждому, кто достигает их чудодейственных рук, спасти жизнь, нечего говорить о руках и ногах.

Наконец прекращается и этот поток. Судьба войны решена. Какие сомнения? Сомневаться нельзя!

Глава одиннадцатая

Тьма египетская

Вдруг Михаила Булгакова срочно отзывают с фронта в Москву. В военной форме, положенной прифронтовым госпиталям, он отправляется вместе с Тасей по вызову, не имея возможности хотя бы на день заехать домой. Дисциплина, черт побери, дисциплина, мой друг.

В Москве происходит глупейшая чепуха: ему объявляют, что он мобилизован согласно с законом и направляется в распоряжение смоленского губернатора. Таким образом, представьте себе, добровольно он попадает ан фронт, а по мобилизации с фронта отправляется в тыл!

Впрочем, в этой непередаваемой логике брезжит, едва-едва и сквозь тьму, но все-таки брезжит разумная мысль. Чепуха объясняется тем, что армия в чрезмерном количестве поглощает опытных врачей тыла, оголяя целые районы страны, и многие тыловые больницы стоят без врачей, так их мало приготовлено в обширной и далеко не бедной стране. По этой причине опытных медиков решают заместить только что выпущенными студентами.

Тут же, имея минуты свободного времени, чтобы заскочить к дядьке Николаю Михайловичу, который Варваре Михайловне родной брат, он выезжает в Смоленск.

В Смоленске ему вручают официальное назначение в Сычовку, разрешив задержаться в центре губернии не более, чем до утра, точно в этой самой Сычовке хлещет пожар.

Делать все-таки нечего. Переночевав кое-как, они вместе с Тасей тащатся местным расхлябанным поездишком в глубины Смоленской губернии.

Наконец дотащились. Уездный городишка обыкновенного российского типа, затопленный по уши грязью, затерянный в темных лесах, каких он, житель юга, никогда в глаза не видал. До того неприятно и дико вокруг, что он поневоле торопится, лишь бы поскорее добраться до места своего назначения и чтобы какой-то вышел конец.

Председатель земской управы, Михаил Васильевич Герасимов, интеллигентейший человек, тут же вручает ещё одно назначение, на этот раз в деревню Никольское, в сорока верстах от Сычовки, в какую-то непроходимую глушь, где, к тому же, кроме него, не имеется другого врача.

Утомленный, измотанный, осатаневший ещё больше, чем в госпитале, он каким-то чудовищным неестественным голосом пытается протестовать, изъясняя доступно, что ни малейшего опыта нет и что хотел бы не единственным врачом, а вторым, поскольку... и тут, кажется, несет уже совершенный вздор.

Михаил Васильевич, любезнейший человек, приятно так улыбается, уверяет:
– Освойтесь.

Как бы не так! Он почти ничего не умеет и ужасно страшится ответственности. Глаза его делаются тоскливыми, волчьими. Он злобно думает про себя, что должен ехать вторым, в таком случае вся ответственность непременно ляжет на первого, это закон.

Они долго молчат.

Наконец, мысленно махнувши рукой, лишь бы вей поскорей развязалось, положившись единственно на перст великодушной судьбы, он соглашается. Батенька, вот и отлично, освоитесь, как пить дать.

Он получает свой документ, возницу телегу, пару запущенных, управе принадлежащих лошадок, усаживает Тасю, обрушивает в ноги свой чемодан с медицинскими фолиантами, парой белья и бритвой славной фирмы «Жиллет», взбирается сам, и начинается путешествие в настоящую уже глухомань, в какой он отродясь не бывал.

Не успевает телега выбраться за околицу, как в памяти поневоле всплывает необитаемый остров того английского джентльмена, который был всегда брит. С величайшим трудом передвигается она по расхлябанным колеям. Печальная осень стоит над среднерусской рав-

ниной. Беспреданно льет дождь. Желтые лужи так и кипят пузырями, мутными, скверными, неохота глядеть. Вода стоит в низинных полях. Обнаженный осинник под ветром горько дрожит. Сквозь осинник скорбно глядят дрянные избенки тех самых крестьянских парней, которые не хотят воевать, а хотят вернуться сюда, пусть без ноги, без руки, но вернуться сюда поскорей. Кругом всё обреченно молчит.

Истинный крест, тьма египетская встречает его. На его долю выпадает столько страданий, что эти страдания уже никогда не забыть. Что там фронт! Прекраснейшая вещь! Удобства одни! Интеллигентные люди вокруг! А ты ни души! Молчанье, гробовое молчанье кругом! Поразительнейшее молчанье, надо сказать. Такое молчанье, что поневоле шевелится в потрясенном мозгу:

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Он коченеет, черт побери! Его сокрушает тоска по родимому дому, где уютно, тепло, где жизнь налажена и ясна и оттого течет беззаботно, легко, и выложенные кирпичом тротуары, и море огней. Эх!.. Эх!.. Дома-то, кроме тротуаров и вереницы огней над Крещатиком, ещё и трамвай, и Владимиров крест.

А тут первобытная, непроходимая дичь, тут неизвестность на каждом шагу, беспросветная мгла. Какая нечистая сила занесла его в эту глубокую зловещую, злобную даль, и к тому же он едет единственным, первым и вторым в том же лице, и решительно всё делать предстоит не кому-нибудь, а ему самому, самому!

Мало болезней, так нет, он ещё с холодом должен бороться, с грязью, с одиночеством, с затяжными дождями, а там нагрянет зима, занесет по самые окна, ветер завоет в трубах печей, Боже мой!

И это ещё только начало.

Самое-то прескверное, необычайное, сверхчеловеческое поджидает его впереди. В сущности, кто он и что? В сущности, он владеет кое-каким духовным богатством, так сказать, приобрел, накопил. К примеру, ему известна в малейших подробностях прекрасная жизнь великого немецкого писателя Гете. Ему близка одинаково жажда жизни, владевшая Фаустом, и коварный скептицизм Мефистофеля. Вместе с героями немецкого же писателя Гофмана он способен бродить по странным улочкам фантастических городов. Ну, там Гоголь, Мольер, Дон-Кихот, «Аида, милая Аида...», «Я за сестру тебя молю...» Да мало ли что ещё! Он знает золотую латынь. В особенности кстати тут Дон-Кихот. Да что ему делать с этим богатством? В этой-то чертовой темени на что оно сгодится ему? Всё лучшее, прекрасное, умное, что придумано человечеством за тысячи лет, лучшее-то куда? Для кого?

Тут он злобно прокликает диплом, отличие и тот чернейшего цвета день, когда подал заявление в канцелярию ректора.

Ага, доползли наконец, а уже почти совершенно темно. Он с тупым вниманием озирает места, в которые его занесло, и позднее опишет эту сердечную муку пребывания в самом сердце России с каким-то болезненным, неостывающим чувством, а ведь пройдет с того первого дня уже девять лет:

«Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками: «... Привет тебе... при-ют свя-

щенный...» Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай...»

Больница оказывается обширной. Известное дело, земство не канцелярия, делает свое полезное дело расчетливо, однако с мудрым размахом. Тоже, конечно, ворует, но все-таки меньше, а потому под больницу куплен помещичий дом, окруженный парком насаженных лиственниц, которые местные жители бранно именуют немецкими елками, с фасадом на озеро, образованное плотиной, перегородившей местную речку. Двадцать четыре общие койки. Восемь для острых инфекций да родильные две. Итого...

От холодного ужаса ему в один прием не удастся все эти койки вместе сложить. Какое-то невероятное выходит число, и если все эти койки заполнят больные, что непременно случится, он с ними сойдет непременно с ума.

Один он, один!

С какой-то отчаянной злобой, не покидавшей его, то и дело повторяет он это противное слово.

Впрочем, земские порядки все-таки хороши, это уж аксиома, а с аксиомой спорить нельзя, невозможно, если бы даже кто захотел. Очевидная вещь! Его предшественник, Леопольд Леопольдович Смирчек, московский университет, по национальности чех, просидевший в этой дыре десять лет, не ведал никакого ограничения в средствах и был замечательный человек. Завел операционную. Телефон. Библиотеку. Аптека прекрасная есть. И понакупил на земские деньги черт знает чего. Столицам подстать. Глаза разбегаются. Невозможно высчитать, чего же тут нет. Есть, кажется, всё.

«Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал... Затем мы спустились в аптеку, и я сразу увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло всё что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли прибавлять, что никогда не слышал о них ничего...»

Однако, для какой надобности устроен здесь телефон? Куда здесь, к черту, звонить?..

Докторский дом состоит из двух половин. Стало быть, по штатному расписанию полагает непременно двое врачей, а прислали его одного, и он здесь один за двоих! О-го-го!

Естественно, они с Тасей вселяются в предназначенную им половину. Надо отметить, что земство постаралось и тут. Половина была превосходная! Внизу столовая, кухня, наверху спальня и кабинет. Положительно, земство прекрасно печется о быте врачей, впрочем, что ж, объясняется просто, интеллигентные люди, а только интеллигентный человек понимает, как посреди этой каторги интеллигентный человек должен жить.

Так, так, и ещё одно новшество есть. Лампа. Керосиновая. Зеленоватый тусклый огонь под выпуклым длинным стеклом. Горит и шипит. Ещё и коптит. Он керосиновых ламп никогда не видал. Должно быть, тоже превосходная вещь, но электричество, электричество! Согласитесь, что электричество – это цивилизация, это прогресс, это культурная жизнь!

Тася суется туда и сюда. Он разбирает тяжеленный свой чемодан, извлекает бритву знаменитой фирмы «Жиллет», ощупывает подбородок уже привычной рукой. Надо побриться, однако физических сил не имеется никаких. Проклятый англичанин, черт побери!

А здесь никакого электричества, стало быть, нет. А больные свалятся на него, им электричество – тьфу! И болезни одна неизлечимей другой. Он освежает в памяти руководства, получается так: ущемленная грыжа, гнойный плеврит, дифтерийный круп и неправильное течение родов. Превосходный букет! Стерильность, стерильность прежде всего, а без электричества как?

И в этот самый момент раздаётся ошалелый стук в дверь. Да и вовсе не стук. Гром какой-то: бух, бух. Должно быть, в остервенении колотят ногой.

Он бросается вниз.

Так и есть: роженицу доставил здоровенный мужик, муж, должно быть, счастливый отец, решительно не в себе, следом идет, гремит сапожищами и грозит, и грозит:

– Если помрет, тебе тоже не жить, убью... не жить... ты мотри, говорю...

Слава Богу, фельдшер, опытный человек, оставляет за дверью, а то бы прямо беда. Все-таки фельдшер, должно быть, замечательный человек, прекрасный товарищ и друг.

В операционной он приступает к женщине с громадным, вздернутым животом. Так и есть! Положение неправильное, боли ужасные, того гляди, и в самом деле помрет! Его университетская подготовка в этот миг представляется ему смехотворной. Кое-что он, разумеется, помнит, обрывки какие-то, а все-таки, все-таки... положение неправильное, положение неправильное... он не умеет решительно ничего. А госпиталь, госпиталь? Он так и озлился! Что госпиталь? Что? Ноги и руки пилить! Раза два или три наблюдал обыкновенные роды! И это же всё! А тут положение неправильное, положение неправильное...

К счастью, Тася спускается вниз, садится за столиком в уголке. Он молит её раскрыть руководство, по памяти называет страницу, подбегает, читает, ага! И мчится к столу. А там этот, слышно, буянит, что-то благим матом орет, должно быть, что ему тоже не жить. Печальный, но, согласитесь, прекрасный конец. Он уже видит сотни убитых своими руками, а тот-то убьет, и не окажется на его совести ни одного, постой, вот эта останется... тьфу, тьфу!

И что бы вы думали? Роды проходят благополучно!

Без практики! Без электричества! Воду кипятят на плите!

После такого исхода и благодарственных, чуть не униженных улыбок счастливого мужа, на милость тотчас переменившего праведный гнев, он несколько ободряется духом.

Решает справочники, руководства и атласы всегда держать под рукой. В каждом затруднительном случае, то есть почти постоянно, листает их лихорадочно, читает поспешно, плохо разбирает, что и зачем, и с трепетом ждет своей неизбежнейшей участи.

И как же не ждать? Больные идут косяком. Идут сквозь ненастье. Идут сквозь мороз и метель. Одни добираются своими ногами, других доставляют на разбитых телегах, а зимой большей частью в розвальнях на охапках сена везут.

И война, госпиталь прифронтовой, отпиленные ноги и руки представляются ему чуть не забавой. У него на глазах стонет и страждет сраженная разнообразным страданием плоть. Женщины, мужчины, взрослые, дети и старики.

И вот где чудо, так чудо: всякий раз, как он видит перед собой эту сраженную страданием плоть, к нему сама собой приходит решимость, озаренье какое-то, даже размах. Мысль работает удивительно ясно. Безотказно действует преподанный в аудитории метод. Он строжайшим образом следует от симптома к симптому, подбирает их один к одному, сопоставляет. И, как несомненное чудо, неизбежным следствием сам собой из тьмы неведенья выплывает точнейший диагноз. Странней же всего именно то, что диагноз-то правильный, точный. Он ни секунды почему-то не сомневается в том и смело выписывает лекарство или берется за хирургический нож, к ножу-то он в госпитале, слава Богу, привык.

Ампутации, вычистки, грыжи, трахеотомии, вывихи, переломы, инкубации, роды, часто неправильные, гнойные плевриты, воспаления легких, сифилисы, геморрои, саркомы – всё побывало у него под рукой, даже пивший беспробудно и допившийся до чертиков агроном.

Он оказывается смел и удачлив. Рука его не дрожит. Несмотря даже на то, что если не каждый раз, так непременно уж через раз ему кричат в спину охрипшие мужицкие глотки:

– Убью! Не жить тебе, говорю! Не жить! Ты мотри!

К нему привозят человека с розовой пеной на синих губах, с грудной клеткой, разнесенной выстрелом волчьей картечью чуть не в упор. Ключьями мясо висит. Трепещущее виднеется легкое. А через месяц человек уходит от него совершенно здоровым. На своих на двоих.

Слава о нем распространяется по округе. Приятно? Безусловно, приятно. Однако истинное несчастье, если глядеть на жизнь не в розовые очки. Слава в деревне! Что она значит? А то она значит, что больные так и прут нескончаемой вереницей полушубков, шалей и зипунов, от которых воняет мокрой овчиной, черт знает чем и навозом. За один всего год он принимает пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. В среднем по сорок восемь тяжело страдающих в день, поскольку легко страдающие к нему не являются, привыкли от легких недомоганий сами лечиться каким-нибудь зельем, самогоном прежде всего. Однако случаются дни, когда перед ним проходит сто, сто десять, даже сто двадцать больных, и он работает с ними от темна до темна. Да ещё поднимают с постели чуть не каждую ночь, призывая к больным, так что в течение года он ни одной ночи нормально не спит, что прошу отметить особо.

Чудесное земство! Вечная слава ему! Знает, что без столовой, без спальни, без кабинета интеллигентный человек с ума бы непременно сошел. А так ничего. То есть почти ничего, если всю правду сказать.

Пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. Несметное полчище. Всё люди различных сословий, профессий, темпераментов, убеждений и знаний. Тут в одной общей куче богатей и нищие, землепашцы, учителя, писаря и неграмотные, обитатели местные, уравниатели, беспартийные, анархисты, и кого-кого только нет, а страдания, боль, ужас смерти у всех одинаковы, недуги каждому указуют костлявым перстом, что смертен есть и есть человек.

И все он обязан помочь, не выпрашивая, кто он и что, каково верует или не верует, да и времени выпрашивать нет. Исключений тут быть не может. Исключений и не бывает. И он то напряженно, то сердито, то озлобленно думает только о том, чтобы лечение было удачным, чтобы человек совершенно здоровым вскоре покинул его.

Гуманнейшая профессия в мире, мой друг!

Этот год, прожитый в постоянном, в неистовом противоборстве с болезнями всех сортов и мастей, отчеканивает его от природы сильный характер, о силе которого и сам он прежде не знал ничего. Всё ещё юноша, несмотря на женитьбу и двадцать пять лет, он из бесчисленных испытаний выходит мужчиной. Отныне он владеет собой. Но главнейшее из всего: он научается побеждать.

И мне представляется, что однажды, когда история не дает ему никаких документов, он поделится с любимым героем своим собственным опытом и нарисует небезынтересный портрет:

«Три тяжких года, долги, ростовщики, тюрьма и унижения резчайше его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью. Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожженный профессиональный актер, выдавший всякие виды...»

Впрочем, пока что он лекарь с отличием, врач, но тоже профессионал из прожженных. Забавное сожаление, что он выглядит молодежавым, позабыто давно как мальчишество. По целым неделям забывает он об отличнейших лезвиях всемирно известной фирмы «Жиллет» и ленится посылать за газетами. Аккуратный пробор исчезает с его головы вместе с щегольской прической культурного человека. Отросшие волосы, поскольку на сорок верст вокруг ни одного цирюльника нет, зачесываются небрежно назад, лишь бы не мешали работать. Глаза становятся беспокойней и строже. Рот сжимается с уверенным мужеством. Глубокая складка, едва намечавшаяся в госпитале прифронтной полосы, теперь явственно пролегает у переносья.

В сущности, он имеет полнейшее право гордиться собой: из двухсот стационарных больных у него умирает только шесть человек. Да и эти шестеро становятся истинной мукой, испытанием, ношей, крестом. Это горчайшее горе его, под игом которого чужие боли, чужие страдания начинаются ощущаться своими. Совесть, это сокровище, этот фантом, дарованная интеллигентному человеку вместе с пристрастием к своим вдохновенным тревогам, становится неумолимой, точно бы хищной. Каждую смерть стационарных больных он переживает как свою катастрофу. За каждый несчастный случай винит он только себя самого, не унижаясь до причитаний по поводу сквернейшим образом сложившихся обстоятельств. Обстоятельства – обстоятельствами, а сам-то ты что?

В такие часы он себе представляется бездомным жалким отвратительным псом. Горчайший стыд обжигает несчастное сердце. Даже приходит на ум, что он совершил преступление. Отчаянье давит. Собачья тоска. Куда бы поехать? Кому повалиться бы в ноги? Повалиться и бухнуть, что вот, мол, он, сукин сын, чертов лекарь с отличием, натворил того и того, берите диплом, отсылайте голубчика в Сахалин!

Не к кому и некуда ехать. Это он сознает. И тогда тихая речка, лозняк и покривившийся мостик через неё, видимые из окна его кабинета, словно бы угрожающе глядят на него.

«Незабываемый, выжженный, стремительный год!..»

И как скверно, поверхностно он всё ещё знаком с медициной. Он твердит, что ему нужно, что ему необходимо учиться. И с упорством человека с окровавленной совестью он роется в библиотечных шкафах прекрасно обустроенной земской больницы, перелистывает справочники, разглядывает рисунки и диаграммы, намереваясь удержать в памяти все до одной.

Иногда непроходимые вьюги несутся несколько дней и ночей над оцепеневшей угрюмой землей, замечая к нему все пути, не пуская и самых нетерпеливых и недужных больных, и он немного приходит в себя. Первым делом тщательно бреется, предварительно вымывшись в бане. Тася медицинскими ножницами слегка подправляет прическу. Он разрывает бандероль с опоздавшей на неделю газеты с таким же биением сердца, как три-четыре года назад распечатывал голубые конверты, которые присылала из Саратова милая, милая Тася. Он размышляет.

Однако и размышления его тяжелы.

Сначала всё ничего. Нетрудно понять, что газету он неизменно раскрывает на разделе театров: так тоскует без музыки, что начинает даже казаться, что никакого «Фауста» нет. Читает: на прошедшей неделе в Большом театре дается «Аида». Так и вспыхивает и плывет мелодия увертюры. И дальше, и дальше! «Мой милый друг, приди ко мне...» Уже видится незабвенная опера в городе Киеве, уже своим замечательным басом поет что-то Сибиряков, уже Сашка Гдешинский, в черном смокинге, в белом пластроне, с тихой усмешкой, шагает по ногам первого ряда партера, а он!..

Эх!.. Эх!..

Вдали от шума, вдали от культурных людей. И так и брызжет в глаза электрический свет, трезвонит на поворотах трамвай, свежие газеты приходят с утра, «Фауст» действительно есть, потому что «Фауст» бессмертен, интеллигентные люди ходят в гости друг к другу, в галстуках бабочкой, с букетами отличных цветов, целуют ручки у дам, говорят комплимента, исполняют небольшие концерты. Скрипка, гитара, рояль. Поют. Соло и хором. Обсуждают последние новости. Спорят о том, за какую именно сумму ненавистная императрица Алиса, из гессенских немцев, продает своим немцам нашу Россию и какие именно суммы военный министр получает с промышленников за то, что промышленники, сукины дети, поставляют фронту снаряды, которые разрываются в орудийных стволах, калеча и убивая прислугу. Спорят, конечно, о том, победит ли Антанта и чем обернется для России война. Ненужная, бессмысленная война, затеянная обреченным царем. Особенно же непримиримые, жаркие споры ведутся о том, какое будущее ожидает Россию, поскольку ни один спор истинно интеллигентных людей обойтись без будущего России просто не может.

Он меряет беспокойными шагами свой кабинет. Фундаментальный вопрос! То есть о том, какое будущее ожидает Россию. Спорит здесь, естественно, не с кем. А всё же?

Он сидит заваленный снегом чуть не до крыши. Сидит именно там, где негромко, невыразительно струится та самая роевая общая жизнь. Струится в крошечной, вот уж поистине в египетской тьме. Отличнейшее словечко нашлось, когда он пробирался сюда. Электричества нет. Оперы нет. Театра нет. Дорог нет. Грамотных нет. Цивилизации нет.

Всё перечисленное светит издали какой-то ослепительной точкой, звездой, вспыхнувшей в необозримых черных пространствах вселенной, да и видит эту звезду он один во всей этой глуши, манит она его к себе одного, тогда как глушь не имеет никакого понятия о какой-то звезде, пожалуй, и не нуждается в ней. Живут себе и живут без звезды. Да и много ли этих вспыхнувших звезд? На всю Россию пять или шесть городов с населением, перевалившим сто тысяч, несколько тысяч мелких, уездных, с одной главной улицей, с одним рядом светящихся в ночи фонарей, с кинематографом, с больницей и школой, и рассеяны они словно звездная пыль.

А прочее всё? А прочее всё – бесприютная, непроездная глушь, в которой звездная пыль уменьшается почти до незримых размеров: там больница с одним врачом, там школа с таким же одиноким да ещё частенько голодным учителем, там усадьба с ещё более одиноким, правда, сытым помещиком, как за полверсты от него, в Муравишниках, Василий Осипович Герасимов. Отличнейший человек. Образован. К тому же слабохарактерен и ленив, как и полагается обладателю таких знакомейших свойств добрый и мягкий. Однако большей частью скрашивает своё беспробудное зимнее одиночество хорошим вином. Водки, представьте, не пьет. Вечер весьма приятно у него провести, как и у его сына в Сычовке.

А прочее всё, вновь задает он всё тот же навязший вопрос. А прочее всё, отвечает себе, и есть роевая общая жизнь. Без света. Во тьме. Хоть прописывай, хоть не прописывай: по одной таблетке три раза в день – непременно примет весь пузырек в один раз, чтобы поправиться побыстрее, а горчишник приладит на шубу.

О чем думает, чем живет эта роевая общая жизнь? Какова натура её? Натура кулацкая, черствая, неотзывчивая на чужую беду, а потому живет на земле и землей и думает большей частью о том, как бы землю всю у всех отобрать, разделить поровну всем, по сто десятин, а усадьбы все сжечь, чужаков перебить, которые на земле не сидят и землей не живут, то есть вот этих самых: помещика, учителя и врача.

А высокое наслаждение умственного труда, которое одно поддерживает его посреди этой египетской тьмы и помогает ощущать себя человеком?

Нет никакого наслаждения умственного труда, потому что не существует и самый умственный труд.

Было бы сущей напраслиной утверждать, что ему, погребенному заживо в этой вьюжной глуши, хоть сколько-нибудь известно о яростном споре, который ведется между революционными партиями, не о самой возможности социализма в этой египетской тьме, а всего лишь о том, когда социализм в этой египетской тьме начинать: с сегодня на завтра или этак лет через сто?

Такого рода мысли даже не посещают его. Социализм в этой египетской тьме? Что за вздор! Он не может отделаться от мрачного ощущения, что тьма эта египетская только и ждет человек, безразлично какого и с какой стороны, лишь бы человек этот властно сказал: землю бери, земля отныне твоя! И обрушится всё. Завоет, завертится, схватится за вилы, за топоры и снесет всё, что только сможет снести. Запылают усадьбы. Запылают школы, больницы. Никольское, Муравишники тоже сгорят.

Что же останется?

Этого даже не хочется себе представлять.

Глава двенадцатая

Пожар

Уже 1917 год. Метельный февраль кружит на дворе. В середине уже, в одну кромешную ночь, когда сквозь метель не видать не то что ни зги, а решительно ничего не видать, колотят оглушительно в дверь. Неужто кого привезли? Оказывается, что не привезли никого, а Муравишники в самом деле отчего-то горят. Стукнуло сердце и оборвалось куда-то в зловещем предчувствии: началось!

Он выскакивает на заснеженное крыльцо. В самом деле, в той стороне сквозь сплошную метель розовеет пятно. Расширяется. Поднимается к белому небу. Вся усадьба горит.

Что тут делать? Бессонная ночь. Размышления о судьбах России. Пророчество человека с огненными глазами «не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Кажется, привелось увидеть. Тютчев припоминается кстати:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

О нет! Он не ощущает ни малейшего счастья, даже намек на счастье, самой слабой тени его. Всё его счастье: тишина кабинета, зеленая лампа, книги, наслаждение умственного труда и душевный покой.

Впрочем, выясняется утром, что Муравишники сгорели только что не дотла чуть не сами собой. От неосторожности сторожа. Верно, был пьян.

Несколько поотлегло, а тут у благоразумного земства уже полагается отпуск. Они с Тасей едут в Саратов. По мере удаления от Никольского настроение его улучшается. На крохотной станции железной дороги керосиновые шипят фонари, Боже мой! Москва пылает костром электричества! Саратов почти не уступает Москве. Вывески. Парикмахерские. Рестораны. Кафе и авто. Это-то вот и есть настоящее счастье, а то-то счастье пусть-ка лучше минует его.

Ишь чего захотел! Не минует. В Саратов врываются известия о февральских событиях. Никто событий этих не вызывал. Обрушились сами собой. Так сказать, следствием совокупных причин. И вот монархия свергнута. Представьте себе, и не жалеет никто. Революция? Революция! А он о революции только и знает, что была во Франции, довольно давно. Помнит твердо: Робеспьер, гильотина, террор, казнь короля, Бонапарт. Кажется, в Англии тоже, очень давно. Кромвель, тоже казнь короля. Воспоминания какие-то неприятные, мрачные, злодеи одни.

А что же у нас? А у нас вот что: Временное правительство. И тоже, представьте, радости ни с какой стороны не слышать. Выборы в Учредительное собрание, правда, неизвестно когда. Так и что? Кого выбирать? Уж и без выборов в Саратове, глядь, Советы верховодят. Прислуга к Тасе приходит и важно так говорит:

– Я вас буду называть Татьяна Николаевна, а вы меня теперь зовите Агафья Ивановна.

Это и есть революция?

Черт знает что!

И с таким остервенением ни о чем не хочется думать, что именно сулит ему это «черт знает что», что он почти в полном молчании в шахматы весь отпуск с тестем, с генералом, играет.

Возвращаются через Москву. В Москве такой кавардак, что страсть как хочется поскорей в свою глушь, в тишину лесов и полей.

Стоит оттепель. Март. В Никольское пробираются верхом через озеро. Других дорог уже нет.

Однако едва он приступает к приему больных, как приходит вызов из города Киева: наконец-то настало время диплом получить. Удачное время, черт побери.

Он едет. В городе Киеве шинели без шаровар. Центральная Рада. Недавно ещё писавший сентиментальные статейки в газетах об национальном украинском театре Петлюра военный министр.

Вот уж истинно: черт знает что!

Он получает диплом и возвращается вспять. В середине весны в Муравишники съезжаются петербургские жители: знаменитейший историк Кареев, автор крупных трудов по истории революции и земельных отношений во Франции, Фаворский, Верейский и старший племянник хозяина, Осип Петрович, закончивший историко-филологический факультет, нынче товарищ министра народного просвещения. Очень кстати съезжаются, по правде сказать. Русский мужик, по Достоевскому богоносец, по Столыпину, убиенному, опора царя и отечества, хлеба в русские города не везет. Отчего не везет? Валюта не та. Курс падает так, что керенки уже и не режут, а так, квадратными метрами выдают. Русскому мужику золото подавай. Это зипуну и лаптям? Докатились, правду сказать. На русские города надвигается голод. Русского царя страхом голода так и смело, следа не видать. И этих-то, временных, тоже сметет, как пить дать сметет, похоже на то. А после них кто? Кто бы ни был, а русский мужик хлеба без золота не даст никому, без золота любого сметет. Минуты, истинно, истинно, роковые.

Всё это время он мечется в ожидании, когда же со станции газета придет, недельной свежести, черт побери, а всё же газета, в надежде предугадать, что несут сии минуты роковые лично ему и России. Путаница там, чушь собачья, ничего не понять.

А тут петербургские жители, член-корреспондент, товарищ министра, из первых известия рук. Его посещения Муравишников становятся, естественно, чаще. Вести ужасны. Осип Петрович принадлежит к числу тех немногих в стране, кто знает, что у нас делается, не по слухам, не из газет. И Осип Петрович высказывает уверенность самую полную, что никакое Учредительное собрание собраться не сможет, что не сегодня, так завтра гражданская всепременно разразится война.

– А крестьянство-то, крестьянство-то что?

– Крестьянство останется, надо думать, спокойно.

Странное убеждение. Никак не может этакого спокойствия без золота быть. И думать не надо. А впрочем...

И снова десятки и сотни больных. Единственное, истинное спасенье от минут роковых. У него появляется уверенность в себе, даже резкость движений, которые вначале он искусственно для солидности на себя напускал.

«На обходе я шел стремительной поступью, за мной мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Остановиваясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга всё, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно в глубине бьет сердце, и нес в себе одну мысль – как его спасти! И этого – спасти! И Этого! Всех! Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы «молнии»...»

Он свыкается, работа врача страшит его меньше, но в словах его, сказанным много спустя, никакого преувеличения обнаружить нельзя: да, в Никольской больнице он ведет бой, и, как положено, в этом бою совершаются ежедневно обыкновенные подвиги, которые, согласно с дипломом, положено любому лекарю совершать, и лекарь тоже получает ранения, чреватые смертельным исходом, посмей только глазом моргнуть, спасовать, отступить, повернуться спиной.

А он утомлен. Переутомлен. Опять утомлен. Плохо и мало спит по ночам. Тьма египетская камнем лежит на душе. Будущее мучит, страшит: шутка сказать, революция, гильотина, террор, гражданская война впереди!

И в эти самые дни насмешливая судьба насылает на него дифтерит. Из горла больного ребенка он через трубочку, это в учебниках есть, отсасывает дифтеритные пленки. Одна крохотная неаккуратность, и бац: он заражается сам. Приходится срочно ввести противодифтеритную сыворотку. Слава Богу, изобрели. Ещё слава Богу: в земской больнице и противодифтеритной сыворотки имеется солидный запас. Однако действие сыворотки на его организм неожиданно: распухает лицо, всё тело покрывается сыпью, спать невозможно, всё тело чешется нестерпимо и нестерпимо зудит.

Ужас. Безумие. Измочаленный бесконечным потоком больных, издерганный роковыми минутами, обессиленный человек умоляет сделать укол. Ему вводят морфий. Зуд прекращается. Обессиленный человек засыпает. Весь день нормально принимает больных, а вечером на обессиленного человека наваливается дикий страх, что вот-вот нападет истерический зуд, бессонная ночь, да так и свалится с ног, и он позволяет себе, ведь слаб человек, ещё одну дозу морфия, на третий вечер ещё. Конечно, он себе каждый день говорит, что, в полнейшем согласии со всеми учеными книгами, три дозы не страшны, обыкновенны, он превосходно спит по ночам, как не спал уже год, и он позволяет ещё. Он призывает себя к осторожности, ведь он лекарь с отличием, и позволяет ещё. Натурально, он твердо уповает на то, что у него чрезвычайно сильная, прямо железная воля. И позволяет ещё.

Само собой разумеется, что после стольких неоднократных омерзительных потачек своему усталому организму, ещё больше своей капризной от усталости слабости, в его жизни начинается темная, безобразная полоса. Днем он абсолютно здоров, прекрасно работает, даже, кажется, лучше, чем прежде, и больным его нисколько не становится от этого хуже. Зато вечера превращаются в сущий кошмар. Шквал страданий обрушивается, ввинчивается в его бессильное тело, едва он решается пустить в действие свою действительно чрезвычайно сильную, прямо железную волю и тем спасти себя от вредной, опасной и унижительной страсти, которая хотя и не растет с каждым днем, как должна бы расти, но и, как околдованная, не оставляет его.

Невозможно выразить, что приходится ему пережить. Это под силу лишь ему самому, постоянному свидетелю своего омерзительного недуга. И он свидетельствует, прикрывшись, от стыда подальше, именем доктора Полякова:

«Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: – о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова! «Тоскливое состояние»!.. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Двигается, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги... Смерть – сухая, медленная смерть... Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние»...»

Вскоре самым естественным путем пробирается подлая мысль пустить себе пулю в лоб и тем избавить себя от этой сухой, медлительной смерти, а заодно избавить себя от позора, от страха разоблачения, поскольку такого рода болезнь в особенности постыдна для лекаря, который о её жестоких последствиях не может не знать.

Однако что-то неясное не позволяет ему приставить к виску револьвер. Что именно? Невозможно сказать. Может быть, перед глазами появляется Боря Богданов? Может быть, спа-

сительная жажда жизни останавливает его на последней черте? Может быть, он всё же надеется выбраться, хоть и знает, конечно, что выбраться из этой болезни нельзя? Может быть, просто-напросто жаль бросить бедную Тасю одну в этой египетской тьме?

Вероятно, все эти и ещё другие причины, однако он не спускает курка. У него в самом деле сильная воля, разум здоровый и ясный. Он продолжает бороться, несмотря как раз на то, что в качестве лечащего врача понимает отлично, что поздно уже, что он давно эту игру проиграл.

Прежде всего, решает он сам с собой, необходимо переменить обстановку, иначе погибнешь в этой египетской тьме. Со свойственной ему оригинальной находчивостью и неукротимой энергией он хлопочет о переводе. Не имеет значенья куда. Пусть в небольшой городок. Неприметный. Уездный. Лишь бы люди, электрические огни, горстка культурных людей и, что важнее всего, побольше больница, в которой страшная ответственность за всех и за всё непременно свалится наконец с его плеч и поосвободит его душевные силы, что все эти душевные силы, стиснувши зубы, устремить на борьбу.

Перевода удастся добиться. Восемнадцатого сентября ему выдается форменное удостоверение земской управы, что он, Михаил Афанасьевич Булгаков, лекарь с отличием, «состоял на службе Сычовского земства в должности врача, заведующего Никольской земской больницей, за каковое время зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще». Далее перечисляются все его операции, произведенные в течение минувшего года.

Двадцатого сентября Смоленская губернская земская управа командирует его в распоряжение Вяземской уездной земской управы. Вместе с обеспокоенной, постоянно взволнованной Тасей приезжает он в Вязьму и снимает три комнаты на Московской улице, рядом с больницей. В больнице он получает под свою руку инфекционное и венерическое отделения, чего он ещё в университете хотел.

Как он и предполагал, новая, более симпатичная его душе обстановка бодрит и приподнимает его уже сама по себе. Праздник! Ликованье в душе! Он так и светится весь, чуть не готовый взлететь.

«И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывески с сапогами, золотой крендель, изображение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое. До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике о кожных болезнях, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина. Но и салфетки эти всё же не омрачат моих воспоминаний! На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект...»

И самое прекрасное детище этой цивилизации, конечно, больница, какая в Никольском могла только сниться ему по ночам:

«В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора \кроме меня/, фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в

декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье... Сиделки бегали, носились... Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за всё, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались твердые плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? – Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и рыжеватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом – главный врач-хирург. Воспаление легких? – В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу...»

Перед нами интеллигентный человек, закоснелый в культурных привычках до мозга костей, который не в состоянии жить без элементарных условий современной цивилизации, без нормального, разумно устроенного течения дел, без сколько-нибудь пристойного удовлетворения культурных потребностей, без всего того, без чего маялся и погибал целый год в сорока верстах от уездного городка, без чего едва не лишился ума.

И он оживает, понемногу приходит в себя. В первую голову, у него появляется достаточно свободного времени, чтобы наконец осуществилась голубая мечта: ночь, зеленая лампа, письменный стол, хорошая книга, умственный труд, тишина. Он бросается читать сломя голову всё, что ни попало, и, как ни странно, одним из первых под руку попадает Куперов «Следопыт», которого в детстве он жаждал едва ли не как манны небесной, а может быть, и сильней. Что ж, Купер так Купер! Главное, читать. Всё время читать и читать. И вот, непостижимо и странно, Купер делает свое великолепное дело: дает ощущение твердости, уверенности в себе, каких ничто в Никольском дать не могло, никакие операции простреленных волчьей картечью людей, трахеотомии и геморрои. В Никольском он лишился самой важной для интеллигентного человека возможности – видеть себя со стороны, в ком-то другом, непременно обнаруженном не в жизни, а в книге. И он вдруг увидел себя в Следопыте, занесенном в такие же непроходимые дебри, из которых выбрался две недели назад, человеком, несущим людям добро так же мужественно и просто, как тот романтически, даже сентиментально сочиненный американский герой.

Странно, странно, а замечательно хорошо! У него прибавляется нравственных сил. Главное, в душе его вновь появляется оптимизм. Ничто ещё не потеряно в двадцать шесть лет! Всё ещё можно поправить. И он всё поправит. Вот что становится ясно ему.

И заведование венерическим отделением приходится кстати. В Никольском он в досталь наглядился на сифилис, пораженный, как много этой ползучей болезни именно по глухим деревням, прежде по наивности уверенный в том, что это исключительно привилегия развратного, развратного города, преимущество его верхних слоев, где дома развлечений и на тротуарах прилипчивые размалеванные тени продажных девиц.

Оказалось, что нет. Он то и дело нападал на него: хрипота, в глотке зловещая краснота, странные белые пятна, мраморная сыпь на обнаженной груди. Болезнь нехорошая, стыдная, своеобразная, своенравная, захватывающая понемногу весь организм. Поражает кости, прогрессирующий паралич вызывает, не обходит грозной стороной и потомство. И подкрадывается так неприметно, как тать, воровски. Язва откроется. Так себе язвочка. Поболит, поболит и затянется, оставивши слабый рубец. О ней и не вспомнит никто. И никто с ней к врачу не пойдет. А придет с хрипотой. И сколько ни говори, какая болезнь, всё равно не поймет крестьянский неповоротливый ум. Передаст детям, жене. И сам помрет ни за что. Болезнь особенно страшная тем, что о ней почти и не знает никто, и потому она почти никого не страшит. К тому же, есть в ней что-то загадочное, какие-то неопределенные токи в мозгу, какие-

то поразительные вывихи психики. Припомните биографию Некрасова, Гейне. А Ницше? Нет, положительно занимательная болезнь!

И он с повышенным интересом делает обходы в своем особенном отделении. Протаптывает дорожку в лабораторию. Прибирает к рукам замечательный цейсовский микроскоп. Сестре Наде, вышедшей замуж за офицера-артиллериста, пишет письмо и просит её подобрать ему несколько книг по бактериологии и венерическим заболеваниям.

Все-таки нет возможности сосредоточиться полностью. Что-то непостижимое приключилось на железной дороге. Уже не летят по строжайшему расписанию поезда на Москву. Топлива не хватает. Поезда тащатся через Вязьму с отдышкой. Вокзалишко в Вязьме забит до отказа. Всюду сплошь на полу сидят солдаты в серых шинелях, мужики в круглым шапках, бабы в серых платках. Все с мешками из-под картошки. Веревочные лямки на них. Все лузгают семечки. Пол заплыван семечной шелухой. Заплывана платформа. Часть привокзальной площади тоже заплывана. Главное, ведут себя чрезвычайно уверенно. Так и написано на каждом лице: власть таперича наша, не отдадим никому, а вы все катитесь к разэтакой матери.

Тем не менее на фронте скверны дела. Фронт медленно, однако с каждым днем всё быстрее откатывается, как волна, на восток. Германские дивизии нависают над Ригой. Перебивая друг друга, носятся слухи, один несуетней другого. Выходит что-то несурзное крайне, какой-то фантастической величины безобразие. Выходит, что мир готовится не то переворотиться, не то полететь в таргарары, и похоже, ужасно похоже на то.

Уже армия разбегается у всех на глазах, и никто не в состоянии остановить эти серые массы усталых солдат, которые не желают торчать с винтовкой в грязных окопах. Дезертиры забивают вагоны, даже преспокойно на крышах сидят, и это открыто, среди белого дня. Ясное дело, добра тут нечего ждать. Одно слово: роевая, общая жизнь.

Однако, как ни волнуют, как ни обескураживают его эти роковые события, души его звездным краем касается благодатный покой. В Вязьме льют осенние проливные дожди. По одной главной улице возможно нормально пройти. Переулки же тонут в непролазной грязи, никакие не спасают галоши. Вечерами на окраинах долго воют волчьим воем собаки. По ночам город спит каким-то особенным, непробудным, кладбищенским сном, точно городу и дела нет до того, что солдаты бегут, что германцы идут.

Успеваает он приглядеться: кругом пятнадцатый или шестнадцатый век, в который заброшены слабые искры двадцатого, с электричеством и этой прекрасной больницей. За окраиной глухой стеной стоят черные елки. В деревнях гонят и пьют самогон, который, если поджечь, так горит, и ждут одного: кончилась бы война поскорей, причем кончилась бы как-то сама собой, да землю у помещиков взять. Землю потихоньку берут, не дожидаясь никакого Учредительного собрания. Жалуются, что правды нет никакой. Там усадьбу сожгут, там зверски растерзают помещика, если не успел удрать под охрану милиции в города. Хлеба никому не дают. Убивают представителей Временного правительства, которые являются к ним требовать хлеб для голодного Петрограда. Верят, что уж после войны-то всенепременно справедливость придет, уж это, братцы, истинно так, однако тоже как-то сама собой. Приказов Временного правительства не исполняет никто, так что власть вроде бы есть, а вроде бы власти и нет никакой.

Он словно угадывает гул под землей, и ужас временами охватывает его. Когда коллеги судачат, что же это творится на свете и куда ж по этой дорожке придем, он шутит, и при этом ядовитый огонь сверкает в его холодных глазах:

– Ликуйте и радуйтесь! Это же ваш народ-богоносец! Это же всё Платоны Каратаевы ваши! Туда и придем!

А вечером засвечает свою зеленую лампу, раскрывает русские и германские руководства, и всё на свете проваливается куда-то. Никакого гула ниоткуда не слышится. Всё удивительно, удивительно хорошо. Он даже начинает что-то писать. И, сдаётся ему, что-то начинает в этом

писании обозначаться. Он до того увлекается, что верная Тася с поличным его застаёт. Приглядывается, склонившись к столу. Начинает к нему приставать:

– Что ты пишешь?

Он разгибает усталую спину, несколько деревянно улыбается ей, плетет кое-как:

– Ты прости, но я тебе читать не хочу. Видишь ли, очень ты впечатлительная, подумаешь, что это я болен, примерно вот как.

– Скажи хоть название.

– Отчего же, название можно, «Зеленый змий» называется, это можно сказать.

Не говорит он ей и того, что дозы морфия начинают понемногу мелеть и что начинает твердо вериться в то, что когда-нибудь он совершенно позабудет про шприц.

Вдруг упадает тишина гробовая. Ни поездов, ни газет. Он ощущает себя как будто упрянтанным в какой-то непроницаемый черный мешок. Его разум не терпит никакой неизвестности, прямо-таки от неизвестности встает на дыбы. Его разум требует фактов. Ему необходимы, как воздух, точные сведения, а тут прекратились и слухи, а уж если в России прекращаются слухи, тут надобно ждать самой срочной, непоправимой и всенепременной беды. По меньшей мере еврейский погром. В городе Киеве, помнится, перед еврейским погромом всегда падала такая же беспокойная тишина.

Вновь тревога впивается хищными пальцами в душу. Ползут ужасные от неведенья дни. Состояние преподлейшее, хоть волком вой, хоть дурным криком кричи.

Всего этих ужасных дней выпадает четыре. На пятые сутки врывается в городок шальное известие: победа вооруженного восстания в Петрограде! Пролетарская революция! Да здравствует социализм!

Заборы и афишные тумбы древнерусского города Вязьмы покрываются полотнищами первых декретов, отпечатанных на серой рыхлой бумаге:

«Власть Советам!»

«Мир народам!»

«Земля крестьянам!»

И начинается то, что не начаться не может. Власть в Москве берут юнкера. В течение шести дней срочным порядком созданная красная гвардия выбивает юнкеров из старой столицы. От памятника Пушкину прямой наводкой пушки бьют по Никитским воротам, осколки камней и снарядов свистят.

Того гляди, распадется страна. В феврале большевики едва ли насчитывали в своих тайных рядах триста тысяч, а кое-кто говорит, что не было и двадцати. К октябрю, как сами они говорят, большевиков становится приблизительно тысяч шестьсот. Из шестидесяти миллионов только эти шестьсот тысяч имеют некоторое представление о том, что есть рай на земле, да и среди этих шестисот тысяч далеко об этом знают не все. Прочие граждане не знают решительно ничего. О социализме мечтают чуть ли не все, это исстари у нас повелось. Однако социализм для крестьян – это земля, в частном владении и на все времена. Даже для многих рабочих, которые ещё далеко от земли не ушли. Интеллигентные люди даже не способны понять, какой такой социализм может быть, кроме, конечно, этой самой земли, когда среди этих бесконечных лесов и полей не имеется ни электричества, ни дорог, ни больниц, даже грамотности на четыре пятых населения нет. Откуда социализм? С какой стороны?

Между тем, новая власть устанавливается абсолютно легко, точно в какой-то забавной детской игре. Старая власть бестолкова, бессильна, решительно никому не нужна. Кажется, себе самой тоже. И вот является группа вооруженных людей, человек пять или шесть, арестовывает старую власть, провозглашает свою. Никто не оказывает никакого сопротивления. Солдаты рады: с фронта уже полками бегут. Крестьяне рады: уже всю до последней десятины землю берут, если не успели при Временном-то правительстве взять. Интеллигентные люди ничего не понимают. Брать нечего. Бежать неоткуда. Как сидели по больницам и школам, так и

продолжают сидеть. В изумлении ждут, чем окончится эта игра. Обитатели тоже не понимают и тоже чего-то испуганно ждут, на всякий случай за крепкими запорами затаясь по домам. В медвежьих углах вдруг ни с того ни с сего провозглашают коммуны, республики. Катавасия. Ошеломление. Точно замерло всё, но в любую минуту возьмет да и вспыхнет всемирный пожар.

Михаил Афанасьевич стареет у всех на глазах, становится мрачен. Болезнь его одним хищным скачком обостряется. Охваченный злобой и гадливым чувством к себе, он гонит бедную Тасю в аптеку, а потом чуть не на коленях, чуть не в слезах умоляюще вопрошает её:

– Ты в больницу меня не отдашь?

Проходит всего несколько дней, и начинают оправдываться самые наихудшие предположения. Армия так и хлынула с фронта, не дожидаясь, когда подпишется мир. Поезда летят по железным дорогам с пальбой и с грозными криками. С крыш вагонов для чего-то сорвано листовое железо. Окна классных вагонов выбиты сплошь. Из прямоугольной их черноты глядят тупые стволы пулеметов. Ни с того ни с сего пулеметы время от времени захлебываются истеричными очередями, пущенными просто так, в белый свет:

– та-та-та-та-та...

Деревня заворочалась и зарычала. Землю забрали. Так мало ж земли. Пылают усадьбы. В усадьбах пылают библиотеки. Проходят выборы в Учредительное собрание. Семьсот пятнадцать депутатов съезжаются в Питер. Восемьдесят пять процентов социалисты, всех мастей и оттенков. Четыреста двенадцать эсеров. Большевиков только сто восемьдесят три. Таков расклад. И расклад означает только одно: земля большевиков принимает только отчасти, правительство сформируют эсеры. Фантастика! Мистика! Что-то ещё! Ведь власть-то взяли большевики! Ведь какая ни на есть, а военная сила только у них! А ведь дело испокон веку известно: у кого военная сила, и власть у того.

В Вязме тоже появляется новая власть, и начинает кое-что проясняться. Без фантастики, без мистики власть. С черным маузером в светлой деревянной коробке. С подозрительным взглядом очень решительных глаз. В Сычовку назначается Еремеев. Осип Петрович Герасимов, ныне бывший товарищ министра народного просвещения, уезжает в Москву и там пропадает бесследно. Новая власть в своих решительных действиях руководствуется не разумом, поскольку разумных едва достаёт на замещение самых высочайших постов, не законом, поскольку прежние законы самым беспощаднейшим образом отменены, бесповоротно и навсегда, а новых не заводится пока никаких. Похоже, законы и разум становятся вообще предрассудком, поскольку новая власть руководствуется единственно революционным чутьем. Именно, именно так! А ведь всякому интеллигентному человеку нетрудно понять, в какие неожиданные дали заносит обыкновенного человека чутье, в особенности если тот человек всего лишь вчера выучился читать и писать по складам и нынче с утра получил партбилет.

Поистине, жизнь переворачивается вверх дном. История наступает всё грозней и грозней, посягая уже на все представления о разумности, допустимости, ответственности перед людьми, сжимая и подавляя своим темным, чересчур уж загадочным смыслом.

В сущности, что знает он об истории? Главным образом то, что кто-то где-то когда-то высадился черт знает зачем. Теперь у него на глазах тоже кто-то и тоже черт знает зачем отвергает страну, истощенную, уставшую от неудачной войны, в пучину преобразований невообразимых, неслыханных, полыхающих зарницами бед и невообразимых страданий, которые он уже предчувствует каким-то тревожно-обостренным чутьем и прозревает в каких-то безумных апокалиптических снах.

Глава тринадцатая

Туда, туда, на Андреевский спуск

И его первая отчетливо созревшая мысль совершенно разумна: необходимо бежать. Чем ближе стоит он к роевой общей жизни, лютой ненавистью кипящей ко всему и ко всем, у кого в кармане диплом и у кого правильная литературная речь, ещё не дай Бог очки на носу, тем скорее стихия поглотит его. Бежать надо, в большой город бежать, где легко затеряться, в Москву, ещё бы лучше на родину, в город прекрасный, в город счастливый, едва ли надежней, там тоже черт знает что, да сердцу спокойней: дома-то помогают и стены.

И вот в декабре он едет в Москву хлопотать об освобождении от воинской повинности, поскольку всех белобилетников призывают вновь предстать перед высокой медицинской комиссией. Впрочем, о том, как он передвигается в том направлении, где Москва, уже невозможно изъяснять этим мирным, приветливым словом, да и никаким, наверно, изъяснить словом нельзя. Билетные кассы уже не работают. Поездов тоже, в сущности, нет, а есть эшелоны, составленные из вагонов всех сортов и мастей, и эшелоны врываются на станции под разбойничий свист, рев гармоник и граммофонов. Служащие вокзалов разбегаются тотчас, как только окутанный паром локомотив влетает на первую стрелку. Дежурный по станции ни секунды не медля дает отправление. Все желающие покинуть пункт А и достичь пункта Б берут приступом переполненные вагоны, разумеется, не имея билетов, на которых обозначено место, и вскакивают на подножки почти на ходу.

Впрочем, какие же это вагоны? От прежних вагонов остается один только остов, ободраный и разбитый, словно только что потерпевший крушение и вновь возвращенный на рельсы. Эти противные остовы битком набиты солдатами, бегущими с фронта. Солдаты везут домой зеркала, вагонные умывальники и обрывки потертого плюша, вырезанного и выдранного из вагонных диванов первого класса.

Революционная, другими словами, езда, не похожая решительно ни на что. Едешь час. Стоишь два. Причем прямо в поле стоишь. Солдаты выбрасываются галдящей толпой из вагонов, разламывают заборы, хватают всё, что только способно гореть. В топку локомотива летит всякое дерево, вплоть до почернелых могильных крестов, снесенных с придорожного кладбища. Раздается раскатистый рев сотни пьяных, простуженных, сорванных глоток:

– Крути, Гаврила!

И уже не приходится риторически вопрошать:

– И какой же русский не любит быстрой езды?

Любят решительно все. В особенности под этот магический вскрик, перешедший в потомство. И перепуганный машинист, слышав его, на всю железку крутит свои колеса и рычаги. До следующей остановки и разграбления вех деревянных вещей, способных гореть.

При этом достойно упоминания ещё одно обстоятельство, абсолютно естественное, однако уже изумительное: вдоль железной дороги по-прежнему стынут в розовой дымке и пушатся от инея стройные сосны, точно на белом свете и не завелось никакой революционной езды.

Михаил Афанасьевич трясется в шатком вагоне, одетый в военную, хотя и не офицерскую форму. Разгоряченные волей солдаты, на произвол судьбы покинувшие отечество, по грустным равнинам которого уже беспрепятственно ступают германские сапоги, косят на него озлобленные глаза, переполненные солдатским чутьем. Он не понимает и не пытается даже понять, отчего сотни тысяч, даже миллионы взрослых мужчин, потеряв голову или никогда не имея её, мчатся как шальные по своим деревням, точно не соображают того, что враг неотступно следует по пятам. Он только ощущает каждой клеткой своего беззащитного тела, что в любую минуту, посоветовавшись со своим солдатским чутьем, эти люди выкинут его под откос.

Слава Богу, все-таки добрались. На этот раз ему даруется жизнь. Брестский вокзал оказывается сплошь заваленными телами в тех же серых солдатских шинелях. Те же шинели заполняют всю привокзальную площадь. Тут и там пылают костры, точно это не величавый город Москва, а полустанок в степи или стоянка диких кочевников. К безмолвному зимнему небу поднимаются целые тучи дыма костров и махорки.

Обнаружить извозчика не удастся. Говорят, что с первой вестью о второй революции извозчики сами собой исчезают с улиц Москвы, заспешив по родным деревням делить и столбить долгожданную землю. Трамваи ползут переполненными сверх всякой меры, вызывая в памяти бочки с селедкой, которые тоже куда-то исчезли, точно и не было никогда прежде ни просольных, ни пряных сельдей. В трамваях стоит визгливая брань, и невозможно не видеть, что под магическим жезлом революционных событий между людьми вдруг поселилась крутая вражда. До ушей его долетает ещё не знакомый, но много обещающий крик:

– Да тебя надо к стенке приставить!

Я вижу, как мой несчастный герой, интеллигентнейший человек, дружелюбный и мягкий, привыкший видеть людей спокойными, с беспечными лицами, невольно сжимается в ком из натянутых нервов и с подозрением поглядывает по сторонам. И на что натывается его затравленный взгляд? Его затравленный взгляд натывается на одни озлобленные, непримиримые лица людей, решившихся во что бы то ни стало отстоять свое священное право, нисколько не считаясь точно с таким же священным правом других.

Да, соглашается мысленно он. Приставят к стенке за милую душу, не дожидаясь скорого на расправу революционного трибунала. Состоит революционный трибунал всё из тех же замечательных троек, которые придумал на нашу шею Столыпин. Эти милые трючки и тогда никого не щадили, и теперь никого не щадят. Так и во Франции было. Кареев довольно обстоятельно в Муравишниках говорил. Так сказать, пополнял недостатки образования.

В учреждениях, которые он отчего-то никогда не любил, окончательно водворяется какая-то чепуха. Служащие всех рангов, исправно служившие царю и Временному правительству, нынче бастуют. Ждут, что со дня на день не станет большевиков. Тогда они снова станут исправно служить. Ходят на службу. Жалованье всё ещё получают. И ждут. Большевики их почему-то не трогают. Тоже, видимо, ждут. Одни учреждения вовсе закрыты, и неизвестно решительно никому, когда они будут открыты. В других комиссары из рабочих, солдат и матросов ещё только принимают дела, но по комиссарам тотчас видать, что они ни единого звука не понимают в этих мудреных делах. В третьих дела уже приняли и вот действительно не имеют никакого понятия, что и как решать по нынешним шальным временам. Оно и понятно: стенки кругом, попробуй реши.

Он колесит по Москве, точно потерянный, не веря глазам. От недавних боев с юнкерами пострадали целые улицы. Валяются неубранные столбы с перепутанной проволокой. Звенят под ногами медные гильзы винтовок и маузеров, которые тоже не убирает никто, точно дворников тоже не было никогда. Торчат остовы зданий. В частокле осколков глядят разбитые окна. Стены обезображены вмятинами от пуль. В Художественном дают «Три сестры». Митингуют у подножия Скобелева, у подножия Пушкина и на таганке. На Поварской в каждом доме штаб анархистов. Всюду рыла пулеметов торчат. Во дворах кое-где мрачно корячатся трехдюймовки. В «Метрополе» шампанское пьют и расплачиваются простынями неразрезанных керенок. Продовольствия нет. Сахара нет. За хлебом вьются громадные сказочные хвосты, которые он видит ещё в первый раз и уже будет видеть до конца своих дней. По Тверской проходят матросы в черных бушлатах, с пулеметными лентами через плечо. В кафе поэтов сделана на стене безобразная надпись, способная навсегда отбить уваженье к поэтам: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Футуристы, символисты, имажинисты. Серебряный век. За столиками плотно сидят литераторы, с именами и без имен. Тут же сидят спекулянты, обитатели, искатели раз-

влечений. Компания удивительная. Рядом с поджаренными кусочками черного хлеба, пирожными революции, и чашками кофе вороненой сталью чернеют открытые маузеры.

Становится очевидным, что его не уволят, потому что некому увольнять. Дезертировать он, представьте себе, не способен, не научился ещё. Приходится несолоно хлебавши возвращаться в проклятую, уже не безопасную Вязьму, где проще простого оказаться у стенки, поскольку в маленьком городке паразиты и офицеры, то есть заклятые враги восставших рабочих, солдат и крестьян, у всех на виду.

Но прежде он едет в Саратов, к теще и к тестю, то же, между прочим, заклятым врагам. Все признаки катастрофы на каждом шагу. Развал и безвластье, неразбериха и дикая ненависть к каждому, кто не народ, в особенности лютейшая ненависть к офицерам, которым солдаты на каждом шагу припоминают и грубые окрики, и наименование скотины и хама, и мордобой.

Он растерян. Темные предчувствия всё сильнее, всё неотступней сокрушают его. Все его товарищи по гимназии, по университетскому курсу в офицерских шинелях, как давно в офицерских шинелях вся русская интеллигентная молодежь. Сестра Варя замужем за офицером. Муж Нади, Земский Андрей, филолог, университетский диплом, прапорщик артиллерии, стоит с дивизионом в Царском Селе. В военное училище поступает Николка, ещё в сентябре, стало быть, юнкер теперь, а юнкеров ненавидят ещё лютей офицеров.

Ясно: всех друзей, всю родню перебьют. Как же быть? Как жить в постоянном ожидании, что тебя схватит за шиворот первый встречный солдатский патруль и тут же приставит к стене?

Он возвращается в Вязьму. Полнейшее одиночество. Он томится, тоскует. Он лечит больных, размышляет, читает по вечерам. Нечего удивляться, что читает он Достоевского. У самого глубокого и страстного из российских пророков он ищет разумных ответов на загадки грядущего. Однако какие ответы может дать тот, кто всю жизнь сам метался от крайности к крайности, сам ответов искал? Ответов он не находит, по правде сказать, никаких. Ошиблись, ошиблись пророки. Народ-богоносец? Как бы не так!

А тут слухи ползут, аки тати в ночи, один другого черней. Объявляют вне закона кадетов, то есть ловят и отвозят в тюрьму. Туда же отвозят членов «Союза защиты Учредительного собрания». Врагов народа определяют, четыре разряда. Изумительно и ни с чем не сравнимо, кто и к кому из этих врагов попадает в соседство. Сами судите: богатеи, кулаки, хулиганы, интеллигенты! Этого почти невозможно понять. Положим, о богатеях, генералах, общественных деятелях что говорить. Нечего о них говорить, тут революционное чутье начеку. Кресты да Бутырки плачут о них. Местным властям спускаются циркуляры, в которых призывают проявлять самодеятельность, проводить конфискации в пользу нищей республики, уже до нитки разоренной и обворованной под водительством Временного правительства. Заодно призывают проводить вразумления и аресты, аресты, разумеется, прежде всего. Жулики, хулиганы? Об этих субчиках тоже нечего говорить, да много ли их? А с какого же боку интеллигентные люди тут приплелись?

Умопомрачительная приключается вещь. В России считается около трех миллионов интеллигентных людей, впрочем, считается по правилам тогдашней статистики, то есть включая всех людей умственного труда, даже городских. И вот новая власть хорошо понимает, что без этих трех миллионов интеллигентных людей не то что социализма в России не будет, а не будет вообще ничего. Встанут электростанции, которые и без того уже почти встали. Встанут заводы, на которых тоже едва теплится жизнь. Замрут поезда, которые и без того уже держатся одним революционным энтузиазмом и призывом к Гавриле. Укоренится невежество. Эпидемии скосят народ. Возвращаться придется к едва различимым, звероподобным, каким-нибудь берендеевым временам. Это с одной стороны.

А с другой стороны, именно эти интеллигентные люди, разум и совесть России, не видят ни возможности социализма, ни самой социалистической революции, а видят лишь государственный переворот бонапартистского толка. По этой причине новой власти не признают. Не

признают, правда, молча. Оружия не берут. Однако служить ей не хотят, Ждут Учредительного собрания, где большевики в меньшинстве. Считают Учредительное собрание, избранное как-никак всенародным голосованием, единственно законной властью в России.

Прямо надо сказать: решающий, определяющий чуть ли не всё направление эпохи конфликт. Этот конфликт новой власти предстоит разрешить. И как же его разрешает новая власть. Почти так, как разрешала его и царская власть, которую интеллигентные люди тоже не признавали, и если служили ей, то не за совесть, а только за хлеб, с постоянной фигой в кармане.

Новая власть решает интеллигентных людей подавить, устрасить, и если понадобится, то истребить. Интеллигентным людям война объявляется не на жизнь, а на смерть: либо в тюрьмах сгниете, с голоду перемерете, либо покоритесь вооруженной руке. Вернее сказать, война продолжается: ведь и в тюрьмах гноили за каждое слово, и голодом морили, и вооруженная рука всегда наготове была, ведь и для русских царей интеллигентный человек всегда представлялся яacobинцем, первейшим врагом.

Первым делом интеллигентным людям не дают говорить. Отменяется прежняя свобода печати, когда тоже говорить дозволялось вовсе не всё, но когда запасы бумаги и всё типографское дело все-таки находилось в частных руках и кое-какие запретные мысли кое-как можно было протиснуть в печать. Объявляется новая, более полная свобода печати, когда все запасы бумаги и всё типографское дело поступает под строжайший контроль новой власти и когда никакого запретного слова уже никуда протиснуть нельзя.

Благодаря этому новшеству на помощь слухам приходят газеты, открытые новой свободой печати, и тут уже волосы дыбом встают, не держит несчастные волосы никакой бриолин. Газеты, попавшие под строжайший контроль новой власти, именуют интеллигентных людей не иначе, как прихлебателями, слякотью и черт знает чем. Газеты призывают очистить русскую землю от насекомых и паразитов, разумеется, вредных. В первую голову от тунеядцев и саботажников, которые себя именуют интеллигентами. Другими словами, предлагается поскорее избавиться от инженеров, агрономов, экономистов, статистиков, профессоров, литераторов, учителей и врачей. Для столь возвышенной цели надлежит использовать карцер, принудительные работы, унижительный желтый билет. Вообще использовать надо всё, что взбредет в революционную голову, осененную, вместо разума, революционным чутьем. Начинать же следует с патриарха, непременно с него, чтобы, так сказать, вышибить дух, духовную опору у интеллигентного человека отнять, который, правда, в Бога и патриарха верит очень посредственно, однако с духовной опорой сильней Геркулеса, а без духовной опоры пигмей. Что ж удивляться, что спустя самое короткое время патриарх попадает в ЧК.

Итак, истребление русской интеллигенции предрешиено.

И Михаил Афанасьевич чувствует каждый день, каждый час в своей тихой Вязме, что занесен над ним нож и что в любую минуту этот нож вонзится в самое сердце, распорет живот. Много ли надо для тех, у кого на месте разума и закона чутье? Ничего им не надо. Он бредет каждое утро бритвой «Жиллет», у него превосходный пробор в волосах. Как не шлепнуть такого субъекта, саботажника и тунеядца, даже если саботажник и тунеядец с утра до вечера в уездной больнице торчит? За больницу и шлепнут в первую голову, если в больнице кто-нибудь ненароком помрет. Сколько раз и в благословенные времена гражданского мира, законности и тишины слышал он у себя за спиной краткое обещанье:

– Убью!

Безысходность. Тоска. По ночам город Киев снится в море белых огней, милые лица, раскрытый рояль. Совсем неприметно проскальзывает в этом году Рождество. Кому придет в голову в такую-то пору славить рожденье Христа? Уже Новый год подступает. Тридцать первое декабря. Тася стряпает что-то, слышно, как то и дело посуда на пол летит. Он сидит в своем

кабинете. Сделал укол. Пишет Наде письмо. Беспорядочно пишет, как приходит на растреванный ум:

«Дорогая Надя, поздравляют тебя с Новым годом и желаю от души, чтобы этот новый год не был бы похож на старый. Тася просит передать тебе привет и поцелуй. Андрею Михайловичу наш привет...»

Укоряет сестру, что не пишет, что адреса своего не дает. Делится своим беспокойством о маме:

«Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А ещё в большем отчаянии и оттого, что не могу никак получить своих денег в Вяземском банке и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 р. ухнут в море русской революции. Ах, как пригодились бы мне эти две тысячи! Но не буду себя излишне расстраивать и вспоминать о них!...»

Наконец важнейшее, то, что на душе его камнем лежит:

«В начале декабря я ездил в Москву по своим делам, и с чем приехал, с тем и уехал. И вновь тяну лямку в Вязьме... Я живу в полном одиночестве... Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам... Мучительно тянет меня вон отсюда в Москву или в Киев, туда, где, хоть замирая, но всё ещё идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве! Через два часа придет новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснился Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино... Недавно в поездке в Москву и в Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут в сущности об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке... Идет новый год...»

О, теперь уже до конца его жизни и долее предстоит ему видеть то, чего не хотел бы он видеть. Он и увидит и впоследствии с трагической горечью скажет:

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс...»

Учредительное собрание все-таки собирается в самом начале этого страшного года. Социалисты всех мастей и оттенков и немного кадетов. Демонстрацию в поддержку Учредительного собрания расстреливают на углу Невского и Литейной. Самим же народным избранникам, высланным в столицу на основании избирательного права всеобщего, предлагается признать Советскую власть, декрет о мире и декрет о земле.

Однако народные избранники, хоть и социалисты в своем большинстве, делать это не собираются. По непонятным причинам, поскольку Советская власть на просторах России утверждается без особых трудов и хлопот, земля давно сплошь у крестьян, а без немедленно заключенного мира вообще не станет России, о чем цивилизованная Европа хлопочет уже много веков. Впрочем, объяснение дается очень простое: народным избранникам такого наказания никто не давал.

Избранный большинством голосов председатель напоминает собранию, что оно является верховной законодательной властью и оно одно способно спасти от раскола Россию, то есть спасти её от гражданской войны.

В третьем часу ночи принимается постановление: вся полнота власти принадлежит Учредительному собранию.

Большевики в знак протеста покидают зал заседаний, который остается под охраной пьяных матросов с «Авроры» и с линкора «Республика». В качестве напоминания, что есть всякая власть и каков её механизм, скрытый или припудренный словами о народном избрании.

В пять часов в зал заседаний как ни в чем не бывало вваливается в черном бушлате матрос, с пулеметной лентой через плечо, анархист, новый бог ещё не разразившейся гражданской войны. Объявляет глумливо, что вот устал караул. Это авторитетная фраза, поскольку у караула не только пулеметные ленты, но и штывки. Этой фразой Учредительное собрание распускается навсегда. Русская демократия пока что заканчивается, не успевши начаться. В назидание потомкам, надо сказать.

Власть сохраняют большевики. С землей уже всё понятно. Остается заключить с германцами мир, в исполнение своего же декрета о мире. Однако на этот счет и сами большевики никак не могут договориться между собой: все-таки мир предстоит заключить с исконным врагом и ценой громадных потерь. Даже в большевистском ЦК большинство высказывается за то, чтобы русских земель не терять и войну с исконным врагом продолжать.

Переговоры о мире срываются. Германцы шагают на Петроград сквозь почти оголенный, брошенный, не существующий фронт. Совет народных комиссаров отечество объявляет в опасности. Старой армии не существует. Специальным декретом отменяется всеобщая воинская повинность. Формируется новая армия, Красная, из одних добровольцев. Правительство тайно переезжает в Москву.

Добровольцев защищать новую власть оказывается очень немного. На скорую руку формируется несколько жидких отрядов, которые спешным порядком перебрасываются на позиции, с тем, чтобы остановить всю германскую армию, дисциплинированную, обученную, вооруженную до зубов. Нечего прибавлять, что желание добровольно вступить в новую армию и выступить на защиту отечества меньше всего обнаруживают в своих закоснелых сердцах офицеры, то есть русские интеллигенты прежде всего, надевшие военную форму именно для защиты отечества от векового врага, а ныне объявленные прихлебателями, тунеядцами, слякотью.

Михаил Афанасьевич бросается снова в Москву, несмотря на то, что прежняя армия перестала существовать и тем самым он фактически получает свободу. Да мало ли что. Время опасное, скользкое. Просто необходимо держать ухо востро. К тому же он земский врач. Без формального разрешения он не способен бросить больных.

Странное дело, он обнаруживает в Москве, что новой власти и врачи не нужны. Его отпускают, и отпускают его равнодушно, даже не взглянув на него, хотя в выданном ему документе формальным образом сказано, что освобождается он по болезни.

Он мчится обратно и двадцать второго февраля 1918 года получает в Вязьме, в земской управе, окончательный документ, гласящий о том, что доктор Булгаков «выполнял свои обязанности безупречно».

Он без промедления складывает свой чемодан и с помощью революционной езды вновь прибывает в Москву.

Вдогонку ему летят вести о том, что чудо все-таки совершилось. Батальонам революционных рабочих и революционных матросов, сильных более духом, чем выучкой и оружием, удается остановить продвижение германских дивизий под Псковом и Нарвой. Стало быть, новая армия уже формируется, и тем самым духом, на который как на главную силу указывал в романе Толстой, она превосходит прежнюю армию.

Тем не менее германские дивизии продолжают наступление в Белоруссии и на Украине, где не находят нужным призывать на борьбу с ними революционных рабочих и революционных солдат. По этой причине два дня спустя новой властью подписывается в Бресте постыдный, для России немислимый мир: Россия теряет Прибалтику со старинными русскими городами, теряет недавно приобретенные Карс, Ардаган и Батум, на Украине, объявившей себя самостийной, учреждается германская оккупация.

Такого постыдного мира новой власти не способен простить ни один русский интеллигент, ни один офицер. Воспитанье не то. За десять столетий писанной русской истории

въелась в плоть и кровь русского человека знаменитая мысль Святослава о том, что лучше быть убитыми, чем полоненными. Эти люди презирают историческую необходимость. Им не понятны уловки политиков, которые предвидят германскую революцию и бескровное возвращение только что утраченных русских земель. Они находят безнравственным и преступным всякое соглашение с национальным врагом. Когда-то их победоносные предки пожертвовали Москвой и той тяжкой жертвой спасли Россию от другого врага. Тут проходит полоса отчуждения, и уже ни у той, ни у другой стороны не возникает ни желания, ни возможности эту мрачную полосу переступить.

Дорогой ценой покупает новая власть необходимую передышку. Она почти везде утвердилась, за исключением, пожалуй, только юга России. Советы везде. Однако страна только мирится с ней, но не торопится её принимать. Крестьяне-середняки, кустари, казаки и массы городских обитателей не имеют ни малейшего желания сотрудничать с ней. Казаки учреждают собственные республики на Дону, на Кубани, на Тереке. Кустари прекращают свой труд. Крестьяне как отказывались, так и отказываются везти в город хлеб. Обитатели забились в свою конуру и утробно молчат.

О, эта роевая общая жизнь! Власти над ней не установить никому! Мифы, мифы вокруг! Дальнозорок и мудр оказывается великий Толстой!

Нужно прибавить, истины ради, что уезжает Михаил Афанасьевич из города Вязьмы в самое подходящее время: то ли чутье подсказало, то ли хранила пастушья звезда. Ближе к лету из Москвы поступает по инстанциям вниз директива об аресте всех бывших помещиков, их управляющих и доверенных лиц, также и паразитического прочего элемента, всё это мероприятие надлежит проверить, натурально, в самые сжатые сроки и руководствуясь единственно непогрешимым революционным чутьем.

Из этой искры, запущенной сверху, внизу разгорается буйное пламя. Вновь полыхают усадьбы, библиотеки горят. Еремеевская ночь гроыхает в Сычовке, и падает её жертвой Михаил Васильевич Герасимов, председатель земской уездной управы, когда-то сказавший начинающему врачу напутственное словечко «освоитесь».

Как знать, во что бы в ту ненастную ночь могла обойтись присущая паразитам и тунеядцам привычка бриться семь раз в неделю и вытягивать в нитку ненавистный пробор?

В пути на крышах вагонов, рядом с солдатами, всё ещё бегущими толпами с фронта, новый персонаж предстает его измученным взорам. Это мешочник. Знамение времени, рожденный революцией спекулянт, бессмертный тип однозубой советской сатиры. Москва кишит спекулянтами и бандитами, которые вырастают точно из-под земли, словно смутное время их нарочно плодит. Всё, что ни попадает под руку, эта стихия нагло, с нахрапом тащит к себе, и новой власти не удастся её обуздать. Бездна анархии готова разверзнуться и всё поглотить. Вождь революции указывает твердо и ясно:

– Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии – вот наш главный «внутренний» враг... Либо мы подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа... либо он скинет нашу, рабочую, власть неизбежно и неминуемо...

Неизбежно и неминуемо...

Сколько же в России мелкой буржуазии? Девять десятых? Девятнадцать двадцатых? Всего одна треть? Позади него Вязьма, неподвижная, мещанская вся, насквозь, целиком и тоже до мозга костей. Рыцарь чистый и светлый, он себе даже представить не мог, чтобы по законам и тайникам обширной прежде империи копошилась такая ненасытная пропасть стяжания, жадности, оборотистой лжи, которую вдруг выворачивает наружу эта смута, эта сумятица всемирной истории.

Нелепость, бессмыслица, дикость!

Что ж ожидает нас впереди?

Неизбежно и неминуемо...

Будущее для него окутано мглой. Невозможно ничего разглядеть. Что остается ему? Родной дом, безбрежное море тополей, каштанов и лип, сытный жар изразцов, бой часов и раскрытый рояль. А ты бушуй, океан!

Глава четырнадцатая

Передышка

В Москве он ищет пристанища. Всюду его встречают слова, смысла которых невозможно понять, в особенности если речь идет всего-навсего о найме квартиры: мандат, чека, доком, уплотнение, саботаж. Понемногу злокозненный смысл этих варварских, виртуозно придуманных слов для него проясняется. Если бы он был пролетарий, просто какой-нибудь говночист, ради заслуги его социального положения кого-нибудь можно было бы уплотнить и вселить его в квартиру какого-нибудь тунеядца, паразита и саботажника с дипломом в кармане, вроде профессора греческой филологии, бактериолога или никчемнейшего специалиста по истории какого-то Ренессанса. А поскольку он врач, лекарь с отличием, то есть сам принадлежит не к говночистам, этим новым аристократам, вроде прежних князей, а к презренным тунеядцам, паразитам и саботажникам, которых прежние аристократы тоже не жаловали, ему в обширной Москве нынче пристанища нет.

Что ж, он обедает в «Праге», часть вещей оставляет у дядьки Николая Михайловича и втискивается кое-как в поезд, в самый последний, который следует до города Киева. Еще день промедления, и уехать будет нельзя: германец на подступах к городу Киеву.

Поезд тащится до того отвратительно, что словами передать невозможно ни на каком языке. Остановки на каждом шагу. На полустанках. Прямо в степи. Какие-то всадники подсакивают на усталых конях, о чем-то перекликаются с машинистом, в залитой маслом тужурке, с чумазым лицом, с ледяным страхом в глазах. Навстречу с той же кладбищенской скоростью тащатся переполненные какими-то грузами и людьми эшелоны. По разбитым дорогам с трудом волочат ноги серые, потрепанные полки: части красных, в полном согласии с договором, подписанным в Бресте, уходят, оставляя Украину германским войскам. И всякий раз, как случается остановка в пути, сжимается и падает сердце: возьмут машиниста, паровоз отберут, прикажут возвращаться назад, расстреляют прямо в степи.

А не хочется возвращаться, тем более не хочется стоять перед взводом. Уже станции замечательные: Бобрик, Бровары. Уже степные пески, заброшенные протаявшим снегом. Позади остается какая-то жидкая цепь с примкнутыми к черным дулам штыками. Далее не видится ни души. Должно быть, охрана новой границы. Там-то кто? Германцы уже? Или те, шинели без шаровар, которых видел в прошедшем, почти мирном году?

Внезапно ввысь купола Лавры взмывают. По колено в снегу чернеют сады. Покрытые снегом и льдом необозримые просторы Днепра. Слободка. Состав томительно-долго тарыхтит через мост. Приехали наконец! Вечереет. Разумеется, не встречает никто. Ни цветов, ни объятий, ни вскриков, а так хорошо, точно всё это есть. Выходят на привокзальную площадь. Садятся в пролетку извозчика, которые вот они, на каждом шагу. Слава Богу, наконец-то нормальная жизнь!

Едут на Андреевский спуск, в дом 13. Куда же ещё? Приезжают, нервно звонят. Тут уж объятия, вскрики. Николка вытянулся, в унтер-офицерских погонах, а всё как прежде, мальчишка, на шее повис. Вера, Варя с мужем, двоюродный брат Константин. И мама, мама, светлая королева, дороже и радостей нет. Отводят ему прежнюю угловую с балконом и принимаются жить, радуясь, что в этой каше все пока живы и все опять собрались.

Как и полагается в таких редких случаях спасения посреди отвратительных бурь, несколько дней проходит в суетливом блаженстве. То разом все говорят, то разом все замолкают. Он наслаждается великолепным теплом пышущих кафелей, шуруется на слепящий электрический свет, улыбается, как будто счастливо и как будто загадочно. Прекрасно все-таки устроена жизнь, если вы, после долгих и трудных скитаний, возвращаетесь в родительский дом, где вас ждут. Покидайте его, чтобы сделаться взрослым, но непременно возвращайтесь назад!

Через несколько дней, как и следует, начинается сама жизнь. Варвара Михайловна, забрав с собой самую младшую, Лелю, окончательно перебирается к своему новому мужу, тому самому, уже знакомому, доктору Воскресенскому, Андреевский спуск, 38, в замечательную квартиру во втором этаже, полную таинственных восточных вещей, уплотнению не подлежащую, не подвластную никакому составленному из говночистов домкому.

Молодежь остается одна. Жила, жила за каменной стеной, и вдруг оказалось, что никто ничего не умеет. Кухарки нет, горничной нет – следствие решительного освобождения личности под воздействием тлетворного духа событий. В особенности же во всей наготе вздымается глупейший чудовищный финансовый беспощадный вопрос, который по-своему стоит квартирного. Денег в большом семействе никто не имеет. И зарабатывать не умеет никто. Один учился, другой воевал, времени, вишь ты, ни у кого не нашлось.

Михаил старше всех, уже с опытом жизни, становится строг и суров. Вся житейская неурядица им разрешается просто. События революции сами собой наводят на блестящую мысль: на все работы, в особенности по кухне, очередь устанавливается, хвост, как нынче в Москве говорят. Финансовый беспощадный вопрос Михаил, с хлебной профессией в доме единственный человек, берет на себя. Угловая с балконом, прямой выход в парадный подъезд, освобождается под кабинет. Тася продает столовое серебро, которое ей подарили родители, продает по дешевке, поскольку, интеллигентная женщина, не имеет навыка продавать. На эти пять тысяч приобретается оборудование, ставятся ширмы, на парадных дверях двумя обыкновенными гвоздиками приколачивается белая, своими руками изготовленная дощечка:

«Доктор М. А. Булгаков.

Венерические болезни и сифилис.

Прием с 4-х до 6-ти».

И берется за дело. Дело тащится, как революционные поезда. Конкуренция, черт побери. Со всех сторон в город Киев сбежалось слишком много врачей, одни с фронта, другие из обеих столиц, где они саботажники, тунеядцы и паразиты. Попадают большие светила. Безработные все. За любые деньги готовы лечить. Сволочи, черт их возьми!

Михаил Афанасьевич нервничает. Всю эту ораву, братьев, сестер и кузена, надо кормить, а чем её станешь кормить, когда больные венерическими болезнями не торопятся показаться ему. Показываются, конечно, однако так редко, что на гонорары не проживешь. К тому же, появляются рядовые, солдаты, голь перекатная, на этих нищевродах никакого богатства не наживешь. Богатые, как ни странно, такими болезнями редко болеют.

Он торчит в кабинете с четырех до шести, нелюдимый и злой. Тася помогает ему: держит руку больного, когда он вкалывает нессальварсан, воду кипятит в самоваре для шприца.

Тут, неожиданно для него, в характере Таси обнаруживаются два противоположные свойства. Прежде, даже в Никольском, кухарка в доме была, где же ему замечать? Без кухарки же одна дребедень. Только дежурство подходит – Тася носится как угорелая, что-то роняет, что-то кричит, того гляди кипятком ноги обварит, свои и чужие. Обед каким-то чудом является все-таки на столе, что-то без соли, что-то из одной почти соли, однако приходится есть, оттого что больше нечего есть. После обеда горы грязной посуды на кухне. И тут начинается бой: тарелки, точно живые, выпадают из Тасиных рук, валятся вилки, ложки, ножи. Возникает прямая опасность, что через месяц-другой семье не из чего станет обедать. Тогда на кухне появляется сосредоточенный Ваня, подвязывает фартук, оставленный мамой, и ласково так говорит:

– Тася, ты не беспокойся, я всё сделаю. Только потом мы с тобой в кино сходим, ага?

И ходят в кино, и дежурство по кухне обходится кое-как без серьезных потерь. Однако остаются ещё самовары. Для кипячения шприца, понятное дело, позарез необходим кипяток. Не доктору же, в самом деле, у самовара сидеть? Доктору сидеть никак у самовара нельзя, у доктора несчастный сифилитик сидит, несчастному сифилитику необходимо сделать укол. К самовару скорая на ногу Тася бежит, скорая так же и на язык. За три комнаты слышится её

пулемет: та-та-та-та-та. Глядь: самовар распаялся, кран отвалился, весь посинел. Тася бледнеет. Он вылетает из кабинета, орет, осложняет семейную жизнь.

У этой же тоненькой легкомысленной Таси вдруг является в иных случаях сила характера. Морфий, понятное дело, всё продолжается. Время от времени доктор Булгаков выпишет рецепт и отправляет Тасю к аптекарю. Известно из практики, что излечить морфиниста имеется один единственный, простой, однако нечеловеческой тяжести способ: морфия не давать. И Тася возвращается с пустыми руками. Он снова орет, осложняет семейную жизнь и гонит её. Она возвращает и колет ему какую-то дрянь, которая не оказывает ни малейшего действия, чему удивляться не стоит, поскольку вкальвается дистиллированная вода.

Не боюсь утверждать, он испытывает адовы муки, если не почище адовых мук. Идти к аптекарю самому? Это исключено. Не может он идти к аптекарю сам, гордость не позволяет, стыд обжигает и мучительный страх, что умный аптекарь догадается по глазам, по глазам-то морфиниста нельзя не узнать.

И он с отвратительной, не присущей его характеру жестокостью снова и снова орет, осложняет семейную жизнь и гонит Тасю с рецептом в руке. Она отказывается идти. Тася? Не может этого быть! Так пойдешь, черт возьми! Однажды, ничего уже не помня от муки и ярости, он зажженным примусом швыряет в неё. В другой раз выхватывает черный браунинг из кармана, поскольку нынче без браунинга не ходит нигде, даже дома, никто без браунинга в заднем кармане брюк не решится даже большого принять, и очень серьезно прицеливается в неё. Она ошалело визжит. Вламываются Николка и Ваня, вышибают браунинг из его трясущихся рук, отбирают, уносят с собой. Всё, больше нет сил. Куда же деваться ему?

И внезапно чувствует облегчение. Ценой жутких мучений его кровь очищается понемногу от губительной, от презренной заразы. Потребность в морфии с каждым днем на убыль идет. Слава Богу, он врач и знает отлично, что ему поразительно повезло. Слава два раза Богу, что у него действительно сильная воля. С этого дня ему надо лишь удержаться, задавить свою проклятую слабость, и он окажется абсолютно здоров. Он удерживается. Неужели он победил семиглавого змия? Да, истинно, истинно вам говорю: он победил! Порадуйтесь за него и снимите перед ним свои шляпы!

Он озирается. Боже мой! Чудеса творятся на свете! В полном разгаре весна. Каштаны цветут. Всюду сквозь сочную зелень торчат пирамиды. Зелени море. Днепр. А воздух прозрачен и свеж. Упоительна жизнь. Не сравнима ни с чем. Ликуйте же все, кто живет!

Он видит всё, что творится вокруг, совершенно другими глазами. В городе Киеве серые немцы на каждом шагу, здоровые, сытые, заливки, кожа так и лоснится, за сто метров видать, что разожрались на хохлацких харчах. Немецкими офицерами заняты все стулья в кафе. Монокль, перчатки и стек. И все жрут непрерывно. То ли наголодались в окопах, то ли национальный характер шкурный такой. Сам черт их не разберет. Однако ж до чего же исправно жрут всё подряд!

Шаровары без шаровар, оказывается, тоже вернулись. Правда, теперь в шароварах. Тем не менее при немцах делаются абсолютно не те. Во-первых, и это, разумеется, отградней всего, уже не смеют никого убивать. Во-вторых, сами шлепают по улицам без сапог, с какой-то затаенной опаской в наивных деревенских глазах, и вид неуверенный, как бывает у всех незваных гостей. Впрочем, что-то в шароварах немцев всё же смущает, и однажды немцы выставляют шаровары из города Киева вон, и этот грубейший поступок не вызывает ни малейшего возмущения горожан.

На месте шаровар немцами учреждается новая, украинская власть, совершенно смешная, впрочем, иначе при немцах, должны быть, приключиться с новой властью и не могло. В один прекрасный день обомлевшим гражданам города Киева коротко объявляют, что на Украине власть «гетьмана» и что, больше того, выборы состояться – «гетьмана всея Украины». Вы когда-нибудь такое слышали?

«По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора...»

Ну, даст или не даст, юмора и доселе хватает. Вся эта катавасия с цирком и с выборами происходит до того неожиданно, что никто не успевает заметить, какая многообещающая у «гетьмана всея Украины» фамилия: Скоропадский! Замечают только, что он вовсе не «гетьман», а бывший царский свитский генерал.

Да и черт с ним, что генерал. Радостно то, что порядок наконец возвращается в город, а вслед за порядком приходит и блаженная тишина. Возобновляется хотя и довольно запутанная, однако очень похожая на настоящую жизнь. Представьте, не стреляют нигде, не бьют, к стенке кто попало не ставит кого ни попало. Хвостов тоже нет. Выходят газеты, согласно с прежним законом о свободе печати, когда все запасы бумаги и всё типографское дело находится в частных руках. Натурально, врут они, как и прежде, безбожно, а всё же приятно, поскольку врут по желанию, по воле своей. Литературно-художественные журналы тоже выходят. Названия ничего себе. Например, «Куранты искусства, литературы, театра и общественной жизни». Того гляди, грянет башенный бой. Трудно поверить, но кое-что даже можно читать. Плевицкая, замечательная певица, романсы поет. Ждут гастрольные спектакли московского театра «Летучая мышь».

Кое-кто, разумеется, гадит. В аристократических Липках собираются люди светского и околотетского круга, от действительных, кровных аристократов до разоренных помещиков, разбогатевших финансовых воротил, биржевых игроков, генералов, министров и всевозможных министерских шутов. Они громко праздную освобождение от красных чудовищ, оплакивают кинутое в Москве и в Петрограде имущество и спешат, ужасно спешат возместить душевизирующую горечь утрат.

Разоренные помещики с помощью немцев возвращают себе свои дореволюционные земли и набавляют повинностей вдвое и втрое на послереволюционных крестьян, полагая, что это и есть торжество справедливости. Прочие возвращаются к привычным делам, то есть ворочают миллионами, добиваясь от бестолкового гетмана льгот, монополий, права торговли и у него же под носом торгуют страшными тайнами его внутренней и внешней политики, которая у гетмана кой как бредет, точно пьяная. Составляют громадные состояния, в царских рублях, в керенках, в гетманских пустопорожних бумажках, но предпочтительно в марках и в долларах, которыми возле городской думы успешно торгуют жучки.

Спекуляция процветает повсюду. На толчке купить можно всё, что угодно, даже винтовку и пулемет. На каждом шагу открываются рестораны, шашлычные и кафе. Открываются казино, кабаре. Открываются комиссионные магазины, которых прежде торговля не знала. Комиссионки, как тотчас стали их называть, переполнены подержанными вещами, от ценнейших дамских мехов и столового серебра до нательных крестов и икон.

По городу слоняются русские офицеры, обношенные, потертые, озлобленные четырехлетней неудачной войной, Брестским миром и своим полнейшим бездействием. Водку пьют. С жаром и хрипом спорят о том, как быстрее и проще перевешать большевиков. Одни стоят за Корнилова и Деникина, у которых с бору да с сосенки набирается едва ли больше четырех тысяч исключительно офицерских штыков, да вот беда, Краснова и Деникина не принимает земля, тайком выбирают они из недружелюбных казачьих земель и бредут неизвестно куда. Другие предпочитают Краснова, да и с этим тоже беда, с большевиками воевать не желает, казачки отчего-то мирной жизни хотят, дождутся, дождутся сукины дети, когда большевички их схватят за горло, вот тогда поглядим. За все российские беды клянут бесстыдных евреев. В воздухе попахивает еврейским погромом и вспархивает вполне определенная сволочная программа:

«Бей жидов, спасай Россию!»

Михаил Афанасьевич всё это видит, но точно пока и не видит. Иное сердцу его дороже и ближе. От красных отрядов в город Киев отовсюду сбежались интеллигентные люди. Врачи, инженеры, профессора университетов и академий, журналисты, актеры, ученые. Приезжает академик Вернадский и тотчас принимается за учреждение украинской академии по типу российской. На первом же заседании должен был председательствовать профессор духовной академии Н. И. Петров, бывший наставник, сослуживец и близкий отцу человек. Приезжают молодые ученые Асмус, Алексеев, Гудзий, филологи. Спасают культурные ценности, из окрестных дворянских усадеб, которые вновь начинают пылать по ночам, вывозят библиотеки, десятки, сотни тысяч томов. В Народном университете лекции по греческой философии читает Лев Шестов, сын известного киевского текстильного фабриканта Исаака Шварцмана. Энтузиазмом этих людей культурная жизнь города Киева возрождается у всех на глазах, точно никогда на свете и не было никаких шинелей без шаровар.

И вновь в бессонные ночи тревожат его размышления. Зреют тайные мысли, которые подолгу мучат его. Свежим дыханием настоящего оживляются тени недавнего прошлого, и бродят в его беспокойном уме привидения.

На что намекают ему привидения? Что говорят ему тени? Что он видит повсюду, едва отрава дурмана оставляет его? Две повсюду наблюдает он всемирные силы: культура и дикость. Одна светит и греет и служит обновлению жизни. В непроглядных первобытных дебрях другой бурлит и рвется наружу жестокость, насилие, разрушение, смерть. Невежество и духовная темнота. Свет разума, знание, созидание, творчество, долг. Противоборством этих двух неиссякаемых сил, а вовсе не классов, движется жизнь. Одна сила проводит электричество и возводит дворцы. Другая сила взрывает и жжет. В жизни они рядом идут, то и дело обгоняя друг друга. В какую же сторону они движутся ныне?

И снова он видит египетскую, непроглядную тьму и звезды, искры культуры, рассыпанные во тьме, и одни только звезды и искры способны рассеять её, а больше ничто. И снова он видит себя в обширной земской больнице, отрезанным от мира бездорожьем и длинными выюгами, видит совершенно неопытным юношей, не умеющим почти ничего, один на один с этой грозящей всевозможными бедами тьмой и слышит за спиной у себя: мотри, мол, убью!

И отблеск освобождения, отблеск победы над отравой дурмана падает на хрупкие плечи того беспокойного юноши, поддержанного одной только верой в добро, одушевленного одной только мыслью о святости долга, который необходимо исполнить, несмотря ни на что.

Удивляется он, не всегда даже верит себе, куря папиросы, бродя ночью без сна по своей боковой угловой. Образ юноши носится перед ним, в белых одеждах, с окровавленными по локоть руками, с таким утомленным, однако счастливым лицом. Кто же герой? Разве тот, кто где-то скачет верхом и бежит, спотыкаясь и падая, в пешем строю, весь в поту, с остановившимся взором, в котором нет ничего, кроме застывшего ужаса смерти, с распахнутым ртом, с шашкой наголо, с трехгранным, оставляющим ужасные раны штыком, чьими руками всюду губится, всюду истребляется жизнь? А не тот, кто, вооруженный одним стетоскопом, склоняется где-то в непроходимой глуши над постелью тяжело больного и одним напряжением своей человеческой воли, с горсточкой разрозненных знаний, с потрепанным справочником в кармане халата, возвращает страждущим здоровье и жизнь? Тьма высылает всадников на белых и на черных конях. Искрами света озаряются непорочные юноши. Всадники на белых и черных конях в жертву своим безумным идеям приносят женщин, стариков и детей. Светлые юноши приносят в жертву себя, исполняя свой тяжкий, но благородный долг до конца. Так кто же герой, ныне и присно и на все времена?

И уже в кабинете нечем дышать. Он рывком растворяет окно. За окном стынет ночь и серебряным блеском сияет луна. И разгорается спор. Спорят два совершенно юных врача. Один честный, однако беспомощный, растерянный, омраченный ужасным открытием, что в науке священного врачевания, в науке возвращения здоровья и жизни ещё слишком много

неясного, спорного, даже неверного, опускающий руки перед неотвратимым действием дифтерита, перед смертельным ранением в грудь. Второй тоже, разумеется, честный, поскольку интеллигентный человек и воспитан на то, чтобы оставаться честным всегда, однако беспокойный, бесстрашный и дерзкий, своей верой в необходимость, в неизбежность победы света, добра одолевающий то, чего ещё сама наука не научилась одолевать. Ах, Викентий Викентьевич, что же вы так, дорогой? И Викентий Викентьевич, точно пробужденный его укоризной, с печальным взглядом добрых страдальческих глаз, страстным шепотом отвечает ему:

– Ко мне приходит прачка с экземою рук, ломовой извозчик с грыжею, прядильщик с чухоткою. Я назначаю им мази, пелоты и порошки и неверным голосом, сам стыдясь комедии, которую разыгрываю, говорю им, что главное условие для выздоровления – это то, чтобы прачка не мочила себе рук, ломовой извозчик не поднимал тяжестей, а прядильщик избегал пыльных помещений. Они вздыхают в ответ, благодарят за мази и порошки, объясняют, что дела своего бросить не могут, потому что им нужно есть.

Он что-то чрезвычайно серьезное должен ответить ему. Он знает отлично, что возражения его вдумчивого, совестливого собеседника более чем справедливы. Ну так и что из того? Он слышит, что это не вся ещё правда о жизни. А вся правда где?

Свежо становится в предутреннем кабинете, подергивается предрассветной дымкой луна, а он всё бродит от двери к окну и что-то сердито ворчит, желая одержать в этом важном споре победу, как начинает уже привыкать побеждать, но каждый раз упускает её.

Наконец, всё в том же магазине Чернухи, где мама, светлая королева, покупала приготовить тетрадки в разноцветных обложках, он покупает толстую, в крепком картонном переплете тетрадь и в такие же бессонные ночи, когда бродят неясные тени и чуть не до слез беспокоят его, он ловит их и бросает их на бумагу, в тетрадь. Это получается просто, как-то само собой, чего он себе никогда прежде и представить не мог. Он успевает спрашивать иногда, отчего это так? Может быть, оттого, что он ничего не выдумывает, то есть так, одни только мелочи, вроде деревни Грабиловки? Может быть, оттого, что он пишет исключительно для себя, каким действительно был два года назад? Всё может быть, однако ж вперед, только бы не позабыть и поспеть:

«Итак, я остался один. Вокруг меня – ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завывало. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воеет только в романах. Оказалось: она воеет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в темном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе – он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я и учился на медицинском факультете...»

И уже вспоминается, как заснул, как проснулся от дикого грохота в дверь, как натягивал брюки, как привезли девочку с крупом. Чего тут выдумывать? Всё так и было в действительности. Разве что перепутал число, и метель мела в феврале. Да нет, и числа перепутать нельзя, двадцать девятое было число, в ноябре, кто всё это видел своими глазами, тому никогда не забыть.

И скользит по гладкой бумаге обыкновеннейшее ученическое перо, и странные вещи изпод него выскальзывают ровнейшей стрелой. Он откровенен и щепетильно правдив. Он не скрывает нисколько, каким невинным младенцем, в смысле образования медицинского, он явился посреди египетской тьмы, не смотрите, что лекарь с отличием, в такого рода вещах отличие ещё ничего. Разве он сколько-нибудь приукрашивает себя? Воистину, нет, в чем, в чем, а в этом противном пороке писатель Булгаков не грешен. Вот приводит он свои тогдашние рассуждения об ответственности, которой страшится пущего всего. Вот рассказывает, как

заходилась от страха при одной мысли о том, что притащат проклятую ущемленную грыжу или неправильно расположенный плод. Вот повествует о своем неумении. Решительно всё соответствует истине: робок, несмел и труслив. Однако привозят больного, и одна только мысль, что он должен больного спасти, и этого, и того, и того, и что-то чудное сотворится в его существе, и отчетливо работает мысль, и неумелые руки отлично делают то, что делать до этой минуты действительно уметь не умели и уметь не могли. И каков же итог его щекотливо правдивых повествований? Итог замечательный, однако стыдный, ужасно смешной. В самом деле, из его скромной личности выколупывается, как из яйца, настоящий герой, в русской литературе персонаж ещё не бывалый. Что за черт! Каким же образом он-то в герои попал?

И тетрадь закрывается и самым тщательным образом запирается в ящик стола. Решительно невозможно никому показать. Засмеют-с, засмеют-с.

И он никому не показывает. В нем обнаруживается полезная способность удивительным образом хранить свои тайны. Уж не скрытный ли он человек? Возможно, что скрытный, очевидность – проклятая, непровержимая вещь, а все-таки стыдно, если бы кто-нибудь знал, чем занимается практикующий венеролог в свои бессонные ночи и какие загадочные плоды произрастают под его неопытным, неискушенным и таким странно правдивым пером.

Таится и прячет, однако веселье возвращается в дом номер 13, Андреевский спуск, во втором этаже, удобней войти со двора, не смущайтесь, собака не злая.

Школьные товарищи понемногу прибывают на огонь его недремлющей лампы, светящей во тьме. Приходит в шинели, в офицерской фуражке с потемневшей кокардой Николай, уже Николаевич, Сынгаевский, поручик, высокий и стройный, с ногами длиннейшими, с плечами широкими, красивый, печальный, с косовато срезанным подбородком, дворянская кровь, вырождением пахивает от этого подбородка, такие вещи известны врачу. Вваливается низенький, плотный, широкий Карась, подцепивший забавную кличку в гимназии, подпоручик, артиллерист. Почти всё свободное время проводит в доме номер 13 другой Николай, тоже уже Леонидович, Гладыревский, по профессии врач, предложивший свои бескорыстные, сугубо дружеские услуги во время приема больных, и услуги эти бесценны, как всегда бесценны услуги друзей. Гладыревский однажды приводит своего двоюродного брата Судзинского, как и все они, офицера. Представьте, демобилизован по форме, прибыл на жительство из Житомира, желает учиться, нельзя ли для него у вас комнатку снять? Отчего же нельзя, и хотя во втором этаже многолюдно и страшнейшая теснота, находится комнатка, и Судзинский живет, обживает и становится чуть ли не членом семьи, главным образом потому, что потешнейший тип, в руках не удерживается ни одна стеклянная вещь, Тасю затмил, вот это да! Юрий Леонидович Гладыревский, тоже, разумеется, офицер, букеты таскает, ухаживает то ли за Варей, то ли за Тасей, приятнейшим баритоном «Эпиталаму» поет, сукин сын, а в приемной работать нельзя, Гладыревский и Тася хохочут, доктор Булгаков то и дело вылетает, вопрошает, глядит с подозрением:

– Что вы тут делаете?

Не говорят ничего, только пуще хохочут, черт их возьми.

По вечерам обыкновенно собираются вместе. Кто-нибудь водку приносит, незаменимый продукт, приносят сыр, колбасу. Выпивают, шутят, смеются, поют, тот, сукин сын, «Эпиталаму» свою, Николка на гитаре любимейшие «Съемки» играет, тоже поет. Хоры случаются. Хорошо Михаилу, разгорячается Михаил, аккомпанирует на рояле, дирижирует даже. Вспоминают прекраснейшие прежние дни. Время беспокойное, однако же мирное. Может быть, и не умный, но был император, законнейший государь, порядок, покой, а если и приключались вещи прескверные, так не в императоре дело, все императоры – миф. И становится тихо. И в настороженной тишине хор мужских голосов поднимает:

– Боже, царя храни...

Тут надывается у дверей колокольчик, Василиса снизу бежит, задыхается страдальческим шепотом:

– Миша, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку подводишь?

Николка вскакивает, весь красный, как помидор, задорно кричит, юнкер, черт побери:

– Мы все тут взрослые, сами за себя отвечаем, сами и под стенку пойдем!

И уходит к себе перепуганный Василиса, а они хохочут, снова поют. Славное время, если правду сказать.

Глава пятнадцатая

Кровавое месиво

Короткое время. Ещё только лето к осени клонит, а уже паршивые слухи отовсюду ползут. На железных дорогах бастуют, поезда замирают в пути, иногда и вовсе взрывают пути динамитом. Помещики с мужиков три шкуры дерут. Немцы усердствуют методически, тащат последнее, опять с мужика, эшелонами отправляют в Германию. Мужики, понятное дело, бунтуют по всей Украине, воли, покою хотят. Польша кругом. Льется кровь. В мареве раскаленных степей рождается неприятное имя: Петлюра. Сведения отрывочны, скудны, черт его разберет: сорока лет, из рабочей социал-демократической партии Украины, журналист, в роковой семнадцатый год выбран в Центральную раду. Те-то, в шинелях и шароварах, но без сапог, были, стало быть, люди его. А нынче у него Директория, Украинская народная республика, и Симон Васильевич в той республике атаман. Под началом дивизии галицийские, мужики к нему тоже прытко бегут. Хорошего нечего ждать. А там глядь, посреди бела дня убивают Эйгорна, фельдмаршала, немца. Такие на белом свете творятся дела.

Как тут вещему сердцу не чуют, что скоро конец тишине. Вещее сердце и чует, и ноет, но на Андреевском спуске продолжают пить, закусывать, смеяться и петь.

Вдруг шарахает весть: в Германии революция тоже, свергают Вильгельма, где-то заводят Советы, Вильгельм куда-то бежит. Солдаты немецкие пьяные, обнимаются с русскими, натурально, тоже едва стоят на ногах. Офицеры немецкие куда-то попрятались. Выходит, большевики-то верно рассчитывали, когда там-то, в Бресте, подлый мир подписали, вещали в газетах, что недолго этой подлости быть.

Мысли вихрем несутся: это что же будет у нас? Выясняется без промедления: Брестский мир аннулируется, немцы уходят к себе, большевики как будто идут, и Михаил Афанасьевич сквозь зубы шипит:

– Сволочи немцы!

И это энергичное, сильное слово окончательно приживается в его лексиконе, из ругательств становится самым употребительным, да и как ему не прижиться, когда гетман, сволочь, с немцами тайно бежит. И когда же, сволочь, бежит? Когда седьмой день, приближаясь, гудят, гудят трехдюймовки Петлюры под городом Киевом, а город Киев некому защищать.

Происходит неразбериха ужасная. Каким-то не строем, а валом идут юнкера, совсем молодые ещё, без усов, какую-то дикую песню поют, и кто-то в рядах так же дико свистит. Украинская армия формируется? Какая? Извольте, поручик, шутить! Русских офицеров призывают на украинскую службу. Русские офицеры матерятся, однако охотно идут, Петлюра тоже не мед. Какой-то сукин сын, писарчук, русских офицеров записывает, задает исключительно на украинской мове вопросы, которые русские офицеры не могут понять. Дурость какая-то! Матерятся опять.

Слух проходит, что из русских офицеров формируются добровольческие дружины. Русские офицеры туда. Спихватились, черт их дери! Офицерские дружины с места в карьер вводятся в бой, без валенок, без теплой одежды, разведки нет, орудия без снарядов стоят, цепи жидкие, неизвестно где кто, а трескучий мороз, декабрь на дворе. От Поста-Волынского ружейные залпы, пулеметы слышать.

Наконец, с непростительным опозданием, объявляют сплошную мобилизацию мужского населения города Киева, от двадцати до тридцати лет. Михаилу Булгакову уже двадцать семь. Явиться надлежит на призывной пункт. Он является и узнает ужасную новость: на общих основаниях мобилизуют врачей, то есть под винтовку, в пехоту, а что врачи станут делать с винтовками, врачи с винтовками не должны, врачи не умеют стрелять, а поди объясни, те опять на украинской мове строчат.

Впрочем, всюду сквернейший царит кавардак. Все ничего не знают. Всё путают. Оказывается, мобилизованных старше двадцати семи лет зачисляют в какую-то дружину охранную и отпускают домой, до тех пор, пока не придет час отстаивать город. Сволочи! Сволочи! От Поста-Волынского пулеметы слышать!

Он возвращается на Андреевский спуск, и позднее всё ещё будет кипеть его злость, и выплеснет он её во второй, в третий раз, и по этой причине станет кричать возмущенный Турбин: Я вашего гетмана повесил бы первым! Полгода он издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. А теперь, когда ухватило kota поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!

А уж и некуда стало смотреть. Опоздание смерти подобно, не одно промедление. От Поста-Волынского ни пулеметов, ни ружейной пальбы не слышать. Одни трехдюймовки всё ближе и ближе гудят. Ближе к ночи вваливается на Андреевский спуск Сынгаевский, доброволец, поручик, поморожены ноги, лица на нем нет, ругается страшно, матерится обвалами, мужичков-богоносцев честит, ещё пуще штабных, как спустя несколько лет станет браниться обмороженный Мышлаевский, тоже поручик, подбородок косо срезанный тоже: Нутес, в сумерки пришли на Пост. Что там делается – уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное – мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабиста. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену...

На другой день трехдюймовки у самого города Киева. Немцы молчат и преспокойно пропускают Петлюру. Сволочи, сволочи немцы! Офицерские жидкие цепи в город Киев вошли. По улицам движутся массы народа, выстрелов не боятся, улыбаются, освободителей ждут. От кого, черт возьми?!

На Андреевском спуске, в доме 13, собираются знакомые офицеры. Офицерам с Петлюрой полная гибель идет. Поезда стоят на все направления. Город Киев захлопывается, как мышеловка. Как быть? Происходит короткое совещание. Собственно, мнение общее: город Киев необходимо отстаивать до последнего вздоха, никакого другого выхода нет. И уходят город Киев отстаивать, а с ними уходят юнкер Николка и бывший военный врач Михаил.

Однако отстаивать некому. Охранная дружина отчего-то не собирается. Озлобленные, смертельно усталые русские офицеры разбивают винные погреба, пьют жадно и много, в пьяном угаре что-то поют, кого-то расстреливают, сообразуясь единственно с обострившимся офицерским чутьем, слышать ничего не хотят. Единицы, вот что поражает его, единицы сберегают совесть и честь. Единицы! Вот что ему необходимо при этом понять! Роевая общая жизнь ни с кем не любит шутить. Истина налицо.

Михаил Афанасьевич тоже сберегает совесть и честь. Ему кто-то указывает, что его отряд на Владимирской. Он на Владимирскую. И тут ему доводится то пережить, что он уже никогда не забудет, и всякий раз, как доведется писать о тогдашних гнусных событиях, непременно напишет, почти в одних и тех же словах. Да и как позабыть? Откуда другим явиться словам?

«Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу – какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат: «Держи его, держи!» Я обернулся – кого это? Оказывается – меня! Тут только я сообразил, что надо было делать – просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок! А там сад. Забор. Я на забор. Те кричат: «Стой!» Но как я ни неопытен во всех этих войнах, я понял инстинктом, что

стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! Трах! И вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора...»

Он чудом выскакивает на Мало-Провальную, хватает извозчика, приезжает домой. Шинель побоку, гражданский костюм. Доктор Булгаков, лечащий врач, вы страдаете чем? А-а, так у вас сыпь на груди и в глотке хрипит!

Николка прибегает под вечер, тоже в гражданском, пиджак широченный, пальто чуть не с дяди сарая, весь перемазан в снегу. Оказывается, петлюровцы приказали всем офицерам и юнкерам собраться в Первой гимназии. Те собрались, а за ними заперли дверь. Николка сообразил, стал кричать: «Господа! Это ловушка! Надо бежать!» Однако бежать никто не решился. И Николка, тоже Булгаков, к слову сказать, один метнулся по лестнице вверх, бросился в окно, упал в снег, пробрался задами в гимназию, и старый педель Максим, весь седой, забрал у него форму юнкера и дал ему свой костюм. А тех, разумеется, всех расстреляли.

Петлюровцы заполняют весь город Киев. Дней через пять появляется Директория под гул и говор колоколов: Петлюра, Швец, Андриевский, Винниченко. Национальные флаги повсюду. Повсюду украинская речь, а ещё вчера все без исключения говорили по-русски. Национальные флаги двухцветные, желтое с голубым. Гром труб. Полки одеты прекрасно, вооружены ещё лучше. Ликует народ.

Михаил Афанасьевич на улицах города Киева, любопытство ужасное не позволяет дома сидеть, хотя и знает, более чем, что такие люди в город Киев вошли, что в один миг можно пулю схватить, если своим мужицким обостренным чутьем вдруг угадают в нем офицера, а всё же идет, ноги сами несут. Смотрит на эти отлично экипированные войска. Наблюдает наивность людей, готовых приветствовать всякую новую власть, единственно потому, что при старой скверно жилось, а эта новая власть ещё новая, ещё ничем не успела о себе заявить, себя запятнать.

Ну, о себе эта новая власть заявляет в два счета, и становится ясно:

«Хуже неё ничего на свете не может быть».

Тьма египетская в солдатских шинелях – вот какова эта новая власть. Лишенная сострадания. О гуманности понятия ни малейшего. Грабители и убийцы. Больше не скажешь о ней ничего. Закрываются тотчас театры. Культурная жизнь замирает. Офицеров стреляют прямо на улицах, и ужасно глупо стреляют, сообразуясь единственно с обостренным мужицким чутьем, завидя на прохожем фуражку, китель, шинель, а переодеться успел, натянул какой-нибудь цивильный пиджак, и ничего, преспокойно минует кара сия. Тьма египетская, то-то и есть. В этой тьме от одной формы одежды зависит жизнь человека. Иных измерений достоинства и содержания личности ещё не выработала тьма из себя. И валяются мертвые прямо на улицах. Тот в пальто, да сапоги переобуть не успел. Тот натягивал тужурку прямо на китель, да натянуть не поспел. А переобулся бы, натянул – и остался бы жить до сих пор.

Убитых сваливают в часовни и в церкви, точно только для этого часовни и церкви и годны. Матери, жены и сестры тянутся своих опознать, честно придать тела убиенных земле. И обитатели тянутся, просто так, поглядеть, обитатели и в мертвых находят для себя развлечение.

Сволочи! Сволочи! Уже и слов не остается иных. Вламываются среди белого дня, рыщут, под диваны заглядывают. В сумерках начинаются грабежи. Погромы, естественно. Тьма египетская во всей своей необузданной наготы. Тоже роевая общая жизнь.

И когда наконец за чертой горизонта заговаривают басисто тяжелые пушки, на этот раз с другой стороны, из-за покрытых снегами могучих разливов Днепра, город Киев весь точно вздрагивает, меняется в одно мгновение в лице, и на лице всего города Киева одно чувство написано крупными буквами, откровенно и недвусмысленно: радость.

В то же мгновение физиономия тьмы египетской перекашивается смертельным испугом. Синежупанники начинают метаться. Обозы с награбленным барахлом черной лентой вытягиваются из города Киева поближе к родным деревням. Переполненные тем же награбленным

барахлом поезда то и дело грохочут на стыках. Множество самых разных людей, которых не успевают ни шлепнуть, ни прислонить, ни обобрать, пользуясь паникой среди египетской тьмы, бежит из города в разные стороны, кто в европейские гостеприимные страны, кто на Дон к генералу Краснову, кто на Кубань к генералу Деникину, всё ещё не теряя надежды переменить в России цвета, то есть жевтоблакитный, красный, зеленый, черный на один-единственный: белый.

Разлетаются самые нелепые слухи. По заборам и стенам домов какие-то остервенелые самостийники расклеивают дурацкие объявления, будто против большевиков будут применены лучи смерти, так вот чтобы граждане мифической Украинской республики себя берегли и сидели бы смиренно, лучше всего в погребках. Двадцать девятого января 1919 года «Последние новости» печатают «Приказ о фиолетовых лучах», который прямо так и гласит:

«Главным командованием распубликовано следующее объявление к населению Черниговщины: довожу до сведения населения Черниговщины, что начиная с 28 января с. г. против большевиков, которые идут войной на Украину, грабят и уничтожают народное имущество, будут пускаться в ход фиолетовые лучи, которые ослепляют человека. Эти лучи одинаково ослепляют и тогда, когда человек к ним спиной. Для того, чтобы избежать ослепления предлагаю населению прятаться в погреба, землянки и вообще такие помещения, куда лучи не могут проникнуть. Извещаю вас, граждане, об этом, чтобы избежать ненужных жертв...»

Ещё раньше, приблизительно с восемнадцатого числа, начинается мобилизация врачей. В дом номер 13 на Андреевском спуске приносят повестку противнейшего казенного вида. Повестка содержит сквернейшую новость:

«С получением сего предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения».

В компании с этими самостийными мародерами и убийцами, которые оставляют трупы на улицах города? Нет, никогда, ни за что! Доктору Михаилу Булгакову омерзительно даже подумать об этом. Кажется, он решается куда-то бежать, и внимательный читатель может найти упоминание о некоем ручном чемоданчике, в который никак не помещаются кальсоны, стетоскоп и рубашка. Бежать от этой сволочи, куда-нибудь спрятаться, переждать – абсолютно логично. Интеллигентный человек прямо-таки не способен замарать себя в этом самостийном дерьме.

Налюбовавшись достаточно на это кровавое месиво, он не сомневается в том, что на всю эту тьму сила и сила нужна и что такой силой, без сомнения, обладают только большевики. Они одни ещё способны завоевать и успокоить Россию. А Деникин? Краснов? Краснов мнется и не знает, что делать: казачки воевать – не хотят. Деникин с большими потерями берет Екатеринодар и нацеливается на Новороссийск, патронов у него мало, людей ещё меньше. Какие Деникин, Краснов?

И, как весь город Киев, он ждет с нетерпением большевиков, беспрестанно выглядывает в окно, размышляет, как станет размышлять другой врач, когда он впоследствии найдет необходимым о нем написать:

«Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал – с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, – уму непостижимо. Погромы вскипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шляками на папах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, гро-

зили кулаками в небо и кричали: «Ну, погодите. Придут, придут большевики». Омерзителен и долог был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков...»

Но уже, параллельно с его личной логикой, неумолимо действует жестокая и сильная логика кровавого месива. Таси нет дома, когда двое синежупанников приходят за ним, обвиняют его в саботаже, в чем на этот раз, без сомнения, правы, и уводят с собой, милостиво разрешив оставить записку жене. Приводят в штаб, где на полу и на стенах следы расправы на месте, обещают после скорой победы расстрелять за саботаж и его, сажают верхом на строевого коня и вместе с полком через белый, покрывшийся пушистым инеем город по черной дороге, загаженной и разбитой лошадьми и людьми, выводят к Днепру, на защиту Цепного моста.

В начале моста он действительно находит мощные электрические прожектора, закрытые синими стеклами. Видит в действии их: когда большевики подходят с левого берега окаменевшей, таинственно молчащей реки, прожекторы включают внезапно, синие, никем ещё не виданные полотнища с каким-то слабым шипением прорезают тьму ночи, и маленькие фигурки на том берегу, закрывши лица руками, обращаются панически в бегство.

Ночь стоит он с полком на мосту, день и ещё почти целую ночь. От лютейшего мороза всё стынет вокруг. Огромные южные звезды сияют над головой на угольно-черном пространстве застывших небес. Стынут ноги в офицерских тонких хромовых сапогах, стынут пальцы в офицерских перчатках, стынет где-то внутри: это стынет, должно быть, душа. И как не стынуть бедной душе? Ему доводится в течение суток видеть такое, чего он уже никогда не увидит, хотя ещё многое предстоит ему повидать, да и не положено смертному видеть такое, а этим, соткавшимся из египетской тьмы, хоть бы что, чуть ли не в наслажденье истязать живую вопящую плоть. Сперва он слышит только глухие, подпольные крики: пытаются большевиков и евреев, которых захватили в Слободке, определив партийность и национальную принадлежность исключительно по внешнему виду своим обостренным мужицким чутьем. Затем:

«Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидел секунда в секунду на переломе ночи со второго на третье число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто с лицом, синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал рядом и бил ему шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто... Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже: «Ух...» Как-то странно, повернув руки и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул её, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли. Ещё отчетливо Бакалейников видел, как крючкато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих...»

Что-то происходило ещё, закрытое для нас плотной завесой глухой неизвестности. Изпод этой завесы вырывается признание другого врача, носящего другую фамилию, однако имеющего жительство на Андреевском спуске, мобилизованного в тот же день и в ту же проклятую ночь оказавшегося на том же кровавом мосту:

«Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть...» – думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами...»

Описание выполнено с такими натуралистическими подробностями, что придумать их невозможно, такие вещи, прежде чем положить на бумагу, необходимо видеть своими глазами, и заманчиво предположить, что это именно сам лично доктор Булгаков опорожнил весь магазин, пристрелив куренного, как бешеную собаку. Никто бы, я думаю, доктора Булгакова осуждать за этот благородный поступок не стал. Даже напротив, за что ж осуждать, если одной сволочью убавилось тотчас на свете.

Однако скорее всего теплый браунинг так и остался лежать в заднем брючном кармане доктора Михаила Булгакова. Как ни корчится его душа от кромешного ужаса, гнева и отвращения, как ни свойственно его рыцарской смелой натуре вставать на защиту несчастных, обстоятельств складываются против него. И на долю его выпадает сквернейшее испытание: он остается наблюдателем, беспомощным, сторонним, безмолвным, онемевшим от ужаса, когда исчезает возможность для честного человека отделить безмолвие наблюдателя от противovolьного соучастия в том, в чем соучаствовать неестественно и противно твоему существу. И кто знает, сколько и с какой силой воспоминание о противovolьном своем соучастии станет терзать его чуткую, совестливую душу? Недаром так часто именно эта картина варварского насилия станет раз за разом вырываться из-под пера.

А пока большевики наступают из-за Днепра. В рядах самостийных петлюровцев начинается паника. Всё бежит через город, вон, чтобы как можно скорей раствориться в снежных степях. Доктора, разумеется, тащат с собой, поскольку всем и каждому одинаково угрожает получить пулю в этой ужасной войне и хочется быть перевязанным не как-нибудь наспех неумелым товарищем, а по всем правилам медицинской науки настоящим врачом.

Тут доктор Булгаков смекает, что просто-напросто надо бежать, тем более, что уже кой какой опыт имеется. Ему благоприятствует всеобщая паника и темнота. В этом стаде его удачно теряет конвой. Он вдруг отделяется от черной ленты в беспорядке бегущих людей и, не ощущая ни сердца, ни ватных негнущихся ног, направляется к церкви. Неожиданность его действий выручает его. В толпе беглецов соображают не тотчас, что кто-то попросту решился удрать, а колонны церкви всё ближе и ближе. Наконец соображают, кричат. Он бежит. Ему в спину стреляют. Он скрывается за колонной. Дальше бежит. Конные гайдамаки за ним. Александровская улица длинна и пряма, по ней конным гайдамакам одно раздолье скакать, и он, повинуясь единственно чутью бегущего зверя, сворачивает в один переулок, в другой, забивается в какую-то щель, в этой щели сидит часа два, может быть, три с застывающими на лютom морозе ногами, пока не стихает вокруг. Выбирается, загнанно озираясь по сторонам, тоже как зверь, и весь дрожащий от холода, с помороженными ногами прибегает домой.

Странное дело, насильники, только что зверски растерзавшие ближнего своего, с аппетитом жрут водку, с аппетитом трескают горячие жирные щи, прехладнокровно валяются спать куда ни попало и богатырски спят до утра, тогда как и противovolьного наблюдателя зверской расправы над ближним потрясается весь организм, если противovolьным наблюдателем оказывается интеллигент, себе на беду.

Михаил Афанасьевич прибегает домой невменяемым. Его ужасно трясет. Он бессвязно рассказывает, как его уводили с собой, как удалось убежать. У него сильнейший озноб. Его чуть не силой укладывают в постель. Он проваливается в беспамятство, в бред, сраженный горячкой. Температура высокая. Призывают доктора Воскресенского. Диагноза нет. Человек как будто здоров, однако полыхает огнем. Иван Павлович несколько дней наблюдает за ним. Наконец жар начинает понемногу спадать. Он приходит в себя.

Однако остается ещё один чрезвычайно важный, навсегда безответный вопрос: окончательно ли он приходит в себя? И когда я задаю себе этот вопрос, я отвечаю сам себе с мрачной тоской: да разве возможно, чтобы после такого рода картин нормальный человек был способен прийти в себя окончательно, дальше жить как ни в чем не бывало, словно бы и не видел совсем ничего? Нет, нет, дорогие сограждане, после такого рода картин окончательно прийти в себя

невозможно, и ещё долго, долго, я думаю, до самого смертного часа ему снятся страшные сны, в которых он умирает от ужаса, и один из таких снов он записывает в 1929 году, в сентябре, когда, представьте себе, остается дома совершенно один:

«Мне приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром. И видел ещё человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он погибал под стальной тростью, и во сне я ясно понял, что его зовут Фурман, что он портной, что он ничего не сделал, и я во сне крикнул, заплакав: «не смей, каналья!» И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул: «Тримай його!» Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем погибнуть в пытке, и кинулся к штабелю дров. Но браунинг, как всегда во сне, не захотел стрелять, и я, задыхаясь, закричал. Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я безумно далеко от Владимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом...»

И ещё много лет он не может выйти из дома безоружным, и старый браунинг неизменно оттягивает карман, и он до того привыкает к нему, что, спустя ещё много лет, когда не может быть и речи ни о каком оружии ни в правом, ни в левом, ни в заднем кармане, он в миг опасности хватается за тот же карман. – Сила привычки, пропади пропадом всё.

А в тот год, когда он выходит после одоленной горячки на улицу города Киева, снова весна, по Крещатику ходят солдаты в суконных невиданных шишаках, тут и там кумачовые лозунги с известным призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Мир хижинам – война дворцам!», в здании бывшей городской думы, где прежде сменяли друг друга Центральная рада, штаб гетмана, Директория, размещается большевистский ревком, а на здании, прежде занятом петлюровской контрразведкой, появляются загадочные буквы: «ЧК».

Жизнь в городе Киеве как будто бы восстанавливается. Появляется странная организация «ХЛАМ», и в этой организации молодые поэты с обычным поэтическим завыванием читают стихи. Марджанов в бывшем Соловцовском театре ставит «Овечий источник», спектакль начинается «Интернационалом», но в конце спектакля зрители поднимаются с мест и аплодируют долго, что означает, что спектакль удался.

Михаил Афанасьевич проходит обязательную для врача регистрацию и каким-то чудом вырывает мандат, разрешающий частную практику, после чего обнаруживает, что красные воины сифилисом болеют ничуть не менее, чем болели петлюровцы, однако красным воинам нечем платить за лечение, а хлеб, как нарочно, дорожает день ото дня. В городе Киеве планомерно, организовано идут реквизиции. Автомобили с арестованными то и дело подъезжают к ЧК. Ораторы со всех наскоро возведенных трибун бросают призывы покончить с гидрой контрреволюции и обещают с корнем выкорчевать всех врагов революции, саботажников, тунеядцев и паразитов. По деревням, которые по-прежнему городу хлеб не дают, косою косит продразверстка. Вооруженные отряды реквизируют продовольствие и эшелонами отправляют в умирающую от голода и сыпняка Москву. Повсюду загораются мужицкие бунты. Отряды вооруженных крестьян врываются на окраины города Киева под жаркие вопли: «Бей жидов! Долой коммуны!», грабят и жгут и вырезают всё ещё уцелевших евреев. Налетают банды атамана Зеленого, Струка и черт знает кого, и под треск пальбы бандитам удается доскакать до самого центра. Идут аресты заложников, причем в число заложников попадает и Василиса, после ареста исчезнувший навсегда. Мобилизуют врачей и отправляют в Москву, чтобы оттуда направить по разнарядке на фронт.

Пожалуй, уже никогда не удастся докопаться до истины, но что-то угрожает частнопрактикующему доктору Булгакову, венерологу, может быть, тоже мобилизация. Он ещё раз спасется бегством, на этот раз вместе с семьей. Живут у одного из знакомых под дороге на Ковель, в сарае, в саду, во дворе разводят огонь, варят что-то к обеду, спят на сене, прямо одетыми.

Однако становится опасно скрываться и здесь. С двух сторон к городу Киеву подступают дивизии Добровольческой армии и всё тот же неугомонный самостийный Петлюра. Приходится спасать себя и от них. Возвращаются в город Киев пешком. В городе Киеве все-таки наступает мобилизация, которую на этот раз в спешном порядке проводят большевики. Начинает вертеться и дыбиться что-то уже абсолютно невероятное, точно в горячечном сне. В «Необыкновенных приключениях доктора» только стоит:

«Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение. Из пушек стреляли всё утро...»

Далее завеса опущена, пропущена целая главка, и события погружаются в мрак неизвестности, и каким способом доктор Булгаков исчезает на этот раз из армии красных, уже решительно невозможно сказать. Объяснить же такого рода литературный прием, как пропуск главы, довольно легко: «Необыкновенные приключения доктора» писались в 1922 году, когда красные полки наконец завоевали Россию и когда доктору Булгакову, из соображений исключительно личных, приходится старательно утаивать некоторые прискорбные факты своей сильно запутанной биографии, даже если он доверяет эти факты другому, неизвестному доктору, да мало ли что...

Глава шестнадцатая

Ожесточение

Как бы там ни было, он вновь на Андреевском спуске. На парадном подъезде белеет всё та же табличка о приеме больных венерическими болезнями от четырех до шести. И всё та же зеленая лампа горит в его кабинете, когда он тоскует и не спит по ночам.

Осень стоит на дворе. Однако не дождь уже, не слякоть, не грязь только покрывают разворошенные улицы города Киева. Валятся словно какие-то зловонные комья и душат решительно всё, что есть человек. В городе Киеве утверждается генерал Драгомиров. Конный корпус Мамонтова проходит по красным тылам, сметая всё на пути, награждая сифилисом деревни целой округи, отправляя в белый тыл эшелоны награбленного добра, в том числе старинные иконы и церковную утварь. Добровольческая армия под началом генерала Мая-Маевского стремительно наступает на Курск, Орел, Тулу, с тем, чтобы сходу ворваться в Москву и навсегда покончить с большевиками, разумеется, перевешав их на фонарных столбах, перевернув таким образом известную формулу о фонарях и аристократах. В бывшей думе, на месте ревкома, размещается драгомировский штаб. На известном особнячке таинственная надпись «ЧК» сменяется строгой надписью «контрразведка». Белая контрразведка работает как мощный насос, втягивая в себя всех, кто служил при большевиках, и в особенности беспощадна она к офицерам, побывавшим в красных частях, и арестованных возят на тех же автомобилях, в которых арестованных возили в ЧК. Реквизиции окончательно превращаются в грабежи, которые уже никакой Деникин не способен унять. Погромы следуют один за другим, и ночами стоном стонут, криком кричат, грохочут тазами и сковородками еврейские улицы, точно стоном, криком, тазами и сковородками ещё можно кого-то спасти от зверства тех, кем движется отвратительный лозунг «Бей жидов! Спасай Россию!» Уже вешают прямо на улицах. Между тем на верхушке думского здания вновь водружают архистратига Михаила, этот вечный символ города Киева.

«Киевлянин» выходит с крупными заголовками: «Спасители родины, спасите русскую интеллигенцию!» Едва ли такое обращение уместно во всех отношениях, однако «спасители родины», сознавая прекрасно, чем основательней всего подрывается всякая власть, с удивительной быстротой откликаются на него, дипломированных специалистов всех отраслей объявляют мобилизованными, одевают в шинели, вооружают винтовками, даже оркестр, и в спешном порядке отправляют на юг.

Какие ужасы на этот раз выпадают на долю доктора Михаила Булгакова? Что ужасы выпадают, никакого сомнения нет, поскольку на сей раз происходит не оккупация, а скорее сошествие в ад. Во всяком случае, в его «Красной короне» вот что стоит:

«Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажой, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью... Она его загнала на фонарь... Я ушел, чтобы не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал: «Господин генерал, вы – зверь! Не смейте вешать людей!» уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я её не боюсь...»

Рыцарь, рыцарь, не боящийся смерти! За какие грехи выпадает на долю твою столько страданий, страданий – тягчайших? За какие грехи уже на всю твою жизнь не останется покойна твоя благородная, твоя возвышенная душа, смущаемая тревожными воспоминаниями о том, что в одном случае ты не выхватил нагретый браунинг из заднего кармана штанов, а в другом не плюнул в противное лицо озверевшего генерала: «Господин генерал, вы – зверь!

Не смейте вешать людей!»? За какие грехи годы и годы обречен ты обвинять себя в трусости, зная, что никакой ты не трус? Для чего переживать тебе то, что однажды пришлось пережить, по другому поводу и при других обстоятельствах, одному печально известному римскому прокуратору?

Эх! Эх!

Наконец ещё одна мобилизация наступает его. Выдают ему френч английского образца, подарок союзников, и шинель и приказывают без промедления отправляться в госпиталь, раскинутый в Грозном, черт знает где. Он успевает прибежать на Андреевский спуск и проститься с родней. Тася при этом прощании совершенно изумляет его. Видите ли, только что открывается новое фешенебельное кафе, тай ей ужасно хочется в этом кафе побывать, и она обращается к немногим уцелевшим друзьям с трогательной жалобой, чтобы нынче же её сводили туда, если Миша не может, так что один из них наконец говорит: Ну и легкомысленная женщина! Муж уезжает на фронт, а у неё только кафе на уме!

Она же спрашивает, распахнувши изумленно глаза:

– Разве там фронт?

Ему выдают бумажку с круглой печатью. С этой бумажкой он благополучно проникает в вагон и тащится неизвестно куда, решительно утратив уверенность в том, что прибудет на место и что вообще из этого месива выйдет живым.

Прежняя, революционная езда была, в сущности, довольно приятной прогулкой, исключая, разумеется, слишком частые непредвиденные остановки в пути. Нынче обнаруживается, что в белых тылах не существует никакого порядка, даже слабой тени его. К остановкам в пути прибавляется беспощадный грабёж со стороны множества банд всех цветов и оттенков, начиная с пользующегося противоречивой, но одинаково зловещей популярностью батьки Махно. К бандам, как ни странно, прибавляется обширная, чрезвычайно беспокойна и тоже разносторонняя деятельность деникинской контрразведки, которая в иных случаях по размаху грабежей стоит батьки Махно.

Положение усугубляется тем, что его поезд следует по развороченным тылам деникинской армии, которую красные остервенело и безжалостно бьют на орловском, курском и воронежском направлениях, бьют в упорных, тяжелых, кровопролитных, но победоносных боях. Ожесточение с обеих сторон достигает, кажется, последнего градуса. И красные и белые части несут потери громадные, причем Добровольческая армия, цвет русского офицерства, цвет белого движения юга России, теряет половину состава и в конце концов сводится в Добровольческий корпус, всего-навсего в пять тысяч штыков. Насильно мобилизованное крестьянство дезертирует пачками. Всё, что есть разумного и порядочного в среде офицерства, колеблется. Бандиты пользуются сумятицей и вытряхивают из вагонов всевозможное барахло, которое тащат на себе и с собой толпы беженцев, устремившиеся на юг, к «Роману Хлудову под крыло», как он выразится впоследствии. Контрразведка вылавливает дезертиров и подозрительных, то есть главным образом тех, у кого не оказывается спасительной бумажки с круглой печатью. Характерно, что те и другие на месте убивают евреев или вышвыривают на ходу под откос.

Зрелище, таким образом, превышает все пределы того, что способен выдержать даже привыкший к зрелищам русский интеллигент. В этом месиве интеллигентному человеку находиться нельзя. Это одинаково хорошо понимают и большевики, и деникинцы, и в обоих крест на крест схватившихся станах одинаково не находится более презренного, более бранного, произносимого непременно с брезгливой гримасой, чем это почтенное слово: «интеллигент»!

Наконец понимает и он, что тут не место ему, и его пребывание в английском френче, с погонами на плечах превращается в муку. Он больше не может в этом безумном состоянии находиться, как не может по своей воле и оставить его. И он движется всё дальше и дальше на юг с какой-то мрачной покорностью неумолимому року. Да не он уж один. На каждом шагу ему

попадают беспокойные лица, на которых светятся странным светом глаза, так что сменяются в этих глазах беспрестанно надежда и страх.

В Ростове подтверждается назначение в Грозный, вокруг которого беспрестанно происходят кровопролитные стычки с немирными горцами. Его настроение окончательно портится. Тут на его скорбном пути попадает обыкновенная миллиардная. Он бросается в неё, точно ищет спасения, и проигрывает решительно всё, что возможно, а вместе с тем и золотую цепочку, которую Тася во всех передрыгах ему на счастье дает.

Кроме Таси у него уже никого, ничего. Хотя это равносильно безумию, однако он Тасю вызывает в город Владикавказ, точно ищет предлога подольше отболтаться от фронта, дожидается её там, приютившись в номере скверной гостиницы, и уже вместе с ней отправляется в Грозный.

Положение на белом фронте оказывается во много раз хуже, чем знающие люди говорили в Ростове и удавалось разузнать по пути. Белое командование в предгорьях Кавказа располагает лишь этим городом и узкой полосой вдоль железной дороги. Среди чеченцев подвизается шейх Узен-хаджи, старик, уверяют, что на сто третьем году, великолепный, надо признаться, старик, поднявший зеленое знамя ислама, объявивший священную войну русским, по-ихнему газават. Рядом с шейхом формирует отряд большевиков и русских рабочих бывший грозненский фельдшер Гикалов, воюющий исключительно с белыми. И невозможное дело: луга ислама в своей ненависти к деникинцам объединяется с красными партизанами и помогает им продовольствием и оружием, которого в горах скопилось неисчислимое множество, несколько армий достанет вооружить.

Одним словом, кипит Чечня, воюет Чечня, и деникинское командование перед Чечней абсолютно бессильно, как ни старается несчастный Драценко, деникинский генерал, сжигая аулы, угрожая истребить поголовно всех, кто помогает большевикам. И что характерно, действительно приводит угрозы свои в исполнение, тут же, на месте, в самом деле истребляя всех, кто попадает под руку, в особенности женщин, стариков и детей, поскольку мужчины уходят от него с оружием в горы.

И доктор Булгаков, лекарь с отличием, командирится в перевязочную летучку, раскинутую от Грозного верстах в десяти, где обрываются крохотные владения белых. И до того этот лекарь с отличием загнан, беспомощен и одинок, что он в эту летучку и Тасю тащит с собой. И они добираются до летучки на казачьей тачанке, продираясь сквозь неубранное кукурузное поле. Кучер с опаской вглядывается в высокую кукурузу, из которой в любое мгновение может вылететь смертоносная, твоя последняя пуля. Лекарь с отличием держит на коленях винтовку, предварительно снявши предохранитель и дославши патрон. Хрупкая высокая женщина мужественно жмется к нему.

Подъезжают к горной речонке, в русле которой с самым невинным видом струится вода. На омытых камешках берега валяется разбухший труп пристреленной лошади, двуколка стоит, на двуколке треплется измызганный флаг с уже никому не помогающим красным крестом, не способный остановить от насилия над врачом ни белых, ни красных, ни тем более первобытных чеченских джигитов, которые не разумеют этот высокомерный европейский язык. К двуколке волокут окровавленных казаков, которых лекарь с отличием спешит перевязать кое-как и которые умирают у него на руках. Слава Богу, что перевязочной летучкой распоряжается женщина-врач, понимающая в жизни, должно быть, значительно больше, чем лекарь с отличием, окончательно теряющий в этом месиве голову. Мудрая командирша приказывает самым решительным тоном:

– Никаких жен!

С того дня одинокая Тася остается ждать его в Грозном, и он каждый вечер, когда возможно, возвращается к ней, хотя этого, понятное дело, никак не положено делать во время войны. Его поездки на позиции то укорачиваются, то удлиняются, в зависимости от хода боев.

В ноябре, во время набега на Шали-аул, он перевязывает полковника, раненного пулей в живот. Сквернейшая ружейная рана, от которой спасения нет. Он все-таки утешает полковника, что по званию положено делать врачу, и полковник, лежащий под дубом, ему говорит уже коснеющим языком:

– Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

И умирает у него на руках, как уже умерли многие, а ночной бой продолжается во тьме под дождем, и вскоре под этим же дубом разрывом снаряда контузит его. Он кое-как оправляется от этой контузии и вскоре оказывается в Хинкальском ущелье. Впереди простирается громадное, совершенно плоское поле с вытоптанной на нем кукурузой. За полем беззащитные белые домики.

Это Чечен-аул. В Чечен-ауле Узун-хаджи, упрямый старик на сто третьем году, поднявший зеленое знамя ислама, две трехдюймовки, несколько пулеметов и джигиты в черных черкесках, сотни две или три. Против этой горстки отважных, не знающих страха людей генералом Драценко брошены гусары и гребенские казаки с тремя батареями, которые почти непрерывно лупят по аулу шрапнелью, лекарь с отличием и две санитарки, которые не успевают перевязывать грязные, окровавленные, истощившие силы тела.

Меня несколько не поражает, что лекарь с отличием самым добросовестным образом исполняет свои лекарские обязанности, втягивая голову в плечи под сплошным огнем пулеметов и пушек: клятва Гиппократова на нем, священная клятва, он всего-навсего исполняет свой долг, для человека с дипломом в кармане обязательный и непреложный, чего никогда тем субчикам не понять, которые с брезгливой гримасой произносят великое слово «интеллигент». Однако меня поражает, как может этот издерганный человек, измотанный тяжким, непрерывным трудом, к тому же недавно контуженный, видеть с оптической ясностью и это плоское поле, и белые домики, и всё то, что с калейдоскопической быстротой пронесется перед ним, увидеть с фотографической прочностью унести с собой на всю жизнь. – Невероятно! Я бы поверить не мог, что такого рода феноменальные вещи возможны на свете, если бы не представлялось возможным, сидя, разумеется, в кресле, при спокойном рассеянном свете электрической лампы, с наслаждением и с восхищением читать:

«С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптаннами, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга, в терских казачков. Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли...»

И спустя полстолетия на то же обширное поле приходят историки, сличают с добытыми в архивах и в памяти очевидцев боев документами и обнаруживают, что всё в том, одном из многих тысяч, бою происходило именно так, как этот лекарь с отличием тогда успел разглядеть между двумя перевязками и в своей прочной памяти потом навсегда удержать.

Да, ой читатель, это чудо и величайшая тайна художника, который не может не видеть и не хранить в своем сердце решительно всё, чему его судьба определяет в свидетели. Смотри: ещё только кончается бой, ещё, может быть, этот лекарь с отличием не успевает пот со лба куском марли стереть, а уже его обнаженная, ни от кого и ни от чего на свете не имеющая защиты душа вбирает в себя этот постепенно затихающий и все-таки грозящий опасностью мир:

«Всё тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет, фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей в душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное. В ночных бархатах неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И гла-

зом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... аминь...»

И с какой ясностью, с какой простотой передается потом странная цепь размышлений и беспокойно, рывками налетающий сон:

«Да что я, Лермонтов, что ли? Это, кажется, по его специальности? При чем здесь я! Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на гляцевитых листьях, стены кабинета... Всё полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Хинкальском ущелье... Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра, То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели пашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали! Да нет! Это чудится... Всё тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки – спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный дальний рассвет. Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь – свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница... Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. Тебя я, вольный сын эфира. Слякка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон...»

А наутро отдохнувшие за ночь станичники, ни черта не знающие о Лермонтове, дрыхнувшие как ни в чем не бывало мертвецким сном, берут с ходу оставленный Узуном аул, грабят и жгут, пускают по ветру пух из чеченских перин, хватают пачками кур, а усталый, так почти и не спавший лекарь с отличием, глядя на кипящий котел, размышляет с тоской:

Голову даю на отсечение, что всё это кончится скверно. И поделом – не жги аулов. Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже примирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный. Я всегда говорил, что фельдшер Голендюк – умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести...

Я восхищаюсь человеком, который, попавши в кромешный ад гражданской резни, сумел всё это увидеть, нашел в себе достаточно силы и мужества, чтобы обо всем этом подумать, и два-три года спустя с таким изяществом положить на бумагу. Но вот что было делать этому человеку? Как было ему поступить?

Глава семнадцатая

Опять дезертир

Его предвиденье, впрочем, уже к тому времени вовсе не трудное, что «всё это кончится скверно», сбывается с математической точностью. На всем протяжении громадного фронта юга России идут кровопролитнейшие, затяжные бои, где всякий день успех выпадает то на долю одних, то на долю других. Форсируют реки. Угрожают флангу противника, тогда как, со своей стороны, противник на другом участке тоже заходит во фланг. Потери ужасные с обеих сторон. Госпитали переполнены ранеными. И всё же, всё же... Красные продвигаются шаг за шагом вперед. Неумолимо, неудержимо. Разрывая коммуникации, разъединяя силы белых на группировки, так что наконец не остается единого фронта, и битва ведется везде, скорей уже не волей стратегов, а волей случайностей, наводящих друг на друга войска.

В этой сумятице его швыряет в разные стороны те же случайности этих внезапных ожесточенных кровопролитных боев. Какое-то время они с Тасей живут неподалеку от Владикавказа в теплушке, загнанной на запасные пути, и питаются одними арбузами, потому что больше у них никакой провизии нет. Глухой ночью в такой же загаженной, развинченной, словно бы на ходу стенавшей теплушке он едет куда-то перевязывать раненых. Фляжка с водкой висит на сером ремне. Какая-то дама сидит. Он рассказывает ей, лишь бы скоротать время, про тот ночной бой и полковника, раненного ружейной пулей в живот, не в силах сдерживать какие-то болезненные, арлекинские жесты. И дама жалеет его, жалеет за то, что он так дергается, беспорядочно, страшно.

В той же теплушке или в другой, при слабом свете свечи, вставленной в пустую бутылку, он пишет рассказ, совсем небольшой. Во время остановки приходит в газету. Отдает свой рассказ. И рассказ в газете берутся печатать. Скорей фельетон, написанный в стиле, прославившем Дорошевича. Одна фраза – один абзац, так что получается чрезвычайно разгонисто. Я же эти абзацы сожму, потому что фельетон удивительно интересен своей пророческой мыслью о растерзанном будущем у него на глазах погибавшей России:

«Теперь, когда наша несчастная Родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую её загнала «великая социальная революция», у многих из нас всё чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль. Эта мысль настойчивая. Она – темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа. Она проста: а что будет с нами дальше. Появление её естественно. Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли. Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Не видеть! Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее. В самом деле, что же будет с нами?.. Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала. Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки. И долго, долго думал потом... Да, картина ясна! Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят... Они куют могущество мира, сменив те машины, которые ещё недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы. На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны. Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся! И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную ещё высоту мирного могущества. А мы? Мы опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще? Ибо мы наказаны. Нам немислимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача – завоевать, отнять свою собственную

землю. Расплата началась. Герои добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю. И все, все – и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жметя сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны. И её освободят. Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что Родина умерла. Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого ещё топчутся с оружием в руках одуроченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба. Нужно драться. И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы. Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем её до конца. Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться... А мы... Мы будем драться...»

И такую своей пророческой силой страшную вещь берутся печатать в уже зашатавшемся белом тылу, однако редактор, в английском френче, в самого интеллигентного вида пенсне, холодно и наставительным тоном объясняет ему:

– Мы должны пробуждать мужество в тяжелую минуту, говорить о доблести, о напряжении сил.

Странно, должно быть, звучат в ушах у него эти казенные, вообще-то говоря, очень справедливые и во все времена злободневные мысли. Пробуждать мужество, когда его собственное мужество на исходе, кажется даже исчерпывается до дна? Говорить о доблести, когда он проклиная всю эту кровавую доблесть навек? Говорить о напряжении сил, когда эти силы несут разрушение? Призывать к выдержке, когда не достает никаких человеческих сил участвовать в этом кровавейшем месиве?

Может быть, это слишком красноречивое наставление человека в пенсне, может быть, эти первые строки его собственной прозы, напечатанные в обыкновеннейшем газетном листе, может быть, что-то ещё окончательно просветляет его пророческий ум. Уже не остается больше сомнений, и никаких колебаний уже быть не должно. Разрушение! Разрушение! А он врач. Созидатель. Он лечит больных. Спасает им жизнь. Не место, не место ему!

«Сегодня я сообразил наконец. О бессмертный Голендрик! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на 10 томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом во все не обязательно быть идиотом...»

О, это поистине золотые слова! В доказательство справедливости этих слов он ещё напишет целую книгу. Быть интеллигентом действительно означает что-то абсолютно иное! Интеллигент способен, хорошо пораскинув мозгами, в теплушке, в степи у костра, при свече, найти выход там, где, казалось бы, никакого выхода нет, когда один только шаг – неизменный приговор трибунала, что белых, что красных: в расход.

Его приятель тех лет, писатель какое-то, довольно краткое, время более популярный, чем он, тем не менее писатель очень посредственный, довольно прямолинейно и скучно изображает его душевное состояние тех решающих дней:

«Он устал, хотел отдохнуть, собраться с мыслями осле долгих скитаний, после боевой обстановки, после походных лазаретов, сыпных барачков, бессонных ночей, проведенных среди искалеченных, окровавленных людей. Он хотел, наконец, сесть за письменный стол, перелистать свои записные книжки, собрать свою душу, оставленную по кусочкам то там, то здесь – в холоде, в голоде, в нестерпимой боли никому не нужных страданий. Он слишком много видел, чтобы чему-то верить. Нет, он не обольщал себя мыслью, что всё идет хорошо. Он не мог петь хвалебных гимнов добрармии, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков. Он слишком много видел...»

Веры, конечно, он не утратил. Он верил, верит и всегда будет верить в Россию, ибо «преступно думать, что Родина умерла». Однако в этой холодной патетике зерно истины все-таки есть. Разумеется, ему слишком давно мечтается сесть за письменный стол, он за него уже и присаживался несколько раз и кое-что написал, пока ещё исключительно для себя, не решаясь никому показать, как обыкновенно и начинает великий художник, в отличие от бесшабашной посредственности, которая первому встречному под нос готова совать свои только что выкинувшиеся Бог весть какие заметки или стихи.

Тем не менее, в этой истории им едва ли руководит желание поскорее попасть за письменный стол. Его положение слишком серьезно, поскольку он на войне и подвластен бесчеловечным законам военного времени. Скорее всего, этот ничтожный газетный рассказ-фельетон внезапным лучом освещает, по сути дела, единственный выход, который ещё остается ему из совершенно неразрешимой дилеммы: погибнуть с белыми ни за что ни про что, поскольку в белую идею, под флагом которой грабят церкви и сжигают аулы, он нисколько не верит, или быть расстрелянным красными, тоже, в сущности, ни за что ни про что.

И вот он теряет диплом. Лекаря с отличием больше не существует, точно и не было никогда. На свет божий извлекается медицинская справка с замечательной круглой печатью, всех, кому положено и кому не положено знать, извещающая о том, что податель сего освобождается, по состоянию здоровья, от несения воинской службы, натурально, одинаково в белых и в красных рядах. Вместе со справкой появляется обыкновеннейший беженец, никому не нужный интеллигент и газетчик, который скитается по югу России с женой, ищет работу и ветром скитаний заносится во Владикавказ, заметьте, с этим самым газетным листком, который удостоверяет черным по белому всё, что он может сказать, в контрразведке или в ЧК.

Так представляется мне этот добровольный, опасный, изумительно ловкий выход Михаила Булгакова из кровопролитной войны, которая несет России одно разрушение и тем самым отбрасывает её всё дальше и дальше назад от рванувшихся вперед европейских держав. Тася припомнит на старости лет, что он остается при госпитале, раскинутом во Владикавказе, под охраной конницы генерала Эрдели, до той самой минуты, когда госпиталь ликвидируют ввиду стремительного наступления красных, а врачей отпускают будто бы по домам.

Мне не нравится вся эта история, по-видимому, сочиненная старой, уважаемой женщиной, никогда особенно не вникавшей в таинственные дела своего первого мужа. По каким причинам не нравится? По той причине, прежде всего, что никоим образом врачей не могли выпустить по домам, поскольку конница генерала Эрдели оставила Владикавказ, тем не менее война продолжалась и генерал Эрдели не мог не нуждаться по-прежнему в бесценных услугах военных врачей.

Не нравится ещё потому, что только безумец, у всех на глазах служивший в белогвардейском госпитале военным врачом, мог бы набраться храбрости или глупости, чтобы остаться в том же городе и не моргнув глазом уверять явившихся красных, что он вовсе не врач. Так мог поступить только очень наивный субъект, который не имеет ни малейшего представления, что у красных заведена серьезнейшая организация, именуемая кратко: ЧК.

Нет, тысячу раз нет, чтобы без опасности для жизни разыгрывать такую идиотскую карту, необходимо быть именно идиотом, каким Михаил Афанасьевич никогда не был и быть не хотел. Для обеспечения своей безопасности, в случае неумолимого любопытства контрразведки или ЧК, ему было прямо необходимо, чтобы в этом городе никто не знал как врача, а все знали его только в довольно безобидном качестве журналиста.

Не мешает правильно оценить ситуацию и то небезынтересное обстоятельство, что именно в эти смутные дни на южном фронте намечается окончательный перелом в пользу красных. Именно двадцать третьего февраля 1920 года их Восьмая и Девятая армии переходят в новое наступление, в какой уже раз берут с боем остр. Нахичевань, грабят самым бессовестным образом, отбрасывают потрепанные белые армии на левый берег легендарной реки и

развивают очевидный успех в направлении Азов-Батайск-Ольгинская, то есть в самое сердце Добровольческой армии, правда, уже измельчавшей и стиснутой в корпус.

Стремясь нарушить планы противника, конная группа генерала Павлова предпринимает движение в тылы Первой конной и Ударной группы Девятой армии, предпринимает тактически неумело, ошибочно посчитав, что конница красных готовит удар в направлении Тихорецкой. Вследствие этой серьезной ошибки конница Павлова идет с пренебрежением ко всем простейшим, очевиднейшим законам войны, без боевого охранения и без разведки.

В девяти километрах южнее Средне-Егорлыкской разъезды Первой конной, которой командуют бывший вахмистр и бывший семинарист, обнаруживают встречное движение противника. Без промедления разворачиваются к бою две кавалерийские дивизии и с ходу обрушиваются на Донской конный корпус, прикрывающий фланг. Завязывается ожесточеннейший встречный, самый непредсказуемый бой, в котором с обеих сторон принимает участие около двадцати пяти тысяч кавалеристов, крупнейший за всю историю гражданской войны, один из тех, о каком однажды с лирической грустью припомнит Чарнота, разбитый белый генерал:

– И помню, какой славный бой был под Киевом, прелестный бой! Тепло было, солнышко, тепло, но не жарко...

Ярость сражающихся, кажется, уже не имеет границ, и победу одерживает не столько тот, кто искусней в маневре, сколько тот, чья распаленная ярость настоена гуще. Красные берут пленных, свыше ста пулеметов, двадцать девять орудий. Из рук белых в этом бою выбивается самое сильное их преимущество: кавалерию. С этого дня преимущество в кавалерии везде переходит на сторону красных, что предreshает поражение одних и победу других.

Возможно, что именно эти кровавые обстоятельства кладут предел его колебаниям. Во всяком случае, именно в эти самые дни Михаил Афанасьевич, писатель, как он, не имея на это ни малейшего формального права, со своей обычной дерзостью именуется себя, входит в редакцию только что основанной большой газеты «Кавказ» и предлагает к услугам свое пока что решительно ничем не прославленное перо.

И новоявленного писателя не только принимают в число сотрудников, что, пожалуй, было естественно, поскольку сотрудников в этой ежедневной, беспартийной, политической газете не так уж и много, но и украшают его именем первую полосу вышедшего двадцать восьмого февраля 1920 года, считая по новому стилю, первого номера этой газеты. Выглядит так: Ю. Слезкин, Д. Цензор, Е. Венский, В. Амфитеатров, все известные столичные имена, и рядом с ними еще одно абсолютно неизвестное имя: М. Булгаков.

И этот перечень ничем не хуже бумажки с заветной круглой печатью свидетельствует придиричиво любознательным гражданам из контрразведки или ЧК, что перед ними никакой не лекарь с отличием, не дезертир из всех воюющих армий, которые в течение двух лет поочередно насильственным образом мобилизовывали его, а именно литератор, даже, возможно, очень известный, если попадает в такую представительную компанию. Прекрасное алиби, что говорить!

О великие боги! В самое время берете вы этого человека к себе под крыло, и если возможно, то сделайте для него еще что-нибудь, человек этот стоит ваших забот!

И великие боги не оставляют этого человека в беде, от которой он с такой дерзостью и с таким хитроумием пытается убежать. Не успеваешь он действительно развернуть свои таинственные способности на страницах ежедневной газеты «Кавказ», как на него набрасывается свирепейшая чума той гражданской войны: сыпной тиф. Полтора месяца мечется он в жару и в бреду. В голове с каким-то скрипом и стоном вращается бесподобная дичь, и ужасно хочется уехать в Париж:

«Пышет жаром утес: и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего, и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар, Чтобы всё забылось. Полежать, отдохнуть, но только,

храни Бог, не сейчас. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полоч. Вмиг полегчало бы... А потом – голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово – по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит...»

И что хуже всего: неизменен центральный мотив его бреда. Он убегает. Его хватают и уводят с собой. Тогда он рвется, кричит, что ведь бросят, бросят его, что ему надо в Париж, в Париже он непременно напишет роман, а после романа в скит. И непременно опять, непременно. И от тифа, и от этого ужаса бегства у него держится температура сорок и пять. И он едва слышно, а кажется, что грозно и властно, кричит:

– Доктор! Я требую... немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг!..

И тут забыть, забыть.

Бедная Тася мечется у постели больного, у которого то и дело закатываются в предсмертной муке глаза. Конница генерала Эрдели навсегда покидает Владикавказ. Тася бежит в местный госпиталь и приводит врача. Врач уверяет её, что больного в таком состоянии трогать нельзя. Она спорит. Она желает его увезти. Тогда врач говорит:

– Что же, вы хотите довести его до Казбека и похоронить его там на вершине?

Нет, этого она, натурально, не хочет и остается с больным. А город пустеет. Бандиты беспощадно грабят его, поскольку в городе властей никаких. Наконец вступают красные партизаны и учреждают Временный революционный комитет, перед вооруженным ликом которого бандиты в мгновение ока растворяются неизвестно куда. Затем, уже торжественным маршем, входят части Одиннадцатой армии, ведомые товарищами Орджоникидзе, Кировым и Василенко.

Ещё через несколько дней писатель Михаил Булгаков открывает глаза. Он ещё страшно слаб, однако температура спадает и смертельная болезнь понемногу оставляет его. Сознание восстанавливается, а с сознанием возвращается и чувство опасности, которое его так терзало в бреду. Он спрашивает о положении в городе и узнает тяжелейшую новость: в городе красные.

Нет, мой читатель, при этом громоподобном известии ликование вовсе не охватывает всё его существо. Его многострадальная душа, похоже, сжимается и трепещет от ужаса. С горьким упреком говорит он счастливой его выздоровлением Тасе:

– Ты слабая женщина! Не могла меня увезти!

И позднее ещё много раз повторится этот горчайший упрек:

– Ты слабая женщина! Не могла меня увезти!

Не думаю, что в таком состоянии он спешит покинуть жилище и заявить о себе: слишком свежа ещё память его службе в белых частях, и как знать, не располагает ли недремлющее око ЧК неопровержимыми сведениями о докторе Михаиле Булгакове, отнюдь не однофамильце его.

Однако здоровье к нему возвращается, и медлить больше нельзя. К тому же в отчаянные моменты Михаил Афанасьевич умеет идти прямо навстречу опасности. Он и идет. Голова его наголо брита, как положено брить всем тифозным больным. На плечах его френч без погон и мятая офицерская фуражка на голове, поскольку никакого другого костюма он не имеет, как и никто уже не имеет в те суровые, до нитки разорившие страну времена. Он опирается на палку и опирается несколько больше, чем нужно: артистическая натура-с, да и надобно произвести впечатление на суровых представителей новых властей. Он входит в редакцию. Так и есть. Его встречает новая власть: юноша с бородой, в черной бурке, с черным револьвером на поясе,

представитель ревкома. Он рекомендуется голосом, может быть, слабым после болезни, но, без сомнения, абсолютно уверенным:

– Писатель Булгаков.

Слава Богу, молодой комиссар с револьвером вместо пера не имеет ни малейшего представления о литературе и ей подобным, не показанным в партийном уставе вещам, которые в глубине души каждый законченный красный боец почитает абсолютно враждебными и абсолютно неподобающими победившим трудящимся массам, и если он сидит за этим столом с револьвером и в бурке, то лишь потому, что в ревкоме кем-то приказано отделы иметь литературный, театральный, искусства и чего-то ещё, а за годы гражданской войны и своего короткого пребывания в партии молодой комиссар только одну науку и выучил твердо и навсегда: науку беспрекословного повиновения и неукоснительного исполнения любого постановления партии и приказа высших начальников. По этим достойным не только упоминания, но и уважения причинам молодой комиссар ни одного писателя не знает по имени, так что и бровью бы не повел, назовись вошедший Достоевским или Толстым. В ревкоме имеется только инструкция о воспевании немеркнущих подвигов победоносных красных бойцов, и молодой комиссар, исполняя эту инструкцию, с суровым лицом говорит:

– Мы должны пробуждать мужество, говорить о доблести, о необходимости напрячь все наши силы на последний и решительный бой.

Писатель Булгаков несколько приподнимает вверх бровь, поскольку самое короткое время назад уже слышал именно эти слова, и отвечает, как в таких случаях положено отвечать благоразумному человеку, то есть что он весь к вашим услугам, товарищи, и без промедления становится заведующим Лито с мандатом, снабженным необходимейшей круглой печатью. Кроме мандата, и также без промедления, ему отводится кабинет, в котором имеется письменный стол, несколько стульев и шкаф без бумаг, впрочем, шкаф с оторванной дверцей, как его здесь оставили офицеры генерала Эрдели.

Здесь же рядом с ним другой кабинет. В другом кабинете размещается подотдел искусств. Бумажка канцелярскими кнопками косо приколоты к двери. Бумажка гласит:

«Тов. Слезкин Ю. Л.»

В этом кабинете целых два шкафа с оторванными дверцами, три барышни с фиолетовыми губами, три пишмашинки, несколько колченогих столов. Барышни то заправски курят махорку, то лихо строчат на машинках. Тов Слезкин Ю. Л., дамский угодник, любимец всех без исключения дам, темноволосый и ладный, с черными живыми глазами, с родинкой на левой щеке, сидит в самом центре только что образованного приказом ревкома святилища. Его осаждают голодные актерские лица и требуют денег на хлеб. Тов. Слезкин Ю. Л. – это именно тот «очень популярный журналист, предпринявший турне по провинции», который впоследствии кое-что напишет о Михаиле Булгакове и благодаря этому сохранит право на память потомства.

Писатель Булгаков понемногу осваивается, разумеется, прежде всего с машинистками, поскольку не имеет, во-первых, ни малейшего представления о многообразных функциях Лито, на этот раз точно так же, как и суровый комиссар с револьвером, а во-вторых, ни малейшей склонности к канцелярской работе, даже напротив, имеет ярко выраженное, органическое отвращение к ней, как и всякий истинно творческий человек, так что его от любой канцелярской работы тошнит, от вида самой канцелярии тоже тошнит.

Машинистками служат Любовь Давыдовна Улуханова, Тамара Ноевна Гасумянц, гимназистка, с двумя толстейшими косами, брошенными на грудь, и Марго, к которой явный, неслужебного характера интерес проявляет тов. Слезкин Ю. Л., между прочим, женатый, очень популярный и предпринявший турне.

И вот он большей частью сидит за одним из колченогих столов, опираясь на крышку локтями, или стоит, опираясь на неё кистями рук, нависнув над ней, причем значительно чаще

выбирает тот стол, за которым строчит на машинке марго, и беспрестанно подшучивает над ней, разыгрывает, говорит каламбуры, сочиняет стишки:

И над журналом исходящих
Священнодействует Марго.

Замечательный человек! Он знает прекрасно, что в любую минуту его без всякой любезности могут вызвать в ЧК, предъявить кой какие свидетельства, не считаясь, разумеется, с тем, что он лекарь с отличием и свой лекарский долг исполнять обязан повсюду. Что он сможет ответить? Что был мобилизован насильно и что при первой возможности добровольно оставил белую часть? А где гарантия, что после этого ему не предъявят другие кой какие свидетельства, которые подтвердят, что в свое время он, тоже при первой возможности и добровольно, покинул красную часть? Тут ему крыть станет нечем, и три комиссара с суровыми лицами устало объявят ему, что его дожидается стенка, до которой другой комиссар с револьвером благо- рассудит его довести. И все-таки он сохраняет золотую способность шутить. Он превосходно владеет собой, пока нервы не заскулят, тут уж беда. А пока нервы молчат, он не позволяет обстоятельствам себя одолеть. Каков молодец!

Если вы, мой читатель, привыкли к бравурным мелодиям, в каких прежде пелось о гражданской войне, или к похоронным мелодиям, в каких о ней с не меньшим энтузиазмом поется теперь, то вы глубоко ошибаетесь, простите меня.

В самом деле, мало сказать, что стоит время кровавое, стоит время жестокое, ожесточенное с обеих сторон до того, что смерть большей частью бессмысленна, когда разумный закон заменяет собой безрассудство чутья, о разнообразных проявлениях которого на этих страницах приходилось уже говорить, с одной стороны пролетарского, с другой стороны офицерского, а с третьей мужицкого, в равной мере абсолютно лишённого признаков справедливости.

Стоит время безумное, но и время наивное, когда жизнь и смерть определяются главным образом формой одежды и бумажкой с заветной круглой печатью. И по этой причине жизнь писателя Михаила Булгакова, как и многих других, всё это время висит буквально на волоске. Однако продолжает висеть. Любая случайность, чем глупей, тем верней, может её оборвать. Однако не обрывает. Отчего? Почему? Главное, оттого, что он, в отличие от многих других, хорошо понимает не только безумие времени, но и наивность его и не прет на рожон. Вам нужна бумажка с круглой печатью? Вот вам она! А случайность? Случайность существует во все времена.

Тася припомнит впоследствии, как они ходили в городской сад слушать оркестр:

«Был май месяц; Михаил ходил ещё с палкой, опирался на мою руку. В это время как раз приехали коммунисты, какие-то комиссары, разыскивали белогвардейцев. И я слышу, как кто-то говорит: «Вот этот печатался в белогвардейских газетах». «Уйдем, уйдем отсюда скорей!» – говорю Михаилу. И мы сразу ушли. Я вообще не понимаю, как он в тот год остался жив – его десять раз могли опознать! Тогда время было трудное. То, например, выяснилось, что начальник милиции – из белогвардейского подполья. А в доме, где мы жили, оставался сын казачьего атамана, Митя, он мне часто колот дрова, немного даже ухаживал за мной. И вот однажды он говорит мне: «Вступайте в нашу партию!» – «Какую?» – «У нас вот собираются люди, офицеры... Постепенно вы привлечете своего мужа...» Я сказала, что вообще не сочувствую белым и не хочу. А потом я узнала, что он предложил это же бывшей медсестре из детского сада, с которой у него был роман, а она сообщила об этом, и его расстреляли. А про Михаила, конечно, могли сказать, что он печатался в белогвардейских газетах. Да даже этот Митя мог назвать его имя...»

Мало ему что ли того, что он уже пережил? Верно, мало. Писателя испытует судьба. Не какими-то особыми бедами, нет, это вздор, который придумали дураки. Судьба испытует писа-

теля теми же самыми бедами, какими испытует народ. Оттого одних писателей народ понимает, принимает и чтит, а никак не может понять, принять и почтить, пусть они хоть стихами гимны гремят, хоть прозой взывают: «Поклонись роднику».

Чем его на этот раз испытует судьба? Судьба испытует его ежедневным ужасом смерти, какого не испытаешь и в самом кровопролитном бою. Что ж бой? Бой имеет начало, бой имеет конец. Бежишь, орешь, и есть возможность опередить кого-то на миг, и пуля-дура нередко мимо летит. Ни в какое сравнение с ужасом боя не идет тоскливый, томительный ужас контрразведки или ЧК. Этот ужас гложет его день и ночь: войдут, заберут, а там неминуемо к стенке, из контрразведки или ЧК другого выхода нет, контрразведка или ЧК без промаха бьют.

Глава восемнадцатая

Истребление духа

И ещё его голодом испытует судьба. С приходом красных частей голод настает какой-то необычайный. Прежде в лавках имелось съестное, даже балык, балыка лежали на полках целые бревна. Тася два таких бревна успела на последние деньги купить, пока он метался в бреду и ехал в Париж, а теперь решительно нечего есть. Хоть шаром покати. Наваждение какое-то. Иначе нельзя объяснить.

Он впервые знакомится с идеей той разновидности справедливости, которую исповедует новая власть. Согласно с этой идеей все граждане делятся на категории. Категорий, по разным данным, от пятнадцати до двадцати. К самой высшей категории новая власть, как при какой угодно власти заведено, относит только себя: руководящая роль и так далее. Новый цвет нации, избранники неба.

Спрашивается: разве Маркс об этом писал? Голову можно дать на отрез, что ничего подобного никакой Маркс не писал! Ловко придумано всё! Однако молодой комиссар с револьвером в бурке выглядит сносно, получает не роскошный, но вполне приличный паек, эвон как бородачи растут.

Далее категории распределяются по убывающей. В самой низшей категории бывшие, паразиты, тунеядцы, знакомые нам, то есть актеры, писатели, профессора, творческая интеллигенция, одним популярным словом сказать, для комиссара с револьвером и в бурке первейший жизненный враг, да и по сей день жизненный враг многих других, без револьверов и бурок. Этой категории выдается одно только постное масло и огурцы. Против склероза отличная вещь. Впрочем, можно предположить, что комиссар с револьвером и в бурке ни о каком склерозе ничего не слышал, однако не может всё же не знать, что нельзя жить на постном масле и огурцах, непременно ноги протянешь через месяц-другой.

К счастью, у Таси всё ещё имеется цепь, золотая, не менее одного метра длиной, как она уверяет по истечении лет, и они с Мишей отрубают от этой восхитительной цепи звено за звеном и продают на толкучке никогда неунывающим спекулянтам, которые что-то продавали на этом заколдованном месте при белых, стали продавать и при красных, да и теперь продают, уже не скрывая того, что они спекулянты. Если вдуматься, бессмертнейший тип!

На вырученные деньги Тася покупает печенку и делает из печенки паштет. Иногда они ходят в подвальчик и едят, запивая араки, шашлык. Затем снова на постное масло и огурцы.

В Лито делать решительно нечего. С приходом красных куда-то исчезла бумага. При белых была, выходили газеты, кое-что доставалось толстым журналам. А тут хоть шаром покати, кругом ни клочка. Единственная газета, орган ревкома, взявшего под строжайший контроль все запасы бумаги и всё типографское дело Владикавказа, выходит нерегулярно, то двумя полосами, то четырьмя, форматов самых разнообразных, что зависит единственно от того, у кого именно и какую бумагу удастся взять под строжайший контроль. Так что, даже если бы во Владикавказе ненароком завелись литераторы, выразить себя им было бы не на чем. Удивительное постоянство судьбы! Некоторые просторы приоткрыты только поэтам, поскольку стихотворение можно исполнить в концерте. Но и поэты в Лито не ходят, один только случай и был:

«Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла. «Та, та, там, там. В сердце бьется динамо-снаряд! Та, та, там». Стишки – ничего... Мы их... того... как это... в концерте прочитаем. Глаза у поэтессы радостные. Ничего – барышня. Но почему чулки не подвяжет?..»

Революционные поэты, трубный глас победившего трудового народа, в Лито брезгают заходить, поскольку зав. Лито из недорезанных, тунеядцев, паразитов и бывших. Революцион-

ные поэты обитают под лестницей, ведущей в редакцию свободного печатного органа, поставленного ревкомом под строжайший пролетарский контроль. Юноша в синих студенческих брюках, старик на шестидесятом году, ещё несколько человек неопределенного вида, однако с грозным поэтическим жаром в глазах. Самый опасный один, тоже в сердце, видать, динамо-снаряд. Впрочем:

«Косвенно входил смелый, с орлиным носом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк – бывшее летнее собрание. По неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

Довольно пели нам луну и чайку!

Я вам спою чрезвычайку!..»

Временами заглядывают писатели известные и даже очень известные, тоже всё из тунецев, паразитов, недорезанных, бывших, без динамо-снаряда. Кто из Москвы в Тифлис, кто из Тифлиса в Москву. В пасмурный день входит поэт, Мандельштам, невысокий, но стройный, с высоко поднятой маленькой лысеющей головой, удивительно чем-то непонятным похожий на Пушкина, входит и убивает своей лаконичностью:

– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

Рукописей, разумеется, при комиссарах не покупают нигде, то есть комиссары денег не платят, поскольку служащим выдается паек, а с неслужащими вопрос пока не решен, и Мандельштам исчезает, а следом Пильняк в дамской кофточке едет в Ростов:

– В Ростове лучше?

– Нет, я отдохнуть.

Серафимович с глазами усталыми глухим голосом читает доклад о мучениях творчества, точно комиссарам, с револьверами, в бурках, что-то известно о творчестве:

– Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой – платок... Этикетку как-то молочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул – сверху другое поставил. Подумал – ещё раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз – то же. Так и отложишь в сторону.

Сам собой возникает недоуменный вопрос: что же делает Лито, пожирающее постное масло и огурцы, когда ни поэтов, ни писателей нет? О, именно без них-то и работа кипит, так что зав. Лито не разгибает несчастной спины! Сочиняет доклады о сети литературных студий. Обращается к осетинам и ингушам с воззванием о сохранении памятников старины. Он то историк литературы, то историк театра, то спец по музыковедению, то спец по археологии и архитектуре, то мастак по революционным плакатам, то готовит удар по араке, поскольку и арака, которую он иногда пьет в ресторанчике, относится к мрачному наследию ещё более мрачного прошлого. Время от времени по несчастной спине пробегает ужасающий холодок, а потом становится что-то уж слишком тепло:

«Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страх не свойствен. Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл! Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно. «Завлито?» – «Зав. Зав». Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более...»

Всё это называется коротко, одним объемным, обобщающим словом: строить новый мир!

Но самыми ударными темпами строительство нового мира идет во время концертов. Концерты устраивают после митингов, после воскресников, то есть почти каждый день. Устраивают литературные вечера. И все концерты непременно сопровождают обширным вступитель-

ным словом, иногда длиннее концертов. Вступительные слова посвящаются Пушкину, Чехову, Гайдну, Моцарту, Баху. Некоторое время вступительные слова берет на себя адвокат Беме, из тунеядцев, паразитов и бывших, однако газета «Коммунист», орган свободной печати, то есть ревкома, тотчас производит предупредительный выстрел-донос:

«Адвокат Беме после социалистического переворота не преминул использовать для своей речи бесславное пушкинское: «увиди ли народ освобожденный и рабство падшее...»»

Тотчас видать, что писал негодяй и дурак, поселившийся под строжайшим контролем ревкома, однако после этого выстрела Беме, осторожности ради, уходит из Лито и делается вообще не приметен, точно не существует на свете. Кому же вступительное слово произносить? Зав. Лито, кому же ещё? Но выдавший виды зав. Лито пытается уклониться и в той же свободной газете ревкома помещает зазывное объявление:

«В политотделе искусств. Литературная секция политотдела искусств приглашает гг. лекторов для чтения вступительных слов об искусстве на концертах и спектаклях, устраиваемых политотделом искусств...»

Однако охотников обращать на себя пристальное внимание свободного «Коммуниста» отчего-то не находится ни во Владикавказе, ни в окрестных селеньях, всё ещё кишачих толпами беженцев, не успевших за конницей генерала Эрдели. И приходится на линию огня выдвигаться зав. Лито, то есть самому выступать, обрабатывать постное масло и огурцы, от которых не разжиреешь, а без которых подохнешь, поскольку больше нечего есть.

Да ещё расторопный тов. Слезкин Ю. Л., тоже за масло и огурцы, на убитой булыжником мостовой, в приземистом, как-то слишком в стороны раздавшемся доме, окрашенном в обыкновенную, удивительно неприятную желтую краску, открывает бесплатный театр, и красное полотнище плещется на грязном фронтоне, извещая, что это «Первый советский театр», бесплатный единственно оттого, что деньги при новой власти вообще не в ходу.

Перед каждым спектаклем и после него в зале дружными голосами поется «Интернационал». Казалось бы, этого и довольно, однако же нет, полагается и при этой okazji вступительное слово читать. И тов. Слезкин Ю. Л. обращается за помощью к т. писателю Булгакову М. А. Первым ставят на обновленных подмостках «Зеленого попугая» никому не известного Шницлера, поскольку новых пьес своих авторов всё ещё нет, а действие пьесы австрийского драматурга происходит в тот знаменательный день, когда лихие парижане штурмом брали пустую Бастилию.

И т. писатель Булгаков М. А. Произносит вступительные слова, и приходится без утайки сказать, что результаты его добросовестно подготовленных вступительных слов становятся плачевней день ото дня. Некоторые из своих выступлений он опишет впоследствии, ненавязчиво накладывая самые знаменательные штрихи. Привожу одно из таких описаний, больно уж хорошо:

«Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или ещё почему-нибудь, у меня в голове как-то мрачно. В театре – яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: «Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!...»

Правда, в тот вечер сам Антон Павлович себя в обиду не дал. «Хирургия» и рассказ о том, как чиновник чихнул, прошли на «ура». У Антона Павловича был полнейший успех.

Можно предположить, что с такого рода успехов и начинается во Владикавказе нешуточное сражение, впрочем, не столько умов, сколько двух, друг друга взаимно исключаящих, доктрин. Заваривается какая-то абсолютно сумасшедшая каша. Представьте себе, мой читатель, в громадной стране уже от края до края уничтожено решительно всё, что только может

быть уничтожено, истреблены все, в соответствии с разнообразным чутьем, кого только можно истребить в братоубийственной войне, когда ярость борьбы ослепляет одинаково и того и другого врага. Заводы уже не работают, трубы давно не дымят. Транспорта нет. О классных вагонах давно позабыто. Поезда составляют из покореженных, облупившихся, повидавших разнообразные виды теплушек и тащатся без всякого расписания с такой убийственной скоростью, что на дорогу убиваются месяцы, так что Михаил Афанасьевич шутит, мефистофельски улыбаясь, что до Петрограда надо ехать три года. Голод в стране. На продразверстку дремучие мужики отвечают по-своему, как испокон веку завелось на привольной Руси: бунтуют не часто, комиссаров не бьют, однако изворачиваются таким хитроумнейшим способом, что хлеба все-таки нет, поскольку наловчились засеять самый маленький клин, лишь бы достало семье на еду, и пусть продразверстка лютует, пусть новая власть отбирает у мужика семена, хлеба все-таки нет, идет замиренная, но непримиримая война новой власти и мужика.

В этой бескрайней, невежественной, даже неграмотной большей частью стране интеллигенция истощена до предела. Кто не протянул ног, лишенный пайка, кого не приставили к стенке, тот уплывает поспешно в Константинополь, в Париж. Остаются немногие, но самые чистые, самые честные, желающие народу добра и потому увлеченные светлой идеей создания нового мира без богатых и бедных, главное без невежества и нищеты, тем не менее и этим немногим дозволяется жить на положении тунеядцев, паразитов, недорезанных, бывших и ещё черт знает каких.

А между тем начинает обнаруживаться в ходе кровопролитных боев, что страну эту мало завоевать, страной этой ещё надо уметь управлять. А как управлять красному командиру и красному комиссару? Он не умеет ничем управлять. И в бескрайней стране создается на месте разрушенных напроць прежних бессчетное множество новых, а все-таки учреждений, даже несколько больше, чем было прежде. Это сделать нетрудно, ума тут много не надо. Трудность в другом. Для правильного течения дел все учреждения требуют людей подготовленных, хотя бы грамотных элементарно, умеющих написать протокол, желательно несколько образованных.

Ищут и не находят. Почти не остается такого рода людей. Приходится должности замещать сплошь и рядом героями гражданской войны, вступившими в партию большевиков на скаку, изучавшими политграмоту с шашкой в правой руке, отчасти из немногих уцелевших рабочих, отчасти из грамотных и даже вовсе неграмотных мужиков, отчасти из обитателей, которых революция перемешала и кой кого подхватила наверх. Все эти граждане в спешном порядке вооружаются несколькими ходячими революционными афоризмами, но не понимают ни малейшего толку в делах, подписывают бумаги, не всегда понимая их смысл, и разводят такую бумажную волокиту, какой отродясь не бывало в видавшей всякие виды стране.

Кажется, остановиться наступает пора, оглядеться, привлечь на свою сторону именно тех, кто ещё не плывет парохом в чужие края, голодной смертью не умер и к стенке пока не попал. Однако же – нет! Жажда истребления и разрушения всего бывшего, всего, что принадлежит старому миру, причем принадлежит без вины, как будто обретает второе дыхание, приготавливаясь к самой длинной дистанции, какие только знала история. Уже мало истреблять и калечить живых. Принимаются за почивших в веках. Под корень вырубают всю нашу культуру, истребляют всю нашу духовную жизнь.

Революционные поэты, газетчики революционных газет, взятых под строжайший контроль новой властью, цитируют приблизительно и кое-как, пишут с ошибками самыми грубыми, среди них элементарную корректуру некому поддержать, до того далека от них азбука соль. Что им Пушкин? Что им чеховский юмор? Не надо им ничего, что достается нам от прошедшего, которое проклято ими безумным проклятием, им новое, новое подавай. Традиция? Это великое слово им неизвестно. Все поэты, рожденные той или иной революцией, в духовном смысле безродны, бездомны. Тем яростней они громят то, чего не успели или не захотели узнать, что

не понимают и понимать не хотят, считают постыдным, силой оружия, силой проклятия запрещают себе и другим. Вот полюбуйте на них:

«Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдоревOLUTIONность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...»

Стоит страшная летняя духота. Михаил Афанасьевич, который Гоголя любит как родного отца, присутствует в первом ряду и обливается потом. Интеллигент из интеллигентов, с молоком матери впитавший в себя блистательные традиции великой русской и европейской культуры, на Пушкине воспитанный, благодаря Пушкину и всей богатейшей русской культуре ставший истинно порядочным человеком, он принужден выслушивать весь этот малограмотный, революционно-сознательный бред. Да что – выслушивать? Он принужден молчать, как подлец! В духовном отношении его загоняют в мерзейшую школу оплевательства и поношения, причем оплевают и поносят именно то, что оплевательству и поношению не подлежит.

Прежде открытый и легкий, заводила и весельчак, мистификатор и любитель ядовитых острот, не шадивший решительно никого, он приучается терпеть и держать язык за зубами. Он помнит всегда и везде, что на карту брошена его жизнь и что его жизнь может быть очень просто обрезана каким-нибудь одним необдуманно, неосторожно сказанным словом. Пролетели блаженные времена, когда человек мог быть и мог жить сам собой и перед людьми являться таким, каков есть, хотя бы в белых штанах. Нынче такая откровенность представляется глупой, как если бы вздумалось голым ходить. Ходить нынче безопасней одетым. Ещё лучше подыскать себе маску, чтобы не удалось никому выражение твоего лица подглядеть. В противном случае печальнейшие происходят истории. Всё тот же популярный, но посредственный автор таким образом передает его задушевную мысль, обобщившую жизненный опыт:

«Алексею Васильевичу довелось однажды... собственно, даже не ему, а одному его знакомому, видеть такого обнаженного человека: он нисколько не стеснялся своей наготы. Он даже – наивный человек – гордился ею. Просто пришел и заявил – я такой и такой и иным не желаю быть и костюма не надену... Да, просто так и сказал, с полной искренностью, от чистого сердца. И, представьте себе, – ему поверили. Его приняли за того, чем он был в самом деле, потому что он не собирался казаться чем-нибудь иным... Вот и всё. Вы не верите, чтобы на этом кончилась его история? Но представьте – это так. С тех пор его уже никто не видел. Аминь...»

И т. писатель Булгаков М. А. Старательно обучается труднейшей и сквернейшей науке носить непроницаемую, но, что бы ни говорили, подлейшую маску, единственно для того, чтобы остаться в живых, не уповая, как уповают обыкновенно глупцы, что, мол, там разберутся. Он видел довольно, чтобы понять, что там, в контрразведке или в ЧК, не станет никто разбираться, как видел достаточно для того, чтобы сделать безошибочный вывод, что вместо искренности и голого вида благоразумней иметь простую бумажку с хорошей круглой печатью. И он коллекционирует эти бумажки с круглой печатью, при всяком удобном случае добывает мандаты, удостоверения личности, пропуск для передвижения по ночным улицам после комендантского часа. Одним словом, бумажки с круглой печатью на все случаи жизни, поскольку бумажка с круглой печатью в этом месиве надежней всего.

И было бы глубочайшим заблуждением думать, что такого рода насилие над собой ему нравится и дается легко. Могу со всей ответственностью сказать: такое насилие над собой является для него величайшей из мук, которой еще и еще раз его испытует судьба.

Ведь если бы речь заходила о вздорах и пустяках, о пошлейшей благопристойности, как он пытается аттестовать свою противовольную скрытность, тогда бы дело другое. В действительности же речь заходит о самой сути его оскорбленной души, о его совести, закаленной и

развернувшейся в те блаженные времена, когда никого не ставили к стенке и он был удачливым земским врачом. Речь заходит о духовном его существе.

Ибо новая власть требует жестко, чтобы т. писатель Булгаков М. А. Искренне и добросовестно служил той невероятной галиматье, которую эта новая власть производит на ниве культуры. Добросовестно. Искренне. В противном случае стенка. Голодная смерть. Паразит, недорезанный, бывший. Малейшее подозрение в недобросовестности и в неискренности влечет за собой именно это свинцовое, противное словцо: саботаж.

И он то и дело выступает перед неграмотными красноармейцами, которых новая власть усиливает просветить на все сто в одночасье. Выступает с всевозможными вступительными словами, понимая, конечно, что эти неграмотные герои гражданской войны решительно не понимают ни слова из его вступительных слов. Мало того, выступает, обливаясь мерзким потом при мысли, что это и есть саботаж. Он сочиняет какие-то грошовые юморески и вновь обливается потом. Он ещё способен беззаботно шутить, наблюдая, как на великую «Травиату» загоняют неграмотных, а у грамотных отбирают входные билеты на том основании, что командование доблестных красных частей таким способом надумилось бороться с неграмотностью. Вообще, как выясняется в эти прискорбные дни, он очень многое может, подавленный страхом расстрела, который противен ему и который он себе не может простить.

Однако как же он может служить добросовестно, искренне публичному уничтожению Пушкина? От самого себя отказаться никому не дано, а в Пушкине воплощена вся его духовная суть, вся его вера, весь его идеал. Тронуть Пушкина означает тронуть его самого. Правда, он и в этом случае начеку. Он собирает всю свою волю и всё же молчит, слушая этот малограмотный бред про камер-юнкерство и про штаны. Молчит и молчит. И все-таки он ещё недостаточно владеет собой. На лице его маска ещё не плотно сидит. Не по размеру пришлась. И вот результат. Когда своим агрессивным невежеством распаленный оратор, освежившись стаканом теплой воды, предлагает Пушкина выкинуть без сожаления в печь, он улыбается.

Какая неосторожность! Какой ужасающий промах! Нынче и улыбки довольно вполне, чтобы иметь вагон неприятностей, если не много больше вагона. «Улыбка не Воробей», – вынужден констатировать он. И в подтверждение этой отвратительной истины вспыхивает, как порох на полке, скоропалительный диалог:

- Выступайте оппонентом!
- Не хочется!
- У вас нет гражданского мужества!
- Вот как? Хорошо, я выступлю!

Рыцарь! Рыцарь! Разве можно поддаваться на провокацию? Разве не видишь, что тебя желают заманить в мышеловку, разоблачить, выволочь наружу твоё дореволюционное прошлое, Первую гимназию, университет, ещё прежде рассказы отца и по меньшей мере грубо и гадко насмеяться над ним?

Полно, всё он видит, всё понимает. Он и прежде не позволял бесстрашным истребителям славного прошлого глумиться и над славным прошлым и над собой, и когда, после его выступления с докладом о музыке, В. Вокс набирается смелости утверждать в «Коммунисте», что его доклад является простым, да ещё легковесным, переложением книг по истории музыки, он, способный исполнить все арии «Севильского цирюльника» или «Фауста», отвечает самодовольному критику на страницах той же паршивой газеты, обличает его в полнейшем незнании музыки и рекомендует редакции не «поощрять Воксову смелость».

На этот раз в его присутствии оскорбляется самый дух национальной русской культуры, свергается её самая светлая, её бесценнейшая святыня. Предать Пушкина для него почти то же, как если бы он предал Христа. Он ещё способен понять, что страх удавки или топора палача овладевает и старым солдатом, каким был вошедший в историю Понтий Пилат, но такого страха не способен прощать ни другим, ни себе. Он не Понтий Пилат и Христа не пре-

даст. И пусть ему грозит что-то похуже, чем немилость Тиверия, которой испугался пятый прокуратор и всадник, он не может смолчать. Вся его мягкая, доброжелательная натура интеллигентного человека в этот миг встает на дыбы. Вся его дерзость пробуждается в нем. И он составляет доклад. И в этом докладе всё лучшее, что он знает о Пушкине. И он сам тоже в этом докладе, со своим страстным, непримиримым характером, со своей ясностью и остротой, которые вызывают у одних восхищение, в других гнуснейшую зависть, у третьих, то есть у большинства, кровожадную жажду оспорить, разметать, уничтожить, испепелить. Очень, надо сказать, примечательный, многообещающий дар!

«Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами. «Ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума...» Говорил Он: «Клевету приемлю равнодушно». Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи. И показал!..»

Битва идей разгорается в бывшем летнем театре. Убожество обстановки вполне достойно эпохи всеобщего разрушения ценностей, не только материальных, но и духовных, которые разрушить нельзя. На сцене торчит какой-то колченогий столишко, реквизированный черт знает где. Графина, натурально, нигде не нашлось, да и какие быть могут графины в революционном быту, эта несомненная принадлежность недорезанных, паразитов и бывших. Вместо графина на колченогом столишке бутылка с водой.

Т. писатель Булгаков М. А., в потрепанном френче, в старых обмотках, причем обмотки разной длины. Однако тщательно выбрит бессмертной бритвой «Жиллет». Его светлые волосы смелой свежей стрелой прорезает безукоризненный интеллигентный, по новым понятиям белогвардейский, пробор.

Он утверждает своим холодным, сдержанным до поры до времени, презирающим противника тоном, что Пушкин – «революционер духа», что Пушкин ненавидел тиранов и тиранию и по этой причине близок был декабристам. Светлый пушкинский гений! К насилию ненависть! Неиссякаемый, неумирающий гуманизм! И что-то ещё.

И так говорит, что предыдущий оратор у всех на глазах лежит на обеих лопатках. И в глазах недорезанных, паразитов и бывших он читает пылающий расплавленным жаром призыв: «Дожди его! Дожди!» И он дожимает, уже не зная пощады. И обнаруживается в этот прекрасный момент, впервые обнаруживается, надо признать, однако неискоренимо и навсегда, что в душе его не плещется ни единой капли христианского милосердия к кровным врагам, даже если перед ним поверженный враг. Он знает, конечно, после апокалиптических лет гражданской взаимной резни, верную цену всем тем, кого позднее назовет обобщающим именем: Марк Крысобой. Никогда по отношению к Крысобой и крысобоям из уст его не вылетит это странное, это неуместное слово: «добрый человек». Он уже навсегда убежден, что быть интеллигентным человеком вовсе не значит быть идиотом и подлецом.

Разлезается, рушится, ко всем чертям летит его маска, и воины с бывшей культурой первыми ощущают, что под маской веселого балагура и остряка скрывается нешуточная натура бойца, и ему, натурально, тотчас наносят ответный удар. В этом ответном ударе легко распознать характернейшие черты и приемы всех бывших и всех будущих такого рода ударов, которые в таком поразительном изобилии обрушатся на него. И самая гнуснейшая черта этих ударов: донос.

В «Коммунисте» является гневливый отчет, в котором т. писатель Булгаков М. А. уже именуется литератором бывшим, то есть тем двусмысленным, однако вполне убивающим обозначается словом, после произнесения которого в гуманистический спор непременно вступает со своим грозным авторитетом ЧК. В «Записках на манжетах» он подведет невеселый итог:

«Я – «волк в овечьей шкуре». Я – «господин». Я – «буржуазный подголосок»...»

Вторая неперемнная черта всех ответных ударов: оргвыводы. И оргвыводы уже на носу, поскольку битва идей, запылав один раз, имеет несчастное свойство никогда не кончаться, только формы менять да разгораться всё жарче. Обе стороны то и дело подбрасывают свежий хворост в огонь.

Наконец, третья черта, может быть, самая гнусная: молчание роевой общей жизни, когда тебя бьют у неё на глазах. Он впервые испытывает её на себе. Ведь читал же он в глазах многих это призывное слово «дожми!», и он дождал, однако когда принимаются дожимать его самого, никто не встает рядом с ним, никто не возвышает свой голос в защиту. Нет, трусливо и пряча глаза его единомышленники оставляют его одного на растерзанье несправедливым, но имеющим власть. И до конца жизни станут оставлять его одного. Всегда и во всем.

А пока доклады «бывшего литератора» следуют своим чередом, и в каждом из них он неизменно прославляет кого-то из тех, кого предлагается со спокойным сердцем швырнуть в революционный огонь. И не может не прославлять, заметьте себе. Несмотря даже на то, что читает доклад по обязанности.

К докладам присовокупляются пьесы. В страшной спешке кропает он эти первые пьесы одну за другой, и в такой же спешке их тотчас воспроизводят на сцене, и выручает эти скоро-спелые пьесы единственно то, что он знает сцену с замечательной тонкостью и что антрепризу в Первом советском театре Владикавказа держит прекрасный антрепренер Сагайдачный, пригласивший известных актеров, а также талантливых молодых.

«Бывший литератор» вынужден бросить в этот костер свою юношескую мечту о блистательном начале театрального поприща. Непременно в столичном, то есть, конечно, в московском театре. Непременно с выношенным уже, вырванным из самого сердца главным героем, которого давно называет «Алеша Турбин». С этим светом души, горящим в потемках разрушительных битв, со словами о чести, о достоинстве, о любви. Всё так продумано в этом сюжете, что работа кажется легкой и что спешка ничему не вредит.

«Братья Турбины» называется пьеса. Подзаголовок гласит: «Пробил час». То есть, как видите, пьеса не о героических подвигах красных бойцов, которые добивают белую контру, а пьеса о том, что в жизни всегда наступает тот час, когда надо сделать решительный выбор, выбор пути, по которому дальше идти. И всегда это выбор между бесчестьем и честью.

Боже мой! Это же всё интеллигентские штучки! Пьеса прямо обречена на провал!

Премьера состоится в четверг, двадцать первого октября. В заглавной роли выступил Польш, сильный и уже известный актер.

Удивительная судьба: с Турбиным ему своеобразно и непременно везет! Хотя этот первый Алеша Турбин не имеет почти ни малейшего отношения ни ко второму, ни к третьему, «треск успеха» падает на него со стороны тунеядцев, недорезаных, бывших и паразитов, которые большей частью и посещают Первый советский театр. Что там падает – обрушивается на счастливую голову автора.

Первый треск. Самый, самый первый в его жизни настоящий успех. Он на седьмом небе, вы полагаете? Он с сияющим лицом вылетает на вызов? Мой читатель, когда же перестанешь ты на его счет заблуждаться? У этого нового драматурга, который где-то в страшной глуши рождается у нас на глазах, есть не только достоинство, гордость собой и убийственно острый язык. Он ещё имеет острее критическое чутье в отношении себя самого. Бесценный, однако мучительный дар. И оттого ни седьмого неба, ни сияющего лица, ни переполненного пеной радости сердца. Треск успеха ему доставляет страданье. Вскоре он пишет об этом двоюродному брату в письме:

«Жизнь моя – мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда «Турбины» шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня на душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, – писать. В театре орали «автора» и хло-

пали, хлопали... Когда меня вызвали после второго акта, я выходил со смутным чувством... Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «а ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь...» Судьба насмешница...»

Однако, если автор уходит после премьеры с кровоточащей раной в совестливой душе, то истребители духа с зубовным скрежетом налетают на «бывшего литератора». Одной фразы о «разъяренных Митьках и Ваньках» оказывается слишком достаточно, чтобы разразиться в «Коммунисте» тирадой, полной самого зловещего смысла:

«Мы заявляем, что если встретим такую подлую усмешку к «чумазым» к «черни» в самых гениальных страницах мирового творчества, мы их с яростью вырвем, искромсаем на клочья...»

Все-таки ещё три вечера «Братьев Турбиных» повторяют, а двадцать шестого октября должен состояться Пушкинский вечер, причем афиша, которая извещает граждан об этом событии, подписывается странным именем: администратор Филь.

Самое имя Пушкина в пределах Владикавказа раскалено, а тут ещё убогую сцену украшает самодеятельный портрет, изготовленный голодными местными силами, готовыми ради куска хлеба ухватиться за любую работу. С такими наглыми выпуклыми глазами портрет, с такими остервенелыми бакенбардами, что гражданин на портрете из-под размашистой кисти местных сил выходит как две капли воды бесстыжий Ноздрев. Ужасающие последствия столь оригинальной игры рисунка и красок нельзя не предвидеть. Естественно, разражается настоящий скандал.

«Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской...» В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне: «Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!» Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло крещендо. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта – театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Бис!!!» Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...»

Я не знаю и не хочу знать, что на этот раз навалял сукин сын, нашедший себе на полосах «Коммуниста» трибуну. Сам Михаил Афанасьевич приводит такой отрывок из подлой статейки «Опять Пушкин!», должно быть, впоследствии им самим сочиненный, однако выдержанный именно в духе этого рода погромных статей:

«Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника \каким, положим, он и был/ с бакенбардами...»

К этому отрывку далее следует его комментарий:

«Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..»

Под арест его, слава Богу, собачий кретин не подводит, однако без промедления оргвыводы следуют, при гробовом молчании почтеннейшей публики. Двадцать восьмого октября является комиссия для расследования подрывной деятельности подотдела искусств, составленная из таких же отъявленных истребителей духа. Расследует. Составляет доклад. Направляет

доклад куда следует. Там где следует на обложке доклада делают краткую, однако возмутительную, небезопасную для жизни размашистую надпись карандашом:

«Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков \бол./, 4. Зильберминц...»

Имеется довольно смелое предположение, будто сокращение в скобках надлежит понимать как «белый», «белогвардеец», с чем я согласиться никак не могу, поскольку толкование этого рода вело бы за собой неременный арест, и о т. писателе Булгакове М. А. больше бы никто никогда ничего не услышал, как и о том, сказавшем прямо в глаза, кто он такой. Аминь. Я не сомневаюсь, что тут мужественная рука «того, кого следует», пренебрежительно сократила ненавистное словцо «беллетрист», что спасло Михаилу Афанасьевичу свободу, возможно, и жизнь, поскольку предполагало именно только изгнание.

«Я – уже не завлито. Я – не завтео. Я – безродный пес на чердаке. Скорчившись сижу. Ночью позвонят – вздрагиваю. О, пыльные дни! О, душные ночи!..»

Нечего прибавлять, что после столь громкого инцидента литературные вечера запрещают и что вступительные слова о ком бы то ни было отпадают сами собой. Так же сами собой прекращают регулярные выдачи постного масла и огурцов.

И все-таки, все-таки...

Как замечательно он запишет однажды в интимном своем дневнике:

«Блажен, кого постигнул бой...»!

Глава девятнадцатая

Отверженный

Даже зная про этот стержень души, который выражается весь в этой потрясающей записи, не может не поражать, как это он, по ночам вздрагивая от слабейшего звука, всё ещё не сдаётся, а он не сдаётся!

В эти горчайшие осенние дни, когда над ним нависает такое тусклое небо, которое напоминает портянку, он напряженно и много работает, и работает не как-нибудь так, оттого, что накатывает священная лихорадка труда, а с сознанием дела, с расчетом. Во-первых, в этом кошмаре, когда истребляется дух, он пробует создавать какие-то настоящие, как ему представляется, вещи, разумеется, исключительно для себя, поскольку их решительно негде печатать. Во-вторых, создавать что угодно для спасенья себя.

Во-первых. Это «рассказы, которые негде печатать» и которые, по всей вероятности, до нас не дошли или нам известны в других редакциях и под другими названиями.

Во-вторых. «Братья турбины» отправляются без промедленья в Москву, в литературную секцию Масткомдрама, которую возглавляет, как прекрасно известно ему, Мейерхольд. На что он рассчитывает, предпринимая этот отчаянный шаг? Он рассчитывает, по-видимому, убить одним ударом двух зайцев: получить из центра заветную бумажку с настоящей круглой печатью, в которой бы черным по белому одобрялась его четырехактная драма и которой можно бы было заткнуть кровожадные глотки ретивых местных властей, а вместе с такой превосходной бумажкой совсем недурно было бы в том же пакете обнаружить приглашение от самого Мейерхольда прибыть срочнейшим порядком в Москву. И он просит Надю, чтобы она сходила в этот чертов Масткомдрам и похлопотала за его несчастное детище. Он как на иголках живет:

«Дело в том, что творчество мое резко разделяется на две части, подлинное и вымученное. В мечтах – Москва, лучшие сцены страны...»

И ведь уже никогда ему не избавиться от этого противоестественного, резкого разделения на вымученное и подлинное. Между ними придется ему разрываться всю жизнь...

Однако, ожидание ожиданием, но он не сидит сложа руки. С умопомрачительной быстротой он строчит комедию-буфф «Глиняные женихи», в тайной надежде, что уж эту-то безобидную дичь без затруднений удастся продвинуть в репертуар и тем несколько смягчить и улучшить свою погубленную почти репутацию, да к тому же и заработать хотя бы немного, поскольку ему не выдают, как известно, ни постного масла, ни огурцов.

Комедию-буфф он лично читает облеченной властью комиссии и, к прискорбию своему, обнаруживает, на каком космическом расстоянии друг от друга располагаются нынче в членах комиссии живая душа и затверженная на вечную память идея.

В продолжение всех трех часов комиссия беспрестанно гогочет жеребьячим гогогом. Однако, поскольку автор уже не просто «бывший литератор», но и тем, кому следует, изгнан с государственной службы, а также поскольку комедия-буфф не представляет ни одного из доблестных героев гражданской резни, что в глазах комиссии могло бы явиться безошибочным признаком несомненного достоинства пьесы, комиссия принимает решение, которому позавидовать могли бы в виртуознейших интригах закосневшие иезуиты.

Комиссия отклоняет прошение автора включить в репертуар вышеозначенную комедию-буфф и предлагает ставить её в свободные дни, когда театр не ставит спектаклей, зная доподлинно, что спектакли идут что ни день.

Многозначительное решение, надо признать!

Все-таки он не сдаётся. Самая эта многозначительность, может быть, толкает его на отчаянный шаг. Он избирает сюжет, уже сам по себе сулящий успех его автору у столь взыска-

тельных членов мудреной комиссии. Он сочиняет трехактную пьесу «Парижские коммунары»! Причем в эту пьесу он умудряется ввести образ Анатоля Шоннара, близкий ему.

«Мой Анатолий – мой отдых в моих нерадостных днях...»

Крыть на этот раз комиссии нечем. Коммунары, шутка сказать! Комиссия не может не включить пьесу о коммунарах в репертуар: в самом деле, вывозит, вывозит славный сюжет! Пьесу ставят. Михаил Афанасьевич ходит смотреть во втором акте своего Анатоля. Не может не радоваться:

«Изумительно его играет здесь молодая актриса Ларина...»

В те же дни с большим опозданием достигает Владикавказа какая-то из линялых московских газет с объявлением конкурса на современную пьесу. Он смотрит на дату: время упущено, время прошло. Он понимает, что его пьесе до лучшей пьесы исключительно далеко. Но для него этот конкурс – ещё один шанс, возможность приобрести спасительную бумажку с круглой печатью и вызов в Москву. Стало быть, «Парижские коммунары» отправлены под девизом «Свободному богу искусства». Косте он пишет:

«Наконец, на днях снял с пишущей машинки «Парижских коммунаров» в 3-х актах. Послезавтра читаю её комиссии. Здесь она несомненно пройдет. Но дело в том, что я послал её на всероссийский конкурс в Москву. Уверен, что она не попадет к сроку, уверен, что она провалится. И опять поделом. Я писал её 10 дней. Рвань всё: и «Турбины», и «Женихи», и эта пьеса. Всё делаю наспех. В душе моей печаль. Но я стиснул зубы и работаю днями и ночами. Эх, если бы было где печатать!..»

И все-таки, как он ни бьется, угроза гибели подступает с разных сторон. С одной стороны, его в любую минуту могут разоблачить и как белогвардейца и как дезертира из красных частей, и когда одна из его владикавказских знакомых отправляется за каким-то чертом в Москву, он без промедления пишет Наде письмо, предупреждая её, чтобы ни в коем случае не велись в семье разговоры о его несчастном лекарском прошлом:

«Внуши это Константину. Он удивительно торопится на всякие ляпсусы...» С другой стороны, надвигается голод, о чем в «Записках на манжетах» будет сказано кратко, но сильно, в главе, которая называется «Не хуже Кнута Гамсуна»:

«Я голодаю».

В ещё худшем положении оказывается «очень популярный журналист, предпринявший турне по провинции», тов. Слезкин Ю. Л.

«Беллетриста Слезкина выгнали к черту, несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место...»

Положение становится невыносимым, когда у голодного Слезкина рождается сын. Для младенца не удастся приобрести решительно ничего из того, что необходимо входящему в жизнь. Младенец обретает пристанище в картонной коробке, на боку которой начертано по-французски: «Мадам Мари. Моды и платья», и скулит жалобным голодным тоненьким голоском.

Глядя на это тощенькое дитя, с темными ножонками и ручонками не толще карандаша, слыша этот расслабленный писк, невозможно со всей справедливостью не заключить, что правды на земле не прибавилось, это в лучшем случае, разумеется, если наблюдателю российской истории угодно мыслить благосклонно и на сытый желудок, о неблагоприятных и голодных что ж говорить. Земля пребывает в бесчестье, во зле, уже, кажется, достигшем предела, выше положенного бесчестью и злу, хотя, если взглянуть беспристрастно, никто никакого предела бесчестью и злу на земле не положил.

Михаил Афанасьевич абсолютно один посреди кромешного бесчестья и зла. Именно так: абсолютно один. Неестественно. Впору одичать, человеческий язык позабыть, поскольку чумные стоят времена, когда без не проницаемых никакому глазу одежд на люди выходить невозможно. Лживый человеческий нынче язык. Надобно к лживому языку привыкать, а как же к

лживому языку привыкать, когда по натуре открыт и до двадцати пяти лет здравствовал во всю ширь и открыто? Тяжело привыкать, необходимо, однако же невозможно привыкнуть. Такая невыносимая жажда человеческой речи, обыкновенной, открытой, чтобы кто-то тебя понимал и чтобы кого-то ты понимал. С полуслова. Иногда и без слов. Те-то, комиссары-то, понимают друг друга, с полуслова, иногда и без слов. Да, страждет он, страждет. Оттого и жаждет душа.

В этих крутых обстоятельствах они и сближаются, поневоле можно сказать, и с каждым днем всё тесней и тесней, хотя, если вдуматься, без этих крутых обстоятельств сближение было бы вряд ли возможно.

Для сближения, разумеется, кое-какие предпосылки имеются, и немалые, даже довольно большие. Оба они принадлежат к глубоко культурной среде паразитов и бывших, хотя проглядывают кое-какие оттенки, с которыми тоже не считаться нельзя. Разве, к примеру, не имеет никакого значения то, что один выходит из рядов духовенства, с прочнейшей духовной основой, я бы сказал, с мускулистой душой, где с привычным спокойствием тащат свой крест, а другой принадлежит к дворянской семье, с расшатанной духовной основой, со всеми признаками нерешительности, меланхолии и немалой доли безволия?

На мой взгляд, имеет даже слишком большое значение. Слезкин, к примеру, пишет много, пишет успешно, пишет давно, Дух времени хорошо ощущает. Дух распада. Дух разложения жизни. Слезкин видит прекрасно, что старый мир, в период между двух революций, отмирает, уходит, причем навсегда. Слезкин говорит, с налетом меланхолии, с налетом тоски, что «старое умерло, умерла сущность его, развалилась и его оболочка». И людей в герои свои выбирает расслабленных, утративших волю, с неустойчивой психикой, с нервами измочаленными черт знает чем, потерявших себя. В особенности же предпочитает юных девиц, юных дам, ещё только вступающих в жизнь, неопределенных, таинственных, милых, с туманными чувствами, с туманными мыслями, как и у него самого. В сущности, ему нечего об этом умирающем мире сказать. Слезкин и не говорит ничего. У него в таких разговорах и потребности нет. Ему ничего не стоит признаться публично:

«У меня нет стремленья во что бы то ни стало рассказать о себе, вывернуться наизнанку перед читателем».

Нечего выворачивать перед читателем, перед собеседником, перед другом, по правде сказать. Твердил-твердил десять лет, что старая жизнь умерла, а революция разражается для него неожиданно и совершенно ошеломляет его. Он не понимает в революции ничего и не стремится понять. Полный год остается он в Петрограде и шлифует всё те же рассказы о расслабленных людях, потерявших себя. Заболела жена, и он едет в Чернигов, к отцу, генералу в отставке, музыканту, знатоку-любителю сцены, покровителю театров в губернии. Всё переворачивается верх дном у него на глазах, а он предпринимает, в прямом смысле этого слова, путешествие по югу России, точно события ничем не задевают его. В сущности, оно так и есть. События не задевают его. Они несут его, как волна. Он и несется. Однако по-прежнему пребывает в своей скорлупе. И даже то, что удастся ему сквозь скорлупу ощутить, он осмысливает как-то странно, лишь с одной, с особенной стороны. Он угадывает трагедию русской интеллигенции, обреченной непременно погибнуть в водовороте чуждых культуре событий, но видит только вину, отчего в его представлении трагедия оборачивается только возмездием:

– В страшную минуту народного гнева, когда за пороховым дымом можно было стать убийцей родного брата, – страж, тот, кто стоял у хранилищ народных культурных сокровищ – русская интеллигенция – не сказала своего слова и – постыдно бежала...

Внимательно всмотритесь, читатель. Вам разве не странно всё это читать? Несомненная истина то, что в смятенные времена разрушения многие интеллигентные люди несутся черт знает куда. Но разве так уж постыдно бежать, когда со всех сторон тебе угрожает гибель или, на худой конец, неприменный позор как саботажнику, паразиту и бывшему, если все, и белые и красные и зеленые, видят в тебе нечто постыдное, какой-то ненужный предмет или

прямого врага? Слезкин же говорит таким тоном, словно бы эти интеллигентные люди обязаны были встать грудью или залечь с пулеметом возле усадьбы, библиотеки, дворца и с одинаковой яростью палить и по белым и по красным и по зеленым:

– И не народ, не толпа виноваты, что день за днем всё, чем привык гордиться русский, расхищается: и язык, и сокровища духа, и творчества. Не народ виновен, что загажены дворцы, разворованы музеи, коверкается наш святой язык и на развалинах ни одно слово, ни одно дело не создано нами, ни один символ не окрыляет нас.

Михаилу Афанасьевичу все эти причитания решительно чужды, и спустя несколько лет он скажет со всей своей прямоотой:

«Он знает души своих героев, но никогда не вкладывает в них своей души».

Сам он именно вкладывает в героев тревожную душу свою, чуть не во всех, исключая одних обитателей и палачей, эту мразь, этих одурелых накопителей царских десятков, спрятанных под пол, чтобы никто не нашел. И душа эта светлая, сильная, наделенная неиссякаемым мужеством крест свой нести до конца, которое передано ему его терпеливыми предками. Оттого и пишет он всегда о себе. Его литературные маски слишком прозрачны. Он сам себя избирает в герои. Ни о ком другом он не умеет писать.

Революция свалилась и на него неожиданно, может быть, ещё неожиданней, однако он не позволяет волне швырять себя, точно безвольную щепку. Его характеру, сильному, дерзкому, свойственно наслаждение битвой, но его конечная цель проста и ясна: его прельщает покой. И он всякий раз, после упоения битвой, возвращается к тихому домашнему очагу, на какой бы вражеский берег его ни швырнуло могучей волной. Возвращается не для того, чтобы поглубже закупориться в свою скорлупу. Он возвращается в тихую гавань, чтобы оградить от разгрома, обречь свою духовную жизнь и сказать свое слово о трагедии и ужасе битвы.

И потому его духовная жизнь продолжается, несмотря ни на что его. Душа его миру открыта. Все громы и молнии бури болью и кровью ложатся в неё, нанося её неизгладимые раны, однако никогда не убивая, не искажая её. И потому его слово весомо и зримо и нетленно в веках, а скудное слово безразличного Слезкина, ничего не берущего в душу себе, давно позабыто. И трагедию русской интеллигенции он видит вовсе не в том, что бежит она сломя голову черт знает куда, на произвол судьбы покинув хранилища несметных сокровищ русского духа, а в том, что она накопила эти сокровища, за что ей величайшая честь и хвала, а сокровища оказались никому не нужны, ни белым, ни красным, ни тем более дремучей египетской тьме.

Там, где у одного частности, будни ропот волны, там у другого исполинские бури и мировой катаклизм.

Даже техника письма у них абсолютно различна: один строит прочный сюжет, себе в помощь привлекает интригу, другой тяготеет к фрагменту и противник интриг, в литературе так же, как в жизни.

Что же сближает этих изгнанников из Лито и Тео, кроме голода и крутых обстоятельств изгнания? Очень многое, чуть не главнейшее в тех крутых обстоятельствах, от которых оба только что не сходят с ума.

Слезкин воспитан на Пушкине, Чехове, Флобере и Мериме, как Михаил Афанасьевич воспитан на Пушкине Саардамском плотнике, Гоголе и Толстом. У Слезкина культ языка, литературного слова, склонность лелеять и холить свой стиль, впрочем, скорее из подражания стилю работы и жизни Флобера, чем из врожденного чувства, точно так же, как Михаил Афанасьевич очень остро ощущает поэзию слова и склонен к неожиданным, парадоксальным и великолепным сближениям слов. К тому же Слезкин действительно известный писатель, знающий не только многие тонкости этого сложнейшего ремесла, но и запутанный быт литературной среды, в особенности дорожки и тропы в лабиринтах издательств, что начинающему писателю страстно хочется и положено знать.

Я не хочу здесь сказать, будто Слезкин явился в данном случае мэтром, прежде всего потому, что Слезкин никому не способен стать мэтром, тем более человеку самостоятельному, с вполне определившимся взглядом на дело литературы и на катастрофы и трагедии жизни. Слезкину принадлежит куда более скромная и тем не менее важная роль советчика, от которого кое-что можно узнать, у которого можно и нужно кое-чему поучиться и которому можно и нужно кое-что почитать, рассчитывая на тонкие замечания и опытный глаз.

Михаил Афанасьевич кое-что и читает, даже делится кое-какими подробностями своей биографии, о чем позднее станет жалеть. Однако, пожалуй, главнейшее заключается в том, что они могут друг с другом свободно и часто говорить о том задушевном, что поругано, что новой власти так желательно выбросить в печь.

«До бледного рассвета мы шепчемся. Какие имена на иссохших наших именах! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!..»

Его ночной собеседник оставляет и первый портрет, но, если правду сказать, он относится к своему товарищу по несчастью несколько свысока, втайне наслаждаясь своим положением маститого, и по этой причине, а также по неспособности, несколько не проникает в глубины души, так что сами судите, какой это поверхностный, к тому же лоскутный портрет:

«Глаза его беспокойно, лукаво оглядывают соседей; на голове черный фильдекосовый чулок, обрезанный и завязанный на конце узлом... голова его уходит совсем в четырехугольные, плоские плечи... В лунном свете лицо его ясно видно каждой своей морщинкой. Смех его беззвучен, но красноречив. Он без шляпы, ворот парусиновой блузы расстегнут, обнажены худая шея, кадык и ключицы. Светлые волосы не совсем в порядке, должно быть, растрепаны нервной рукой во время горячих дебатов... Грудь выгнута вперед, навстречу ночи и луне, ноги ступают твердо...»

А в то самое время, когда один наблюдает, едва ли не равнодушно, морщинки, худую шею, кадык, этот поразительный фильдекосовый чулок, прикрывающий голову, чтобы зафиксировать идеальный пробор, переносающий нас в иные времена и к иным одеяниям, живой объект наблюдения размышляет нервно, страстно, с глубочайшей тоской о неумолимом течении жизни:

«Только через страдание приходит истина... Это верно. Будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт...»

Он пишет свой первый роман, какие-то штрихи содержания пересказывает своему охлажденному собеседнику, сильно размахивая, по привычке, руками, выспрашивают, как печатаются романы, интересуется: быть может, надо печатать в Москве?

Выспрашивает, интересуется не оттого, что безоговорочно верит, что напечатает свой первый роман, а скорей оттого, что не умеет сдаваться, без надежды жить не умеет, упрямо цепляется, бьется, стиснув зубы, свое заветное твердя про себя:

– Я им покажу! Я покажу!

Это гордая натура его не сдастся, клокочет, а холодный, рассудительный, всё видящий разум твердит, что нечего ему показать, поскольку ничего напечатать нельзя:

– Ведь это индивидуальное творчество, а сейчас совсем иное идет...

За иное-то начинают понемногу платить, и те, которые пишут иное, живут. А он уже почти не живет, обреченный на индивидуальное творчество. Он едва существует. Скуднейше. Постыднейше. Понемногу приближаясь к существованию скота. Таким древним способом на прочность испытывает новая власть.

Прежний дом, в котором снималась квартира, реквизируют самым естественным образом и размещают в нем детский сад, предприятие неслыханное, невероятное, прежней власти решительно не известное. В коммунхозе выдают ордер на комнатку, мероприятие тоже прежней власти не ведомое. Слепцовская, 9. Так выглядела бы собачья, если только уместно срав-

нить, конура, поскольку не имеется самого главного, без чего интеллигентному человеку не жить: не имеется письменного стола. Тем более не имеется благословенного зеленого абажура. Не говоря о свечах. Пользоваться лампой извольте, отвратительно воняющей сквернейше очищенным керосином, коптящей к тому же, как паровоз. Видимо, всё это продельвается над ним единственно для того, чтобы романов никаких не писать, а наладиться поскорей на иное, так сказать, перековку пройти. А уж если писать, так непременно шедевры исключительной силы и красоты. Шедевры-то только и создаются, когда испытует судьба.

Представьте, столь чрезвычайными мерами в конце концов удастся наладить и рыцаря. Очень кстати появляется искуситель. Помните?

«Дверь распахнулась... Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды...»

Очень похоже, несмотря на расстояние лет, поскольку искуситель появляется в лице т. Пейзулаева. Помощник присяжного поверенного, то есть юрист. По образованию, не больше того. По национальности же кумык. Личностью смугл и, разумеется, с чрезвычайно выразительным носом. Искуситель сказал, своеобразно выговаривая по-русски:

– У меня тоже нет денег. Выход один – пьесу надо писать. Из местной жизни. Революционную. Продадим её.

Искушаемый на такое предложение отвечает, на мой взгляд, очень резонно:

– Я не могу ничего писать из местной жизни. Ни революционного. Ни контрреволюционного. Я не знаю быта. И вообще я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Искуситель возражает, тоже, на мой взгляд, довольно резонно:

– Вы пустяки говорите. Вздор. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт – чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

Что ему прикажете делать? Временами он уже коченеет от голода, как станут коченеть поколения интеллигентных людей ещё не менее ста лет подряд, толкаемый новой властью и другой новой властью из куска хлеба на глупость или на подлость. Над своей головой он слышит железный кулак: ещё две-три недели бескормицы, и он попросту сдохнет. Его вытащат из этой отвратительной комнатенки без письменного стола ногами вперед. И одним из первых в том поколении решается от бескормицы пуститься в халтуру, а халтура – и глупость и подлость, соединенные вместе, неразрывно, тяжелым узлом. Впрочем, в следующих за ним поколениях многие пойдут и на преступление, и на предательство, и примутся продаваться уже просто так.

Семь дней они пишут треклятую пьесу втроем: искушенный, искуситель, кроме того, обнаруживается, что искуситель женат и что жена его тоже насквозь знает быт, даже лучше, чем сам искуситель.

Прежде всего обеспечивается питание: винегрет с постным маслом и чай с сахаринном. Обеспечивается также тепло: искуситель всё время что-то подбрасывает в жаркую печку, извлекает, как фокусник, подробности туземного быта, нежится у живительного огня, пожирается, говорит:

– Люблю творить!

Жена искусителя развешивает на веревке белье и тоже время от времени сыплет подробности туземного быта. Искушенный тем временем тачает сюжет и рубит с наивозможной краткостью идиотские реплики ещё более идиотского диалога на революционную тему. Ночь крадется. Представляется, что весь мир понемногу, однако же неуклонно сходит ума.

У халтуры всегда один печальный итог. Вот вам едва ли не самый печальный, поскольку многие творящие глупость и подлость не ведают, что творят, а эта глупость и подлость творится в полном и болезненно проясненном сознании:

«Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал её у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайно чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... От людей скрыть. Но от самого себя – никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..»

Однако до дна испита не вся ещё чаша. Автор приносит эту несусветную гадость в ту же комиссию, которая не так и давно из самых чистейших идейных соображений отклонила его смешную, действительно смешную, комедию-буфф. Как в этом случае понимающей литературное дело комиссии надлежит поступить? Понимающая литературное дело комиссия прямо-таки обязана возмутиться, грохнуть кулаком по крышке стола, на худой конец выхватить револьвер и вышвырнуть автора вместе с его несусветной гадостью вон.

Как бы не так! Несусветная именно гадость и производит среди членов комиссии настоящий фурор. «Сыновья муллы» принимаются на «ура». Автору без малейшего колебания выдают двести тысяч, из которых половину он честь по чести передает своим добросовестным компаньонам. «Сыновья муллы» в страшной спешке репетируются местными самодельными дарованиями. Спустя две недели гремит и смеется премьера. Помещение театра забито черкесками, газырями, кинжалами, сверканьем огненных глаз. Временами все эти черкески и газыри впадают в полнейший экстаз восхищения, во время остроклассовых сцен гортанно кричат: «Ва! Падлец! Так ему и нада!» и палят из разного рода оружия в потолок. Само собой, автора вызывают. Руки за кулисами пламенно жмут:

– Парикрасная пьеса!

Как видишь, читатель, плата за гадость и подлость огромна. Эта плата огромна всегда. Берегись же её! Мой герой честнейший был человек, а и он едва не пропал, вступивши на сомнительный путь. Однако очень вовремя понял, что гадость и подлость – не случай, не эпизод, что гадость и подлость – закономерность, железная необходимость, которую интеллигентному человеку диктует бескормица, организованная, между прочим, сознательно теми, кто нынче у власти стоит. Эти, которые у власти стоят, диктуют с холодной, метой душой: себя предай и распни, чтобы есть! Иного выхода не представляет ни та новая власть, ни другая новая власть.

Глава двадцатая Бежать! Бежать!

Михаил Афанасьевич впадает в отчаяние наимрачнейшее. В бессонные ночи он говорит монологами, которые в «Записках на манжетах» немного спустя приведет:

– Вы – беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве...

Исподволь уже несколько месяцев к нему подбирается трезвая мысль, что он лишний, абсолютно недопустимый в этой перевернутой жизни. В таком нелепейшем способе обновленной стране нежелательный элемент. У телеги пятое колесо. Пятая нога у коровы. Он колеблется все эти голодные месяцы, но понемногу готовится, на случай, вдруг решится или мало ли что. Он пишет Наде в Москву:

«На случай, если я уеду далеко и надолго, прошу тебя о следующем: в Киеве у меня остались кое-какие рукописи: «Первый цвет», «Зеленый змий», а в особенности важный для меня черновик «Недуг». Я просил маму в письме сохранить их. Я полагаю, что ты сядешь в Москве прочно. Выпиши из Киева эти рукописи, сосредоточь их в своих руках и вместе с «Самообороной» и «Турбинами» в печку... Убедительно прошу об этом...»

Косте Булгакову признается:

«Уеду из Владикавказа весной или летом. Куда? Маловероятно, но возможно, что летом буду проездом в Москве. Стремлюсь далеко...»

Неопределенно, туманно, однако на просторах страны привольно гуляет ЧК. Мало ли что? Да и в самом деле, даже если твердо знаешь, куда решил ехать, как доехать туда?

И тут, сочинивши несусветную гадость, он твердо решает, потому что уже другого выбора нет, что необходимо сберечь, если не жизнь, то свою честь:

«Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию – сушу – в Париж!...»

Тотчас, в два дня, проедается мелочь, семь тысяч, но если промедлить, от ста тысяч ни гроша не останется через двадцать пять дней. Это что же, необходимо каждый месяц по этакой пьесе катать? Да с такой изумительной скоростью даже Лопе де Вега пьес не писал, а Лопе де Вега, ходит молва, принадлежи около двух тысяч пьес! Истинно: бежать надо, бежать!

Он сваливает свои пожитки в солдатский мешок, новый вид чемодана, свертывает одеяло под мышку, в руки керосинку берет и в таком фешенебельном виде отправляется на железнодорожный вокзал. Обходит пути. Пути загажены. Кой где ободранные теплушки торчат. Возле одной в домашних туфлях топчется подозрительный тип. Чайник полощет. Отвечает резонно, что едет в Баку. Михаил Афанасьевич чуть не униженно просится с подозрительным типом в Баку. Подозрительный тип позволяет забраться в теплушку. И тащится он в Баку и кружным путем на Тифлис, со своим одеялом, со своей керосинкой, с десятком владикавказских мандатов, снабженных настоящей круглой печатью, которые благоразумно сумел сохранить.

Где-то в пути его соседом оказывается молодой человек, в такой же солдатской шинели, в такой же мятой фуражке, как он. Дорога длинна и скучна. Остановки смертельные. Русский человек и всегда любит с попутчиками разговориться в пути, как было не разговориться и тут? Разговорились, конечно. Могу представить себе, каково ему было узнать, что молодой человек – особист. Мать честная! Какие могут быть мандаты, какие печати? Как не натерпеться тут страху? Герой же мой нервный, панике склонен поддаться, однако только в самый первый момент, а во второй пробуждается дерзость, радостный зверь, лихая способность переть на рожон именно там, где обыкновенно, из осторожности или из трусости, отступают благоразумные люди. За то и люблю я его.

Он точно рад такой нечаянной встрече. Есть же, есть необъяснимые тайны природы, в том числе тайна смерти, он же прирожденный экспериментатор, его всегда к микроскопу влечет. Должно быть, в этом роде приплетается ещё что-нибудь. И учиняется страшный допрос: как ведут себя те, кого ведут на расстрел, а так же и те, которые ведут на расстрел?

Человек попался хотя молодой, однако отлично уже закаленный. Допрос нисколько не смущает его. Отвечает спокойно, что лично ему пришлось расстрелять всего-навсего пять человек. Бандиты, мерзавцы заведомые. Жалости не испытывал. Нет, не дрожала рука. Пожалуй, было все-таки неприятно. Глаза всё же прижмуривал и потом заснуть не мог во всю ночь.

Впрочем, один случай все-таки был. И молодой человек, обожженный и закаленный в жестокой междоусобной резне особист, именно из числа тех, кто руководствуется в своих роковых действиях не законом, а единственно верным революционным чутьем, повествует приблизительно такими словами, впоследствии по какой-то дорожке прикатившие к Слезкину под перо:

– Однажды пришлось иметь дело с интеллигентом, юношей шестнадцати лет. Деникинец, бывший кадет, застрял в городе, когда пришли наши, в комячейку пролез, чтобы скрыться от нас. Конечно, разоблачили и приговорили к расстрелу. Заведомый был, убежденный, активный контрреволюционер, ни о каком снисхождении не могло быть и речи. Однако подите же вот...

Тут невероятное происходит у него на глазах. Особист как будто конфузится своих проравшихся с какого-то dna человеческих чувств. Голосом продолжает каким-то другим:

– У меня не хватило духу объявить приговор подсудимому...

Ах, рыцарь, рыцарь! Каково-то было тебе слушать рассказ о такой поразительно схожей судьбе? Ведь он тоже деникинец, тоже скрывается, в Лито, в Тео пролез, мандатов с круглой печатью полон карман. Обнажись на минутку или сами разоблачат, руководствуясь тем же непогрешимым чутьем, – к расстрелу на месте приговорят. И на этот раз достанет духу приговор объявить, поскольку закоренелому тридцать исполняется лет. И не дрогнет рука. Разве что ещё одну ночь не поспит. И аминь.

Так скорей бы, скорей!

И он наконец прибывает в Тифлис. Поначалу располагается широко, с присущим ему умением жить. Снимает номер в «Пале-Рояле», должно быть, мысленно уже предвкушая Париж. Вызывает Тасю к себе и отправляется по делам, то есть в местное Лито, в местное Тео. Предлагает пьесу поставить, кое-что напечатать из прозы, в местной газете, конечно, поскольку книг не издается и здесь. Всюду отказ.

Тася приезжает. Они отправляются вместе в Батум, продавши на барахолке обручальные кольца. В Батуме снимают комнату у какой-то грузинской гречанки, где их чуть не сожрали какой-то чудовищной злости клопы. Он вновь идет по отделам: проза, пьесы, хоть что-нибудь, уже решительно всё равно.

Тут выворачивается из тьмы или спускается с заснеженных гор, не представляется возможности точнее определить, совершенно фантастическая, невероятная личность, какой не может быть в натуре вещей, и заявляет решительно, заложивши ладони громадной величины за пояс, где громадный револьвер и громадный кинжал:

– Па иному пути пайдем! На нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума», «Ревизор». Гоголя. Моголя. Свои пьесы сачиним.

Прямо символ живой. Наважденье, по правде сказать. Невозможно нарочно придумать тип. Всё ещё жив, сукин сын. Бессмертный такой.

Михаил Афанасьевич символы обожает, прямо-таки жить не может без них. Однако такие? Позвольте. Да это черт знает что!

Он уже и шинель продает. Шныряет целыми днями в торговом порту. Наконец уговаривается: «Полацкий» следует в Константинополь, его спрячут в трюме, среди ящиков и тюков, а там море, море, суша, Париж!

Тасе он застенчиво говорит:

– Знаешь, может, мне удастся уехать, а ты в Москву поезжай.

Тася без восторга, но соглашается:

– Уезжай.

Он видит, что она больше не верит ему и прощается с ним навсегда. Его честнейшее сердце обливается кровью. Он говорит:

– Я тебя вызову, как всегда вызывал.

Она в ответ на его обещанье молчит.

Они продают на толкучке кожаный, старинной работы тасин баул. С вырученными деньгами Тася садится на пароход, плывущий в Одессу, поскольку никаких прямых связей с Москвой давно уже нет. Он остается один, последовательно продает одеяло и давно бесполезную керосинку.

Вдруг по улице идет Мандельштам. Женщина с ним. Должно быть, жена. Известный поэт. Ужасно старый на вид, лет шестьдесят. С таким открытым, откровенным лицом, что страшно смотреть и не возможно не подойти. Михаил Афанасьевич и подходит, пользуясь мимолетным знакомством. Напоминает убогий Владикавказ. Просит совета: вот, стало быть, написал кое-что, не послать ли на конкурс в Москву? На открытой книге лица Мандельштама тотчас видать, что поэту представляется отчего-то, что этот молодой человек, хотя они чуть-чуть не ровесники, накопил в себе столько, что не сможет уже не писать и по этой причине что-нибудь непременно напишет, а потому поэт отвечает уверенно, что конкурсы чушь, что надо ехать в Москву самому.

Ехать в Москву?.. Ехать в Москву?.. Ехать в Париж!..

От безнадежности, сомнений и голода у него уже почти бред. Он полные сутки валяется на обточенных соленой водой гольшах побережья. Болит голова. Рядом море, но он не видит уже, а только слышит его: море гудит, то прихлынет, то отхлынет неторопливо волна и неприветно шипит.

Куда же ему? Мандельштам остается, известный поэт. Говорит, что в Москву. Так в Москву? Или лучше в Париж? А в Париже-то что? Разве он Бунин, Горький, Куприн? Этим дорога везде, а ему? Где он там будет ставить своих «Турбиных»? О московской сцене мечтал. Там, именно там хотел начинать. Париж-то Париж, а закрыт для него этот чертов Париж. И главнейший, стариннейший русский вопрос: русскому писателю без России не жить! Так в Москву?

Из-за темного мыса вдруг выдвигаются трехъярусные огни. Это «Полацкий» идет на Золотой Рог без него. Он плачет, тоскливо и жалко, и такие же у него соленые слезы, как морская вода.

Всё, что он понимает: он должен подняться, иначе так и помрет на этих остывших, морем обточенных гольшах. В голове скребется устало:

«Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег – пешком. Но домой. Жизнь погублена! Домой!.. В Москву! В Москву!..»

Он все-таки поднимается. Бредет на слабых ногах. Его будущее покрыто туманом, как «Полацкого» только что у него на глазах скрывает чернейший занавес ночи.

Что это? Только отсрочка? Вновь ли он соберется в Париж? Или с Россией останется? Останется навсегда?

Что ж, это нам с вами известно: да, именно, именно, он с Россией останется навсегда.

Эх!.. Эх!..

Глава двадцать первая

В числе погибших он быть не желает

Чем он кормит себя, на чем и каким образом пробирается в родные места, установить уже никогда не удастся, однако ничего тоскливей и бесполовее себе невозможно представить.

Мертвая страна простирается перед ним, отброшенная на столетие, на два назад. Лето 1921 года выдается жарчайшее. Небеса точно выгорели до белизны. И в этой отвратительной белизне ослепительным шаром безотрадное солнце плывет. А расстрелянная земля, вся облитая густейшим солнечным светом, уныла, мрачна, точно вдова, одна-одинешенька бредущая с похорон. Изодрана вся. Сожжена. В воронках. В окопах. В могильных холмах и крестах. В беспорядке всюду брошенных безымянных могил. Столбы телеграфа и электрических передач то повалены, то скрипят, по-нищенски приклонившись к земле. Оборваны проволоки, спутаны, там и тут валяются обезображенным комом. Остовы обгоревших вагонов. Котлы паровозов, пробитые пулями, измятые взрывами, изувеченные падением вниз. Колеса, передки от тачанок. Ржавое железо на каждом шагу. Ржавые пятна. Пустые окна почерневших вокзалов. Печные трубы на месте бывших домов. Ни дымка. Ни огонька в темноте. Поля со скудным жнивьем без людей. Луна без коров, без лошадей, без овец. Красные воины с усталыми лицами, с темным огнем в нехороших, непримиримых глазах, отпущенные наконец по домам, многие пройдя две войны, а от домов большей частью не осталось следа, нет работы отвыкшим от работы рукам, и красные воины с устрашающей простотой уходят в бандиты и наводят ужас на деревни, на города. Усмиренные после бунтов, однако не присмирившие мужики. Ни одна заводская труба не дымит. Не выпускают металла. Не строят оборудования, станков. Рабочие ремонтируют примусы, делают зажигалки. Нигде не видать электрических голубоватых огней.

Сами вообразите, читатель, какие мрачнейшие мысли одолевают его, когда Михаил Афанасьевич, в обношенном френче и в мятой фуражке, медленно тащится по окутанной мглой, разоренной, помертвелой стране, благополучно минуя пристрастные проверки ЧК, свирепые налеты озверелых бандитов и лютый голод, обрушенный на страну неслышанным, точно посланным в наказание недородом.

Небритый, оборванный и голодный вступает он в солнечный Киев, открывает тихую важную дверь в доме 38, Андреевский спуск, кой как взлезает по лестнице, которая кажется слишком крутой. Звонок не звенит. Приходится постучать. Доктор Воскресенский неохотно выходит на тук. В громадной квартире прохладно и тихо. Желтоватым слабеньким светом мерцает единственная свеча. Мама, светлая королева, повисает на исхудалой, словно бы удлинившейся шее чудом обретенного старшего сына.

– Мишенька, вернулся, живой...

Иван Павлович суетится с колонкой. Испытывая нечеловеческое блаженство, Михаил Афанасьевич долго лежит в горячей, приятнейшей в мире воде. Отмытый, с притихшими нервами, пьет с французскими булками чай, и представляется вдруг, что вкус булок и настоящего чая давно позабыл. Чистейшими простынями застилают широчайший диван. Без мыслей валится он на него, каждым измотанным нервом впивая домашний покой, и без всяких снов спит до утра.

Так он отсыпается несколько дней. Пьет и пьет замечательный чай. Что-то ест. Осторожно и нехотя повествует о тревожных и грозных скитаниях последних двух лет. Без жестов почти, до того он устал. Передает всякий вздор, почти что смешной, чтобы не беспокоилась и пореже ахала милая мама, а милая мама сидит рядом с ним вся в горячих слезах, наглядеться не может никак.

Под вечер выбредает из дома. Сутулится. В обмотках, в отчищенном и мамиными руками заштопанном френче. Надвигает козырек глубоко на глаза. Старается, чтобы его никто не

узнал. Чуть не крадучись поднимается вверх. Проходит по шемяще знакомым, почти не узнаваемым улицам. Забирается в парки, в сады.

Город любимый, город прекрасный... Мертв, как мертва вся страна. Трамваи не ходят. Электричества нет. Угаснул великий Владимиров крест. На площадках перед знаменитыми храмами сквозь плотный булыжник прорастает трава. Там выбиты стекла, там остов дома торчит. Слепо мерцают, точно украдкой, кое-где огоньки. И караулит прошедшее за каждым углом, недавнее, греховное, грозное, точно всё это неслось и стреляло только вчера.

«Как будто шевелятся тени, как будто шорох от земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот-вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло: «Стой!» То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнущейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов. Эх, жемчужина – Киев!..»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.